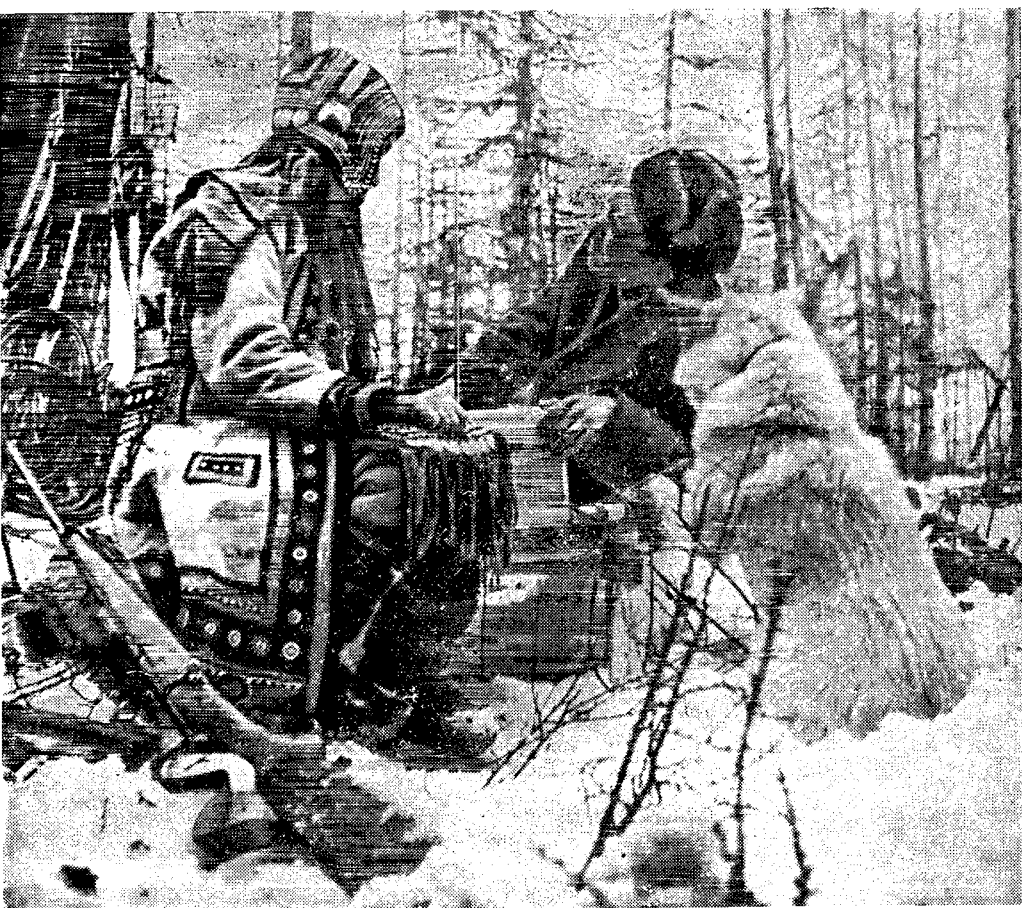


СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ



2

1976

Редакционная коллегия:

Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), **В. П. Алексеев**, **С. А. Арутюнов**,
Н. А. Баскаков, **С. И. Брук**, **Л. М. Дробижева**, **Г. Е. Марков**, **Л. Ф. Моногарова**,
А. П. Окладников, **Д. А. Ольдерогге**, **А. И. Першиц**, **Н. С. Полищук**
(зам. главн. редактора), **Ю. И. Семенов**, **В. К. Соколова**, **С. А. Токарев**,
Д. Д. Тумаркин (зам. главн. редактора), **К. В. Чистов**

Ответственный секретарь редакции *Н. С. Соболев*.

Адрес редакции: Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19

Г. Е. Марков

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГРАФИИ

Современная эпоха характеризуется для народов Советского Союза этапом развитых социалистических отношений, сложением новой исторической общности — советского народа. XXV съезд КПСС поставил перед общественными науками важные задачи по исследованию современных этнических процессов, изучению общего и особенного в культуре отдельных братских советских народов и новой исторической общности — советский народ — в целом.

Этнография накопила значительные данные, детально характеризующие этнографический облик и этнические процессы у большинства крупных и малых народов нашей страны; ведется работа по их обобщению. Однако при этнографических исследованиях нередко большее внимание уделялось особенному, частному, связанному с традициями того или иного народа. Это отчасти объясняется тем, что «...основным критерием для выделения предметной области этнографии является рассмотрение компонентов этноса сквозь призму выполнения ими этнических функций, прежде всего под углом этнической специфики»¹. Между тем современные социально-экономические и культурные процессы в СССР, в ходе которых сложилась новая историческая общность, привели к формированию и утверждению общего для советского народа образа жизни — совокупности социально-экономических, политических, культурных, в том числе этнокультурных, факторов и явлений.

В наиболее общем и сжатом виде понятие «образ жизни» может быть определено как совокупность типичных условий жизни, норм и форм жизнедеятельности, взаимоотношений людей в конкретных исторических условиях².

¹ Ю. В. Бромлей, *Этнос и этнография*, М., 1973, стр. 207; его же, *Этнография на современном этапе*, «Коммунист», 1974, № 16, стр. 64.

² Еще К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» говорили об «образе жизни»: «...определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни» (разрядка моя.— Г. М.) (К. Маркс, Ф. Энгельс, *Собр. соч.*, т. 3, стр. 19). В современной литературе существует много определений этого понятия, но по большей части они очень простые и недостаточно четкие. Одно из наиболее удачных определений принадлежит Г. Глезерману, который понимает под образом жизни типичные формы жизнедеятельности людей, условия труда и быта, характер человеческих взаимоотношений (Г. Глезерман, Ленин и формирование социалистического образа жизни, «Коммунист», 1974, № 1, стр. 106). В задаче настоящей статьи не входит детальное исследование существа понятия «образ жизни» в целом и «социалистический образ жизни» в частности. Разработка этой проблемы породила значительную как зарубежную, так и советскую литературу, к которой автор отсылает читателя. См., например: В. Г. Синицын, *О советском образе жизни*, М., 1967; его же, *Советский образ жизни*, М., 1969; его же, *Становление и развитие социалистического быта*, М., 1970; сб. «Это и есть советская жизнь», М., 1971; «Наш советский образ жизни», «Коммунист», 1973, № 5; С. Г. Струмилин, Э. Е. Писаренко, *Социалистический образ жизни: методология исследования*, «Вопросы философии», 1974, № 2; Е. Капустин, *Социалистический образ жизни как социально-экономическая категория*, «Вопросы экономики», 1974, № 12; Ш. Рашидов, *Социалистический образ жизни и национальное самосознание*, «Проблемы мира и социализма», 1975, № 9; Г. Е. Марков, *Категория «образ жизни» и характер советского образа жизни*, «Вопросы совершенствова-

«Образ жизни» — сложное синтетическое явление, которое обусловливается законами конкретной социально-экономической формации и является важнейшим показателем состояния и перспектив развития общества.

Понятие «образ жизни» можно рассматривать на различных уровнях жизнедеятельности общества:

а) Формационном, характерном для разных обществ, стоящих на стадийном уровне одной социально-экономической формации и обладающих рядом общих фундаментальных закономерностей в своем проявлении и развитии; при этом образ жизни на формационном уровне предусматривает характеристику только наиболее важных и общих закономерностей, различных в условиях разных социально-экономических формаций;

б) Типичном для конкретного общества. Образ жизни конкретного общества вытекает из условий возникновения, существования и развития общества в рамках определенной социально-экономической формации. В его основе лежит весь комплекс социально-экономических и политических отношений, этнические и культурно-бытовые традиции. Определяет характер образа жизни экономический базис, отношения к средствам производства, производственные отношения, политический жизненный укладов составляющих его социальных, национальных и других слоев. Для классово-антагонистических обществ характерно наличие антагонистических жизненных укладов. Так, при капитализме складывается «образ жизни капиталистического общества» (характерный для общества в целом) и «капиталистический образ жизни» (типичный для буржуазии) и т. д.

В условиях социализма, при наличии неантагонистических классов и социальных прослоек, социалистических производственных отношений, существует единый для советского общества социалистический (советский) образ жизни, с едиными признаками и закономерностями развития. Наличие определенных особенностей исторического развития, строй.

в) Образ жизни конкретного общества складывается из разных традиций позволяет выделять в рамках единого социалистического образа жизни образ жизни конкретных социалистических обществ и, в частности, образ жизни, присущий новой исторической общности — многонациональному советскому народу.

Советский образ жизни представляет собой реальное воплощение идей классиков марксизма-ленинизма о социалистическом обществе. Как отмечал В. И. Ленин, социализм «творит новые, высшие формы человеческого общежития»³.

Развитие и утверждение социалистических производственных отношений, советской культуры происходило в ходе строительства нового общества в условиях многонационального государства и сопровождалось сложением единого для всех советских людей образа жизни. В его основу легли единство социально-экономической, политической и культурной жизни всего народа, его марксистско-ленинской идеологии, общность интересов и судеб.

Как сложное синтетическое явление понятие «образ жизни» включает в себя ряд фундаментальных признаков и второстепенных элементов, составляющих характеристику образа жизни.

Представляется, что основными элементами образа жизни являются:

ния распределительных отношений в условиях развитого социализма», М., 1975; J. Fourastié, *Machinisme et bien-être*, Paris, 1951; его же, *La civilisation de 1996*, Paris, 1970; H. Brausse, *Le niveau de vie en France*, Paris, 1962; W. Rostow, *Politics and the stages of growth*, Cambridge, 1971.

³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 40.

а) социально-экономические и политические условия, которые можно обозначить как «социальная структура жизни»;

б) «уровень жизни» — количественный показатель наделенности жизненными условиями;

в) «характер жизни» — качественный показатель уровня жизни, структуры потребления, использования материальных и духовных жизненных условий, взаимоотношения с окружающей средой.

Исследованием социалистического образа жизни, отдельных наиболее фундаментальных его элементов, закономерностей их взаимодействия и развития, перерастания социалистического образа жизни в коммунистический занимается ряд наук. Вместе с тем часть важных проблем, связанных с изучением социалистического образа жизни, лежит в сфере этнографической проблематики и составляет предмет изучения этнографии.

Советский образ жизни (как конкретная форма социалистического образа жизни) представляет собой историческое, развивающееся явление, несущее в себе наряду с чертами настоящего и будущего также и традиционные элементы. Хотя главными при характеристике советского образа жизни являются элементы настоящего и будущего, тем не менее образ жизни в целом и перспективы его развития не могут быть выявлены в полном объеме без учета проявлений и видоизменений традиционных явлений, в том числе этнокультурных и бытовых.

Исчерпывающая характеристика советского образа жизни и перспектив его развития в образ жизни коммунистического общества предполагает детальный анализ развертывающихся в наши дни этнических и этнокультурных процессов, что связано с проблемой перспективного планирования уровня и характера образа жизни.

Таким образом, к области этнографии относится широкий круг проблем, связанный с исследованием советского образа жизни. Он включает вопросы влияния на формирование и развитие советского образа жизни традиционных этнических и культурно-бытовых явлений, современных этнических и этнокультурных процессов, национального самосознания, разработку их прогнозирования и целенаправленного формирования в процессе складывания коммунистического образа жизни.

К традиционным и современным этнокультурным явлениям относятся многообразные этнокультурные процессы, формирование и развитие сельской и городской материальной культуры, семьи и семейных отношений и особенно духовной жизни общества, в наибольшей степени отражающей в условиях современного развития этническую специфику⁴. Непосредственное отношение к изучению советского образа жизни имеют исследования этнографов в области совершенствования культурного строительства и межнациональных отношений в СССР⁵.

Важной задачей этнографии представляется исследование и выявление закономерностей проявления этнических аспектов советского образа жизни в процессе строительства коммунистического общества, а также проблема интеграции этнокультурных явлений вследствие взаимовлияния и взаимообогащения культур братских советских народов в ходе складывания единого образа жизни советского народа. Методы этнографии позволяют выявить эти процессы, показать ход складывания национальных по форме, социалистических по содержанию культур в интернациональную культуру советского народа, характеризующую его образ жизни в процессе строительства коммунистического общества.

⁴ Ю. В. Бромлей, *Этнография на современном этапе*, стр. 64; Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, *К изучению современных этнических процессов в сфере духовной культуры народов СССР*, «Сов. этнография» (далее — СЭ), 1975, № 1.

⁵ Ю. В. Бромлей, *Этнография на современном этапе*, стр. 69.

Исследование этнических аспектов социалистического образа жизни дает мощное оружие в идеологической борьбе с нашими идейными противниками, пытающимися доказать преимущества буржуазного образа жизни перед социалистическим.

Рассмотрим более подробно отдельные стороны перечисленной выше проблематики.

Под руководством рабочего класса и его авангарда, Коммунистической партии, была осуществлена социалистическая революция, положено начало социалистическому национальному строительству. В единый Союз Советских Социалистических Республик объединились многочисленные большие и малые народы бывшей царской России, неоднородные как в этническом отношении, так и по уровню социально-экономического и культурного развития. Перед русским пролетариатом стояла сложнейшая задача оказания помощи трудящимся всей страны по преодолению вековой отсталости, этнической разобщенности, по переходу ряда народов к социализму, минуя стадию капиталистического развития. На II Конгрессе Коммунистического Интернационала В. И. Ленин указывал: «Пролетариат передовых стран может и должен помочь отсталым трудящимся массам... развитие отсталых стран может выйти из своей нынешней стадии, когда победоносный пролетариат советских республик протянет руку этим массам и сможет оказать им поддержку»⁶.

Созданием Союза Советских Социалистических Республик было положено начало формированию новой исторической общности — советского народа — и его социалистического образа жизни. «Полувековая история Союза Советских Социалистических Республик — это история возникновения нерушимого единства и дружбы всех народов, объединившихся в рамках Советского социалистического государства. Это — история невиданного роста и всестороннего развития государства, рожденного социалистической революцией и ставшего сегодня одной из самых могущественных держав мира. Это — история возмужания и подлинного расцвета — экономического, политического и культурного — всех... наций и народностей»⁷.

Воплощение в жизнь ленинской национальной политики требовало детального изучения этнического состава СССР, исследования характера и направления развертывания этнических и этнокультурных процессов, разработки практических рекомендаций по их целенаправленному стимулированию. Исходя из этих задач, советские этнографы уделяли большое внимание изучению этнических процессов и национальных отношений у отдельных народов Советского Союза. По мере развертывания научных исследований, накопления научного материала проблемы стали ставиться все более широко как в хронологическом плане (уделялось особое внимание современным явлениям), так и в плане постановки вопроса о развитии этнических и этнокультурных процессов в рамках всего Советского Союза⁸.

Уже сегодня советскими этнографами достаточно полно обрисованы основные этнические аспекты сложения и направления развития социалистических наций и народностей, общий характер этнических процес-

⁶ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, стр. 245.

⁷ Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., 1973, стр. 6.

⁸ См.: В. К. Гарданов, Б. О. Долгих, Т. А. Жданко, Основные направления этнических процессов у народов СССР, СЭ, 1961, № 4; Т. А. Жданко, Этнографическое изучение процессов сближения социалистических наций в СССР, СЭ, 1964, № 6; О. А. Ганцкая, Л. Н. Терентьева, Этнографические исследования национальных процессов в Прибалтике, СЭ, 1965, № 5; И. С. Гурвич, Некоторые проблемы этнического развития народов СССР, СЭ, 1967, № 5; Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, Ленинизм и основные тенденции этнических процессов в СССР, СЭ, 1970, № 1; Ю. В. Бромлей, Этнография на современном этапе, и многие другие работы.

сов в СССР. Это дает возможность изучать и прогнозировать как в теоретическом, так и в практическом плане их дальнейшее развитие в условиях существования новой исторической общности — советского народа, исследовать их место в развитии социалистического образа жизни.

В связи с этническими процессами, развертывающимися в условиях развитого социалистического общества, стоит интересная проблема переосмысления и видоизменения личностной и групповой установок по отношению к этнической принадлежности, изменения характера самосознания социалистических наций, его интернационализации. Как известно, этнос относится к одному из видов устойчивой общности людей, складывающейся в результате исторического процесса. Представляя собой сложные образования, этносы обладают, с одной стороны, общими свойствами, а с другой — специфическими чертами, отличающими их друг от друга. Среди признаков, характеризующих эти различия, «особую роль играет взаимное различие... „мы“ — „они“»⁹. Это свойство присуще этносам на всех стадиях их развития, однако в условиях социалистического образа жизни эта оппозиция существенно видоизменяется в соответствии с развертывающимися в новой исторической общности этническими процессами. Отмеченное противопоставление сглаживается под воздействием единых, неантагонистических социально-экономических отношений, единства образа жизни в социалистическом государстве, общности целей, устремлений и задач советского народа в строительстве коммунистического общества, интернациональных, братских взаимоотношений народов СССР, их взаимной помощи и равенства, сложения общих культурно-бытовых явлений, языковых процессов. Из сказанного вытекает, что хотя в повседневной жизни этнические и национальные особенности сохраняются и на современном этапе развития общества, они проявляют тенденцию к нивелированию в советском образе жизни. Советские этнографы и социологи отмечают эти явления и исследуют их.

Не в меньшей степени этнографические данные позволяют раскрыть роль современных и перспективных этнических и культурно-бытовых процессов в определении качественных характеристик социалистического образа жизни.

Как отмечается в программе КПСС, «в условиях социализма действуют две взаимосвязанные прогрессивные тенденции в национальном вопросе. Во-первых, происходит бурное и всестороннее развитие каждой нации... Во-вторых, под знаменем пролетарского интернационализма идет все большее сближение социалистических наций, усиливается их взаимовлияние и взаимообогащение»¹⁰.

Как отметил Л. И. Брежнев в отчетном докладе Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза на XXIV съезде КПСС, практическое осуществление партией ленинской национальной политики, политики равенства и дружбы народов, состояло в том, что «в истекшие годы под руководством партии были сделаны новые шаги по пути всестороннего развития каждой из братских советских республик, по пути дальнейшего постепенного сближения наций и народностей нашей страны. Это сближение происходит в условиях внимательного учета национальных особенностей развития социалистических национальных культур»¹¹.

Развитие национальных культур, их постепенное сближение составляют один из важнейших предметов исследования советской этногра-

⁹ Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, стр. 27.

¹⁰ «Материалы XXII съезда КПСС», М., 1961, стр. 190.

¹¹ Л. И. Брежнев, Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, М., 1971, стр. 94.

фии¹². В настоящее время накопленный материал позволяет ставить проблему еще шире, применительно к изучению качественно новых культурных явлений, характеризующих социалистический образ жизни в целом. Практически целиком к предмету этнографических исследований относится изучение сложившихся и развивающихся общих и особенных этнокультурных и бытовых явлений в советском образе жизни. Эта проблема включает ряд крупных вопросов, в частности *составление общему интернациональному явлению в культуре и быту у всех народов Советского Союза*, изучение механизма этих процессов, их характера, определение главных направлений, по которым они развиваются. Это дает возможность разрабатывать конкретные рекомендации по стимулированию явлений, наиболее важных и соответствующих советскому образу жизни.

С этой проблемой тесно связан вопрос о качественном содержании неуклонно повышающегося уровня жизни советского народа, что составляет один из важных признаков социалистического образа жизни. Проблему уровня жизни успешно изучает экономическая наука, показывая сближение уровней жизни в отдельных республиках и областях, однако это главным образом количественный аспект. Качественное содержание могут выявить этнографические исследования, наполнив количественные показатели живым этнографическим материалом.

Сущность рассматриваемой проблемы заключается в том, что сам по себе уровень жизни, определяемый размером потребления материальных благ, фактическими размерами доходов и потребления населения, выражается в количественных показателях и не говорит о степени удовлетворения истинных потребностей населения, качественном проявлении уровня жизни в образе жизни. Иными словами, относительный размер тех или иных показателей еще не является однозначным свидетельством того, полезны они или вредны для образа жизни в целом. Примеры этому из этнографической практики можно привести самые разнообразные. Так, большие затраты населения на проведение праздников (особенно свадеб и других семейных событий) свидетельствуют, с одной стороны, о высоком уровне жизни. Но, с другой стороны, когда траты выходят за всякие разумные границы, как это порой еще встречается кое-где в Средней Азии и на Кавказе, они имеют качественно отрицательные последствия. Образуются долги, так как создается стремление к определенному рода «жизненному стандарту» — сделать все «не хуже, чем у других»; нередко на эти праздники непроизводительно тратится время, в большом количестве потребляются спиртные напитки и т. д.

О высоком уровне жизни говорят данные о большой насыщенности современных жилищ в городе и сельской местности разного рода бытовыми приборами, в том числе бытовой электроникой. Однако уровень шума, который создает последняя, имеет отрицательные последствия. Свидетельством высокого уровня жизни населения являются затраты на строительство жилищ в сельских местностях. Однако и в этом случае чрезмерные размеры домов, излишнее количество выделяемых в них помещений, превышающих потребности семьи и преследующих лишь престижные цели, ведут к ненужному расходованию денежных средств и строительных материалов. Этнографы имеют большие возможности исследовать подобного рода явления и тенденции, выявлять

¹² См., например: Л. А. Анохина, В. Ю. Крупянская, М. Н. Шмелева, Быт и его преобразование в период построения социализма, СЭ, 1965, № 4; В. В. Пименов, О некоторых закономерностях в развитии народной культуры, СЭ, 1967, № 2; Э. С. Маркарян, Очерки теории культуры, Ереван, 1969; К. В. Чистов, Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры, СЭ, 1972, № 3; Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, стр. 27 и сл.

их качественную ценность и вырабатывать рекомендации для стимуляции одних и устранения других путем воспитания населения.

Этнография обладает огромными возможностями в обосновании преимуществ советского образа жизни над буржуазным. Этнография может дать и дает живые примеры социалистических стимулов к труду, уверенности советского человека в завтрашнем дне, преимущества нашей социальной системы в обеспечении работой, праве на отдых и др. Чрезвычайно велики возможности этнографии в сфере исследования коллективистских взаимоотношений советских людей, братской интернациональной взаимопомощи, типичной для нашего общества. Столь же ярко рисуют этнографические данные полноправное положение личности в нашем обществе, тягу советских людей к знаниям, образованию.

Этнографы, изучающие этнокультурные и бытовые явления, имеют возможность глубоко исследовать процессы, связанные с неуклонным сближением уровня жизни разных народов нашей страны. Анализ этих процессов необходим при изучении советского образа жизни.

Столь же существенна разработка этнографических аспектов таких кардинальных для развития социалистического образа жизни явлений, как преодоление различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, роль городских центров в складывании общих этнокультурных и бытовых явлений. С этим связано комплексное изучение городского и сельского населения, их взаимовлияния как по отдельным регионам, так и в стране в целом. Этнографы достигли немалых успехов в изучении городского населения, промышленных рабочих¹³. Однако такие исследования должны иметь более широкий охват, комплексно рассматривать процессы в городе и деревне в свете их проявления в образе жизни и в большей мере учитывать этнические явления, выявлять этническую специфику и характер ее проявления¹⁴.

С этнокультурными проблемами связаны важные вопросы изучения процессов развития материальной культуры, характерных и закономерных для социалистического образа жизни, сочетания в материальной культуре национального и общего, целесообразности развития тех или иных национальных традиций как в отдельных республиках, так и во всесоюзном масштабе¹⁵. И здесь этнография совместно с социологией могут выявить ряд явлений, как отвечающих принципам социалистического образа жизни и нуждающихся в дальнейшем развитии, так и не соответствующих ему, которые следует устранять.

Важные задачи решает этнография, исследуя одну из существенных сторон социалистического образа жизни — семью и семейные отношения.

В условиях социализма сложилась новая советская семья и новые

¹³ В. Ю. Круплянская, К вопросу о проблематике и методике этнографического изучения советского рабочего класса, «Вопросы истории», 1960, № 11; В. Ю. Круплянская, М. Г. Рабинович, Этнография города и промышленного поселка, СЭ, 1964, № 4; Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, Некоторые проблемы этнографического изучения современного русского города, СЭ, 1964, № 5; Д. М. Коган, Связи городского и сельского населения как одна из проблем этнографии города, СЭ, 1967, № 4; Ш. Аннаклычев, Быт и культура рабочих Туркменистана, Ашхабад, 1969; С. Б. Рождественская, Жилище рабочих Горьковской области (XIX—XX вв.). Этнографический очерк, М., 1972; В. Ю. Круплянская, О. Р. Будина, Н. С. Полищук, Н. В. Юхнева, Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила (1917—1970), М., 1974; М. Н. Шмелева, Об основных тенденциях развития материальной культуры русского городского населения за последнее столетие (из опыта изучения малых и средних городов средней полосы РСФСР), СЭ, 1974, № 3.

¹⁴ С. А. Токарев, О задачах этнографического изучения народов индустриальных стран, СЭ, 1967, № 5; Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, стр. 246.

¹⁵ См. С. А. Токарев, К методике этнографического изучения материальной культуры, СЭ, 1970, № 4. Советская этнографическая литература по изучению материальной культуры очень велика по объему. Часть библиографии см.: Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, стр. 217.

формы семейных отношений, основанные на социалистических социально-экономических отношениях, равных правах мужчины и женщины, на широком участии женщины в общественном производстве и общественно-политической жизни. С первых лет установления Советской власти обращалось огромное внимание на семью и положение женщины. Законодательные акты установили единообразную форму советской семьи, дали женщине равные с мужчиной права. Политика Коммунистической партии, Советского правительства, широкие политико-воспитательные мероприятия, вовлечение женщины в общественно-производственную жизнь впервые в истории человечества позволили добиться действительного равенства между полами. Особенно наглядными оказались достижения в преобразовании семейного быта и положения женщины в районах, составлявших до Великой Октябрьской революции окраины царской России, где многие народы находились еще на докапиталистическом уровне развития и где особенно сильны были феодальные и патриархально-феодальные устои¹⁶.

Социалистическая семья, социалистические семейные отношения характерны именно для социалистического образа жизни и резко отличаются от аналогичных явлений в буржуазном обществе.

Для социалистической формы семьи предложен новый термин «эгалитарная семья»¹⁷. Эгалитарная семья господствует в наше время у всех народов Советского Союза. Исследованию социалистической семьи и семейно-брачных отношений посвящены специально или частично очень многие этнографические работы. Советской этнографией накоплен и обобщается огромный материал по социалистическим преобразованиям в семейно-брачных отношениях, исследуются процессы, происходящие в этой сфере в наши дни¹⁸.

Изучение конкретных данных показывает, что хотя в семейно-брачных отношениях уже господствуют социалистические принципы, все же эта область социальной жизни оказалась носителем некоторых весьма стойких бытовых традиций, находящихся в противоречии с социалистическим образом жизни. Как бы они ни были второстепенны, их изживание требует еще большей воспитательной работы, для чего необходимо дальнейшее исследование социально-бытовых корней этих пережитков и изыскания наиболее оптимальных путей их преодоления путем разъяснительной работы и воспитания трудящихся.

Вместе с тем представляется, что задача этнографических исследований не ограничивается описанием современных семьи и семейных отношений. Встает задача создания теоретической модели семьи и семейных отношений в условиях социалистического образа жизни. В соответствии с этими моделями могут разрабатываться практические рекомендации по совершенствованию социалистических семейных отношений, по стимулированию наиболее перспективных и прогрессивных современных процессов и изживанию устаревших или вредных явлений в семейно-брачных отношениях.

Как уже отмечалось выше, значение современных этнографических исследований особенно велико в области духовной культуры народов Советского Союза.

¹⁶ См. Г. П. Васильева, Женщины республик Средней Азии и Казахстана и их роль в преобразовании быта сельского населения, СЭ, 1975, № 6.

¹⁷ Ю. И. Семенов, Происхождение семьи и брака, М., 1974, стр. 259.

¹⁸ См., например: «Культура и быт таджикского колхозного крестьянства», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XXIV, М.—Л., 1954; «Семья и семейный быт колхозников Прибалтики», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. LXXVII, М., 1962; Д. С. Вардумян, Э. Т. Карапетян, Семья и семейный быт колхозников Армении, Ереван, 1963; Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, Культура и быт колхозников Калининской области, М., 1964; Я. Р. Винников, Хозяйство, культура и быт сельского населения Туркменской ССР, М., 1969; III. Аннаклычев, Указ. раб., О. А. Ганцкая, Этнос и семья в СССР, СЭ, 1974, № 3, и др.

Существенными признаками социалистического образа жизни являются два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса: расцвет национальных культур народов СССР и их интеграция в общесоветскую духовную культуру. Социалистический образ жизни характеризуется при этом глубоким влиянием марксистско-ленинской идеологии, идеологии пролетарского интернационализма на духовную культуру народов нашей страны. Как отмечает Л. И. Брежнев, «партия добилась того, что интернационализм превратился из идеала горстки коммунистов в глубокие убеждения и норму поведения миллионов советских людей всех наций и народностей. Это подлинно революционный переворот в общественном сознании, значение которого трудно переоценить»¹⁹.

Значительная часть этнографических исследований в области духовной культуры посвящена изучению различных традиционных явлений массовой народной культуры: фольклора, религии, обрядности в их этническом, национальном проявлении. Вместе с тем в последние годы обращается все больше внимания на отражение этнических процессов в сфере духовной культуры населения этнически-пограничных районов, а также всего Советского Союза в целом²⁰.

В связи с изучением социалистического образа жизни и перспектив его развития особенно важными представляются именно исследования, посвященные процессам складывания интернациональных явлений в духовной культуре советского народа, как отражения марксистско-ленинской идеологии, и процессам взаимообогащения и взаимовлияния братских национальных культур.

Что касается проблемы религиозных верований, то здесь направление процессов в ходе формирования и дальнейшего развития социалистического образа жизни выступает особенно отчетливо. Религия как фактор духовной жизни не является признаком социалистического образа жизни и не имеет никаких перспектив дальнейшего развития. И если в отдельных регионах или среди определенных возрастных групп религиозные представления еще имеют место, то их изживание является в основном вопросом времени и правильной постановки антирелигиозной пропаганды. Ни экономических, ни социальных основ бытования религиозных верований в условиях социалистического образа жизни не имеет.

Более сложен, очевидно, вопрос о народных поверьях и предрассудках, коренящихся в психологии людей. Однако и они сдают свои позиции по мере повышения уровня образования и распространения научных знаний о явлениях окружающего мира.

Несомненный интерес для рассматриваемой проблемы представляют сюжеты, связанные с семейно-брачными обычаями и обрядностью. Вопрос этот не столь маловажен, как могло бы казаться, так как, с одной стороны, он связан с изживанием определенных отрицательных явлений в бытовой сфере (калым и другие обычаи, унижающие достоинство женщины; вредные обычаи престижного характера, например, излишне пышные свадьбы и другие празднества, разоряющие устроителей), а с другой — с утверждением новой общесоветской обрядности, что является одним из показателей сближения народов СССР в духовной жизни, ее общности для представителей разных наций и народностей.

Таким образом, для социалистического образа жизни советского народа можно назвать характерными как утерю религией значения су-

¹⁹ Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, стр. 47.

²⁰ См., например: Ю. В. Арутюнян, О некоторых тенденциях в изменении культурного облика наций, СЭ, 1973, № 4; М. Я. Жорницкая, Отражение в современном хореографическом искусстве этнокультурных связей в СССР, СЭ, 1975, № 3, и др.

щественного фактора в духовной жизни, так и возникновение общесоветских традиций, обрядов, единых для всего советского народа и тем способствующих его консолидации на уровне семейной, домашней, повседневной жизни. И в этом отношении этнография в тесном содружестве с социологией может внести существенный вклад в исследование общих тенденций, в развитие этих процессов и способствовать выработке обоснованных рекомендаций и стимулирования тех процессов, которые в наибольшей степени отвечают принципам социалистического образа жизни.

Наряду с этим стоит также важнейшая проблема дальнейшего разветвления исследований духовной культуры в связи с изучением социалистического образа жизни. Как справедливо отмечают советские авторы, к области этнографического исследования современных народов индустриальных стран относятся не только традиционные, но и «все без исключения» явления²¹. В связи с этим выдвигается задача изучения и таких областей духовной культуры, как наука и профессиональное искусство²².

Наука, поставленная в нашей стране на службу трудящимся массам, строительству коммунистического общества, глубоко демократична. Что касается естественных наук, то в целом они способствуют межэтнической интеграции²³. Гуманитарные науки, изучающие конкретные общества и их взаимодействия, раскрывают, с одной стороны, национальные, этнические особенности, а с другой — процессы сближения наций и народов социалистического общества, активно способствуют проведению в жизнь идей пролетарского интернационализма²⁴. Таким образом, советская наука оказывает сильное воздействие на этнические процессы, что получает выражение в социалистическом образе жизни.

Социалистический образ жизни многонационального советского народа не может быть исчерпывающе охарактеризован без важного аспекта его духовной культуры — искусства, к которому приобщаются люди в своей повседневной жизни. При этом для характеристики образа жизни существенна не вся духовная культура в целом, а в первую очередь те ее элементы, которые связаны в наибольшей степени с повседневной жизнью. Тем более что искусство тесно связано с этническими процессами в области духовной культуры, и его расцвет при социализме свидетельствует о развитии как ее национальных форм, так и социалистического содержания. При этом отчетливо вырисовываются общие явления, присущие социалистическому образу жизни советского народа как в отношении народного, непрофессионального, так и профессионального искусства.

Традиционное народное искусство во всех его видах возникло и развивалось в рамках отдельных этнических общностей или областных групп, что не исключало заимствований, взаимовлияния в ходе межэтнических контактов. Таким образом, по своему происхождению искусство этнодифференцировано и специфические этнические черты присущи ему и в наше время. Вместе с тем по мере складывания новой исторической общности — советского народа и общего для него образа жизни, по мере интенсивного культурного сближения всех народов нашей страны традиционное народное искусство из узконационального стало превращаться в культурное достояние всех народов СССР. Так это искусство, не теряя своих национальных черт, влилось в общую

²¹ С. А. Токарев, О задачах этнографического изучения народов индустриальных стран, стр. 139.

²² Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, К изучению современных этнических процессов в сфере духовной культуры народов СССР, стр. 3.

²³ Там же, стр. 6.

²⁴ Там же, стр. 7.

сокровищницу культуры советского народа, характеризуя одну из сторон его образа жизни.

Аналогичная картина наблюдается и в области профессионального искусства. Развиваясь в национальных формах, оно не только не замыкалось в них, а наоборот, было предметом широкого интернационального обмена, «ни один из видов профессионального искусства не замыкался только сферой национального, а включал в себя и интернациональное, причем удельный вес последнего постепенно возрастал»²⁵. Поэтому и профессиональное искусство, обогащенное национальными традициями, стало типичным признаком культуры социалистического образа жизни.

Исключительно большое значение имеют языковые процессы, развивавшиеся по мере формирования советского народа как новой исторической общности. В этнографических и социологических исследованиях отмечается, что развиваются они в двух взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях. С одной стороны, происходило и происходит развитие национальных языков, а с другой — русский язык уже давно стал средством интернационального общения²⁶.

Двуязычие, роль русского языка как важнейшего фактора интернационального общения между братскими народами СССР и место этого явления в этнокультурных процессах в условиях социалистического образа жизни — проблема, которую и в дальнейшем могут успешно разрабатывать этнографы, социологи, лингвисты. При этом для проблемы образа жизни наиболее существенны такие стороны двуязычия, как употребление людьми языка в быту, в сфере неформального общения. Из сказанного выше со всей очевидностью вытекает, что исследование широкой проблемы социалистического образа жизни включает многие важные этнографические аспекты.

Если исходить из задачи, стоящей перед рядом наук по созданию теоретической модели, соответствующей идеальным представлениям о социалистическом образе жизни, то к области этнографических исследований относится изучение и обобщение данных по разнообразным этнокультурным явлениям, межнациональным отношениям, связанным с дальнейшим укреплением и развитием новой исторической общности — советского народа, его социалистического образа жизни.

Соответственно с этим этнография обладает возможностями создания частных моделей тех или иных этнокультурных явлений, входящих в общую модель социалистического образа жизни, причем на двух уровнях. Прежде всего, это моделирование явлений, соответствующих образу жизни развитого социалистического общества и, как дальнейшая перспектива, создание моделей в связи с задачами перехода к коммунистическому образу жизни. И в том и в другом случае этнография может выступать не как простой регистратор той или иной картины, тех или иных процессов, а посредством конкретных рекомендаций способствовать активному формированию этнокультурных элементов социалистического и коммунистического образов жизни в соответствии с задачами, вытекающими из развития этих процессов.

Как уже отмечалось, широкие перспективы открываются перед советскими этнографами в дальнейшей идеологической борьбе с апологетами капиталистического общества, проповедниками буржуазного образа жизни.

²⁵ Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, К изучению современных этнических процессов в сфере духовной культуры народов СССР, стр. 12.

²⁶ См., например, М. Н. Губогло, Социально-этнические последствия двуязычия, СЭ, 1972, № 2; С. И. Брук, М. Н. Губогло, Двуязычие и сближение наций в СССР (по материалам переписи населения 1970 г.), СЭ, 1975, № 4; и х же, Факторы распространения двуязычия у народов СССР (по материалам этносоциологических исследований), СЭ, 1975, № 5.

Живой этнографический материал, показывающий достижения нашей жизни даже более ярко, чем какие-либо другие данные, должен еще шире быть противопоставлен буржуазной пропаганде. Он свидетельствует о советских принципах отношения общества к человеку и личности к обществу; о советском интернационализме и патриотизме; о реальных преимуществах социалистического образа жизни в материальной и духовной сферах. Именно этнографические данные могут особенно наглядно показать, насколько в этнических и культурных процессах, в повседневной жизни и быту социалистический образ жизни, его характер, качественно превосходит образ жизни буржуазного общества и обеспечивает достойное существование человека, члена новой исторической общности — советского народа.

THE SOCIALIST WAY OF LIFE AND PROBLEMS OF ETHNOGRAPHY

The «way of life» is a complex compound phenomenon evolving in accordance with the laws governing each particular social-economic structure. It is a major index demonstrating the general situation and future prospects of a society.

The concept of the «way of life» may be briefly formulated as the aggregate of typical life conditions, norms and forms of activity and of relations between people under specific historical conditions.

The «way of life» with its essential features may be considered at different levels. At the highest level pertaining to the basic social-economic structure it is similar for different peoples of equal social-economic development; at a middle level we examine the specific features of the way of life of different peoples belonging to the same social-economic structure; at the lowest the object of study is formed by the various living conditions of ethnic, class and other groups within a single society.

The «way of life» is characterized by a number of main elements: the social-economic foundation (structure of life); the available quantity of articles of consumption (standard of life); a qualitative characteristic showing the actual importance for the way of life of material and intellectual culture and of certain features of domestic and everyday existence (character of life).

The socialist way of life has come into being and is developing under conditions of the socialist social-economic structure. One of its varieties is the Soviet way of life, that of the new historical community formed by the multi-national Soviet people.

Soviet ethnographers have before them the important task, stemming from the task of building a communist society, of studying the character of the Soviet way of life; of investigating the manner in which it reflects ethnocultural, domestic and family-life phenomena, material and intellectual culture. Ethnographic data permeate economic indices with living, vivid contents and help to show on convincing material the advantages of the Soviet way of life.

Ethnographic research supplements in many ways the theoretical model of the Soviet way of life. This has a great importance for practical purposes, for long-term planning and for forecasting social-economic processes.

С. И. Брук

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПОСЛЕВОЕННОМ МИРЕ ¹

**(ВОЗРАСТНАЯ И ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ,
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, УРБАНИЗАЦИЯ)**

Возрастная структура населения² Земли изменилась в послевоенное время едва ли не больше всех других демографических показателей. Она сильно колеблется по странам и зависит прежде всего от особенностей воспроизводства населения и характера миграционных процессов; существенное влияние на нее оказывают, в частности, войны. Возрастная структура в свою очередь влияет на все другие демографические показатели, и особенно на рождаемость и смертность, определяет долю экономически активного населения, трудовые ресурсы и т. д.

Возрастная структура населения по крупным регионам земного шара на начало 1970-х годов представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

**Возрастная структура населения мира
(на середину 1970-х годов), %**

Регионы	0—14 лет	15—59 лет	60 лет и старше
СССР	29	59	12
Зарубежная Европа	24	60	16
Зарубежная Азия	40	55	5
Африка	44	51	5
Северная Америка	25	60	15
Латинская Америка	42	52	6
Австралия и Океания	31	58	11
Мир в целом	37	55	8

Выделяются два основных типа возрастной структуры. Большинство развивающихся стран (с высокой рождаемостью и смертностью и низкой средней продолжительностью жизни) принадлежит к первому типу, который отличается очень высоким процентом детских возрастов и небольшой долей людей пожилого возраста. Страны Европы и Северной

¹ Настоящая работа продолжает серию статей, публикуемых в журнале «Сов. этнография» на тему об этнодемографических процессах в послевоенном мире. В предыдущем номере журнала была опубликована первая из этих статей, посвященная динамике и воспроизводству населения. В одном из следующих номеров журнала будет помещена статья, характеризующая изменения в этническом, расовом и религиозном составе населения.

² Мы группируем здесь население (как это часто делается) по трем широким возрастным поясам: дети (от 0 до 14 лет), лица производительного возраста (от 15 до 59 лет) и пожилые (60 лет и старше). Обычно по странам и крупным регионам значительно различаются доли первой и третьей групп, доля же средней группы в большинстве случаев колеблется в небольших пределах.

Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия представляют второй тип, имея невысокую рождаемость, низкую смертность и большую продолжительность жизни. Они характеризуются пониженной долей детей и высоким процентом пожилых людей. Так как разница между этими двумя группами стран в удельном весе детей сильнее, чем в удельном весе пожилых возрастов, развивающиеся страны отличаются, как правило, пониженным процентом производительного возраста (в отдельных странах — даже резко пониженным). В целом же почти весь послевоенный период характеризуется для первой группы стран омоложением общества, для второй — постарением.

Доля детей в Азии, Африке и Латинской Америке обычно превышает 40%, а в ряде развивающихся стран приближается к половине всего населения (Мали — 49,5, Никарагуа — 48,3, Ирак, Того, Южная Родезия, Коста-Рика — по 48,0% и т. д.); лишь немногие, наиболее развитые в экономическом отношении страны в этих частях света (Япония, МНР, Шри Ланка, Израиль, Аргентина, Уругвай) имеют в своем населении процент детей меньше сорока. В развитых же странах эта доля обычно колеблется от одной пятой до одной четвертой (Швеция — 20,9, Венгрия — 21,4, Швейцария — 23,5, ГДР — 23,6, Франция — 23,7, Япония — 24,0, Англия — 24,1%). В Европе она лишь в двух странах выше 30% (Албания и Ирландия). В США детей 28,5%, в Австралии — 28,9%.

В СССР доля детей в 1970 г. была равна 29% (в царской России в 1897 г. она составляла 40,4%). При этом сохраняются значительные различия между отдельными республиками (например, в Таджикской ССР дети составляют 46,6%, а в Латвийской ССР 21,6% всего населения) и крупными регионами в целом (в среднеазиатских республиках в среднем 44,8%, в прибалтийских — 24,1%).

За последние десятилетия разница в доле детских возрастов между развивающимися и развитыми странами увеличилась. Это объясняется сохранением высокой рождаемости при резком уменьшении детской смертности в странах первой группы и уменьшением рождаемости и увеличением продолжительности жизни в странах второй группы.

Что касается пожилых людей, то наибольшая их доля обычно характерна для стран с низким процентом детей. Наиболее высока доля пожилых людей в ГДР (22,0%), Австрии (20,1%), Швеции (19,3%), Англии (18,5%), Франции и Бельгии (по 18,0%) и других странах Европы; наиболее низкая — в странах Африки, Азии и Латинской Америки (в некоторых из них люди старших возрастов составляют всего 3—5% населения)³.

В СССР доля пожилых людей непрерывно растет — с 6,8% в 1939 г. до 9,4 в 1959 г. и 11,8% в 1970 г. Этот рост обусловлен главным образом повышением доли лиц пожилого возраста в РСФСР и республиках Европейской части СССР. Процент пожилых достигает 17,3 в Латвийской ССР, 16,8 — в Эстонской, 15,0 — в Литовской, 13,9 — в Украинской ССР, 11,9 в РСФСР, тогда как в республиках Средней Азии, Казахстане, Азербайджане и Армении он колеблется от 7,2 до 8,9. Одна из причин низкого удельного веса пожилых людей в населении среднеазиатских и некоторых закавказских республик — очень большая доля детей.

Доля производительных возрастов считается высокой, если она превышает 60% всего населения, и низкой, если она менее 50%; выше всего она в Японии (65,6%), ниже всего — в Ираке (45,0%). В большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки этот показатель колеблется между 45 и 50%. В Европе же нет государств, где бы удельный вес этой категории лиц был ниже 54%.

³ Отметим, что даже в Югославии, имеющей самую низкую долю лиц пожилого возраста в Европе (11,5%), она все же выше, чем в любой стране Азии, Африки и Латинской Америки.

В СССР доля производительных возрастов хотя и несколько уменьшилась за последнее десятилетие (с 61,0 в 1959 г. до 59,2% в 1970 г.)⁴, все же продолжает оставаться довольно высокой, особенно в РСФСР, УССР, Латвии и Эстонии (61,1—61,6%); заметно ниже она в республиках Средней Азии и Azerбайджане (45,9—49,4%).

Обобщающим показателем, характеризующим возрастной состав населения, является так называемый медианный (средний) возраст. Медиана делит по возрасту все население на две равные части: половина населения — моложе, другая половина — старше этого возрастного уровня. Медианный возраст населения крупных регионов мира представлен в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Медианный возраст населения (на начало 1970-х годов)

Регионы	Медианный возраст (годы)	Регионы	Медианный возраст (годы)
СССР	22,3	Северная Америка	28,5
Зарубежная Европа	32,4	Латинская Америка	18,8
Зарубежная Азия	20,8	Австралия и Океания	25,4
Африка	17,8	Мир в целом	22,4

Средний возраст населения менее 16 лет — в Никарагуа, Доминиканской Республике и Суринаме; он составляет 16—17 лет в Алжире, Марокко, Кении, Танзании и Замбии; Ираке, Иордании, Пакистане, Таиланде; Колумбии, Эквадоре и почти всех странах Центральной Америки. В то же время почти во всех странах Европы медианный возраст выше 30 лет, а в Швеции, ФРГ, ГДР и Люксембурге — даже выше 35.

Изменение возрастного состава населения в конечном счете приводит к уменьшению производительных возрастов во всех группах стран. В развитых странах это происходит за счет роста удельного веса пожилых людей, в развивающихся странах — из-за быстрого роста доли детей и некоторого увеличения доли лиц старшего возраста. Это уменьшение вызывает ряд экономических, социальных и медицинских проблем. Так называемая «демографическая нагрузка», т. е. отношение числа детей и пожилых к числу лиц трудоспособных возрастов хотя и проявляется по-разному в различных странах, в общем почти повсеместно становится больше; это тормозит повышение жизненного уровня населения (в связи с большими затратами средств на воспитание детей и пенсионное обеспечение пожилых людей).

Во всей Азии, Африке и Латинской Америке (кроме Японии, Аргентины, Уругвая и еще нескольких стран) на 1000 человек в производительном возрасте приходится более 700 детей. Есть даже страны, в которых детей больше, чем «работников» (Ирак, Того, Алжир, Коста-Рика, Никарагуа). Наоборот, во всех странах Европы, кроме двух (Албании и Ирландии), число детей не достигает и половины от числа лиц производительного возраста, а в некоторых из них составляет лишь немногим более трети⁵ (в США, Канаде и Австралии доля детей равна примерно половине). В СССР на 1000 лиц в производительном возрасте приходится 490 детей (в Таджикской ССР — 1015, Узбекской — 988, в РСФСР и

⁴ Особенно резко снизился с 1959 по 1970 г. удельный вес лиц производительных возрастов в республиках Средней Азии и в Azerбайджане (в среднем по всем этим республикам — с 53,3 до 47,0% и больше всего в Таджикской ССР — с 53,3 до 45,9%), что объясняется резким увеличением доли детей и людей пожилого возраста.

⁵ Примерно такого же порядка и соотношение детских и производительных возрастов в Японии.

УССР лишь немногим более 400, а в Эстонской и Латвийской ССР соответственно 361 и 354).

С другой стороны, в ряде стран весьма значительна «нагрузка» на производительные возрасты групп лиц пожилого возраста. В Европе в среднем она составляет 279 на 1000. Выше всего эта «нагрузка» в ГДР — 403, в Австрии — 362, а также в Бельгии, Франции, Швеции, Англии — более 300. В США она равна 246, в Австралии — 208, в СССР — 200 (наибольшая в Латвии — 287, наименьшая в Туркмени — 151). Значительно ниже ее уровень в Латинской Америке (118), Азии (105) и Африке (96). По расчетам демографов, в ближайшие два-три десятилетия лица пожилого возраста будут составлять в большинстве стран мира более 20% всего населения, или свыше одной трети от числа лиц производительного возраста.

Следует также подчеркнуть специфические особенности возрастной структуры городского и сельского населения. В связи с тем, что в подавляющем большинстве стран рождаемость в сельской местности выше, удельный вес детей там больше, чем в городах (в СССР, например, почти в полтора раза). Более высокий уровень продолжительности жизни в деревне и, особенно, постоянный отток молодых людей в города приводят к тому, что доля лиц пожилого возраста там также значительно выше, чем в городе. Все эти факторы приводят к тому, что процент лиц производительного возраста в подавляющем большинстве случаев выше в городах.

* * *

Половой состав населения в различных странах и в разные эпохи обнаруживает значительные модификации под влиянием многочисленных факторов.

Во всех странах мира (во всяком случае в тех из них, где имеется налаженный учет поло-возрастной структуры населения) на каждые 100 девочек рождается в среднем 104—107 мальчиков; по-видимому, это устойчивое соотношение, характерное и для стран, в которых соответствующие данные отсутствуют. В мире ежегодно рождается примерно на 4 млн. мальчиков больше, чем девочек. Однако более высокая смертность среди мальчиков (кстати, она выше в большинстве стран у лиц мужского пола любого возраста) приводит к тому, что ко времени достижения подрастающим поколением 15—20 лет численное соотношение полов обычно выравнивается. В результате лишь в нескольких странах мира наблюдается резкое преобладание доли мужчин, а общая численность мужчин на земном шаре только на 25 млн. больше, чем женщин; первые составляют 50,3, вторые — 49,7% всего населения.

На половой состав населения большое влияние оказывают войны (людские потери в войнах всегда были выше среди мужчин). В возникновении местных диспропорций полового состава важную роль играют миграции, в которых, как правило, преобладают мужчины⁶. В послевоенное время сильнейшее влияние на половую структуру оказывает все возрастающая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин.

Как и другие демографические показатели, половая структура сильно различается в развитых и в развивающихся странах.

В первой группе стран численность женщин обычно превышает численность мужчин. Это связано с тем, что разница между средней продолжительностью жизни у женщин и мужчин здесь особенно велика (у первых почти на пять лет больше). В Европе в целом мужчин на

⁶ В последние десятилетия в связи с выравниванием удельного веса мужчин и женщин в составе мигрантов (см. ниже) влияние этого фактора на половой состав населения уменьшается.

15 млн. меньше, чем женщин. Особенно низкий процент мужчин в Венгрии — 45,6, ГДР — 46,0, Австрии — 46,9, ФРГ — 47,8. Лишь в четырех европейских странах (Албания, Исландия, Ирландия и Швейцария) мужчины составляют свыше половины всего населения. Следует отметить, что за последние 75 лет процент мужчин в общем населении Европы уменьшился с 49,4 до 48,3, что является также следствием двух мировых войн, охвативших большую часть стран этого региона.

В крупнейших развитых странах других частей света — США и Японии — мужчин также меньше, чем женщин (в США — 48,7, в Японии — 49,1%). В США доля мужчин все время уменьшается в связи с исключительно высокой и непрерывно растущей разницей в продолжительности жизни у мужчин и женщин (в 1971 г. соответственно 67 и 75 лет); иммиграция, увеличивавшая в прошлом долю мужчин, сейчас не только уменьшилась, но и стала более сбалансированной в отношении полового состава (достаточно сказать, что до начала второй мировой войны в США именно благодаря иммиграции мужчин было больше, чем женщин). В других странах иммиграции — Канаде, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии, получающих вплоть до настоящего времени значительные контингенты мигрантов, в составе которых несколько преобладают мужчины, последних все еще больше, чем женщин.

В Азии в целом мужчин больше, чем женщин, примерно на 50 млн. чел. В подавляющем большинстве азиатских стран численность мужчин, по-видимому, превышает численность женщин; впрочем, во многих из них статистические данные мало надежны. Лишь в Японии, МНР и, возможно, в Индонезии, Непале, Бирме мужчин несколько меньше, чем женщин. Преобладание мужчин в азиатских странах — результат многовекового угнетения женщин; изменение их положения в последние десятилетия еще не смогло существенно повлиять на демографическую структуру населения⁷. Обращает на себя внимание тот факт, что сильная диспропорция полов наблюдается в первую очередь в странах Южной Азии, а также в Китае; именно она оказывает решающее влияние на половую структуру населения всего мира. В указанных странах мужчин на 47 млн. больше, чем женщин (в том числе в Китае на 21 млн. и в Индии на 20 млн.). И это несмотря на то, что для всех рассматриваемых стран в течение последнего столетия была характерна значительная эмиграция, с преобладанием в ее составе мужчин, что в какой-то мере должно было сглаживать диспропорцию полов⁸.

В Африке в целом численность мужчин примерно равна численности женщин. В странах Северной Африки, где в населении преобладают мусульмане, мужчин больше, чем женщин (мужчины составляют от 50,4 в АРЕ до 52,0% в Ливии); их также больше в странах иммиграции (Гана, ЮАР, Южная Родезия), так как среди африканских мигрантов около двух третей образуют мужчины. В большинстве стран Тропической Африки женщин больше, чем мужчин (в Малави, Гвинейской Республике, Сенегале, Того — мужчин менее 48%).

В Латинской Америке численность мужчин и женщин в целом также равна. Нет больших диспропорций и в отдельных странах. Самый низкий процент мужчин в Парагвае — 48,8, самый высокий на Кубе — 50,7.

⁷ Кстати, единственными странами мира, где средняя продолжительность жизни женщин ниже, чем у мужчин, являются азиатские страны — Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри Ланка и Камбоджа; это характерно также для африканского населения ЮАР.

⁸ Социально-экономическое и историческое развитие стран южноазиатского субконтинента и Китая существенно не отличалось от развития соседних азиатских стран. Между тем в этих соседних странах резкой диспропорции полов не наблюдается. В связи с этим большой интерес представляет изучение конкретных причин, оказывающих влияние на половой состав населения в каждой стране.

В СССР, по данным всех переписей населения, женщин было больше, чем мужчин. До революции, однако, разница между численностью мужчин и женщин была сравнительно невелика (в 1913 г. последних было всего на 1 млн. больше). Положение существенно изменилось после первой мировой и гражданской войн и в особенности после второй мировой войны, вызвавших огромные потери прежде всего среди мужского населения (три четверти всех потерь). По данным переписи 1926 г., женщин стало на 5 млн. больше, чем мужчин. Перепись 1959 г. зафиксировала еще больший разрыв в численности: женщин оказалось на 20,8 млн. больше, чем мужчин; эта диспропорция была еще более резкой сразу же после окончания второй мировой войны (так как в 1959 г., спустя 14 лет после окончания войны, общее численное соотношение мужчин и женщин несколько выравнивалось за счет молодого поколения)⁹.

Перепись 1970 г., как и следовало ожидать, зарегистрировала постепенное уменьшение разрыва между числом женщин и мужчин: первые составили 53,9% всего населения (против 55,0% в 1959 г.). Ныне диспропорция полов в СССР сохраняется лишь среди лиц старших возрастов: численность мужчин и женщин в возрасте до 48 лет стала примерно одинаковой, зато среди лиц старше этого возраста женщины составляют две трети населения. К середине 1975 г. процент мужчин увеличился до 46,4, и разница в численности мужчин и женщин уменьшилась до 18,3 млн.

Интересные закономерности можно выявить при рассмотрении полового состава населения по союзным республикам. До второй мировой войны, при общем преобладании женщин по стране в целом, во всех среднеазиатских республиках, Казахстане, Азербайджанской и Армянской ССР женщин было меньше, чем мужчин. Причины такого явления коренятся, по-видимому, в угнетенном положении женщин Востока до революции. Сыграла, вероятно, свою роль и индустриализация национальных окраин, сопровождавшаяся переселением в эти районы значительных контингентов населения, в первую очередь мужского. Перепись 1959 г. уже зафиксировала преобладание численности женщин во всех союзных республиках, однако в Средней Азии и Закавказье (исключая Грузию) половая диспропорция не проявлялась так резко, как в других районах страны. Аналогичное положение было отмечено и следующей переписью населения. В 1970 г. процент женщин в Украинской ССР достигал 54,8, в РСФСР 54,4, в Латвийской и Эстонской ССР 54,3; в то же время в Таджикской, Туркменской, Армянской, Узбекской и Азербайджанской ССР доля женщин в населении колебалась от 50,8 до 51,5%. Одна из главных причин большего процента мужчин во второй группе республик связана с высокой рождаемостью и значительной долей в населении детей (в составе которых здесь, как и всюду, преобладают мальчики). Единственные районы СССР, где мужчин больше, чем женщин,— это Коми АССР и Якутская АССР, а также Камчатская и Магаданская области, т. е. районы крупных новостроек в слабозаселенных частях страны с суровыми природными условиями. Если же взять данные по народам, то в 1970 г. мужчин стало больше, чем женщин, у туркмен, узбеков, каракалпаков, уйгуров, тувинцев, лезгин и ингушей.

Существенно различается половой состав населения в городах и сельской местности. В развитых странах мужчин в сельской местности обычно несколько больше, чем женщин. Объясняется это тем, что в условиях высокомеханизированного сельского хозяйства основные работы выполняются мужчинами, а часть женщин в трудоспособном возрасте переселяется в города для работы в сфере обслуживания. Кроме

⁹ По данным ЦСУ СССР, в 1950 г. мужчин в нашей стране было на 21,5 млн. меньше, чем женщин, и они составляли лишь 43,9% всего населения (это едва ли не самый низкий процент среди всех стран мира).

того, на селе значительно выше процент детей. Противоположную картину мы наблюдаем в странах, сравнительно недавно вступивших на путь индустриального развития. Быстро растущие города притягивают значительное число мигрантов-мужчин (недостаточное развитие экономики вызывает высокую безработицу в городах, а это в свою очередь осложняет использование труда женщин, которым к тому же тяжелее освоить городские профессии). О различиях в половом составе в этих двух группах стран можно судить по приводимым в табл. 3 примерам.

Таблица 3

Соотношение мужчин и женщин в городах и сельской местности (на начало 1970-х годов)

Страна	На 100 женщин приходилось мужчин		Страна	На 100 женщин приходилось мужчин	
	в городах	в сельской местности		в городах	в сельской местности
СССР	86	84	Пакистан и Бангладеш	129	109
США	94	104	Шри Ланка	118	106
Франция	93	99	АРЕ	104	100
Индия	118	104			

В СССР доля мужчин среди городского населения выше, чем в сельской местности (соответственно 46,1 и 45,8%), однако разница эта велика только на Украине (46,3 и 43,9%) и в Белоруссии (47,0 и 45,2%) и заметна в РСФСР (45,9 и 45,2%). В прибалтийских республиках, а также в Молдавии и Армении удельный вес мужчин в городах и селах приблизительно одинаков. В Киргизской, Узбекской, Таджикской и Грузинской ССР доля мужчин в городах даже несколько меньше, чем в селах.

* * *

Характер миграций населения в послевоенное время довольно существенно изменился. Наряду с экономическими факторами, которые всегда играли решающую роль в перемещениях населения, в последние десятилетия все большее значение приобретают политические факторы (образование новых государств, изменение границ, политико-экономические преобразования в различных странах и т. д.), иногда важную роль играют национальные и религиозные факторы. Наибольший размах имеют по-прежнему миграции населения из сел в города в связи с ускорившимися темпами урбанизации.

Большие размеры приняли миграции населения во время второй мировой войны, связанные с бегством и эвакуацией мирных граждан из районов военных действий. В послевоенное время основная их масса возвратилась на прежнее местожительство. Большая часть военнопленных и лиц, насильственно вывезенных гитлеровцами из стран, временно подвергшихся фашистской оккупации, также вернулась на родину. В Западной Европе остались лишь группы так называемых «перемещенных лиц», которые затем переселились в США, Австралию, Канаду и другие неевропейские страны (в Европе, главным образом в Великобритании, Франции, Бельгии и ФРГ, осело 200 тыс. чел., или около 15% их общего числа).

В годы Великой Отечественной войны произошли резкие территориальные сдвиги и в размещении населения СССР в связи с эвакуацией в восточные области из оккупированных районов и прифронтовой поло-

сы (всего около 25 млн. чел.)¹⁰. В последующие годы большая часть этого населения возвратилась в родные места.

В первые послевоенные годы между странами Восточной и Юго-Восточной Европы был произведен добровольный обмен национальными меньшинствами. Обменялись некоторыми группами населения СССР и Польша, СССР и Чехословакия, Болгария и Румыния, Венгрия и Чехословакия, Венгрия и Югославия, Югославия и Италия (несколько позднее, в 1950—1951 гг., часть турок Болгарии выехала в Турцию, а болгары Турции — в Болгарию). Значительно возросла репатриация живущих за рубежом армян (главным образом из стран Леванта, Северной Африки и Южной Европы) в Армянскую ССР; за послевоенное время сюда приехало около 100 тыс. армян (значительно больше, чем в период от образования Армянской ССР до начала второй мировой войны).

В итоге поражения фашистской Германии было организованно переселено около 9,7 млн. немцев из Польши и Чехословакии в ГДР, ФРГ и Западный Берлин (частично в Австрию); соответственно в освобожденные районы переместилось около 5 млн. поляков и около 2,3 млн. чехов.

При образовании на территории бывшей Британской Индии двух, а позднее трех независимых государств — Индии, Пакистана и Бангладеш — обмен населения между этими государствами охватил около 18 млн. мусульман и индуистов. В 1945—1947 гг. началось массовое возвращение (оно продолжалось до 1956 г.) в Японию японцев из захваченных ими ранее территорий (главным образом из Китая и Кореи); всего возвратилось около 6,3 млн. чел.

Значительные миграции имели место и на Ближнем Востоке. В первые четыре года после создания государства Израиль (конец 1946—1951 г.) туда переехало около 700 тыс. евреев, преимущественно из стран Европы и арабских стран Азии и Африки; в это же время (и особенно во время израильско-арабской войны 1948 г.) около 750 тыс. арабов бежали из Израиля и захваченных им арабских территорий в соседние страны. В последующие годы иммиграция в Израиль уже не имела столь массового характера.

В странах традиционной иммиграции (США, Канада, Австралия, некоторые государства Южной Америки) в послевоенное время были приняты новые законодательные меры, усложнившие межгосударственные миграции. Несмотря на все это, межгосударственные миграции послевоенного времени, направленные в эти районы, значительно возросли по сравнению с последним предвоенным десятилетием (1930—1939 гг.), когда охваченные небывалым экономическим кризисом заокеанские страны не могли обеспечить работой своих собственных граждан.

Всего из стран Зарубежной Европы эмигрировало в 1921—1930 гг. 5,9 млн. чел., в 1931—1939 гг. — 1,2 млн., в 1946—1956 гг. — 5,4 млн., в 1957—1961 гг. — 1,5 млн., в 1962—1970 гг. — 2,3 млн. Основная часть мигрантов направлялась в страны Америки. Так, за 1946—1960 гг. из Европы в США выехало около 1,5 млн. чел. (главным образом из ФРГ, Великобритании, Италии), в Канаду 1,4 млн. (из Великобритании, Италии, ФРГ, Нидерландов), в Аргентину 0,8 млн. (из Италии, Испании), в Бразилию 0,5 млн. (из Португалии, Испании, Италии), в Венесуэлу 0,4 млн. (из Италии, Испании). В 1961—1970 гг. в США прибыло из стран Европы 1,1 млн. чел., в Канаду 0,5 млн., Аргентину 0,3 млн. и т. д.

Появился новый своеобразный вид миграции («перекачка мозгов») — переманивание высококвалифицированных специалистов (главным образом в США); начало этой миграции было положено в 1930-х годах, когда США получили монопольную возможность отбора ученых, бежавших из фашистской Германии и оккупированных гитлеровцами стран Европы.

¹⁰ «Вторая мировая война. Общие проблемы», кн. I, М., 1966, стр. 47.

Большое число иммигрантов в послевоенное время направлялось и из Европы в Австралию (в 1946—1961 гг.— 1,2 млн., в 1962—1970 гг.— 0,3 млн., главным образом из Великобритании, Италии и ФРГ) и Новую Зеландию (в 1946—1961 гг.— 170 тыс., в 1962—1970 гг.— 90 тыс.).

Значительные размеры получила иммиграция в Великобританию негров из Вест-Индии (преимущественно с Ямайки) и стран Западной Африки, индийцев и других групп населения из Азии, Африки и Латинской Америки, во Францию — арабов из стран Северной Африки, в ЮАР — жителей Великобритании, Нидерландов и ФРГ, в США — японцев, китайцев, индонезийцев и др.

Политические изменения в послевоенное время привели к тому, что с отдельными странами других континентов Европа имела положительное сальдо мигрантов. Так, возвратилась на родину из бывших колониальных владений большая часть англичан (из Индии, Пакистана и других стран), голландцев (из Индонезии), французов (из Алжира, Марокко, всего более 1 млн.), итальянцев (из Эфиопии, Ливии и других стран Африки), португальцев (из Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау).

Научно-техническая революция привела к усилению подвижности населения. В послевоенное время резко возросли внутриконтинентальные и внутригосударственные миграции. И это касается не только стран Европы, для которых такие явления были характерны и прежде, но и других континентов.

Странами иммиграции стали ФРГ, Франция, Бельгия, Швейцария, в меньшей степени — другие государства Западной и Северной Европы. Число мигрантов, главным образом неквалифицированных рабочих, здесь достигало в разные годы 5—9 млн. чел.; их поставщиками являются экономически менее развитые и к тому же отличающиеся более высоким естественным приростом населения страны Южной Европы — Италия, Греция, Югославия, Испания, Португалия, а также Турция. В 1970 г. в ФРГ было около 3 млн. иммигрантов (больше всего из Италии, Югославии, Турции, Греции), во Франции — 2,7 млн. (из Италии, Испании, Португалии), в Швейцарии — около 1 млн. (почти 15% всего населения страны — больше всего итальянцев). Иммигранты в капиталистических странах, как правило, наиболее низкооплачиваемая, эксплуатируемая и бесправная часть трудящихся. Большая часть приехавших на заработки возвращается на родину после нескольких лет работы¹¹.

Коренным образом изменился баланс межконтинентальных и внутриконтинентальных миграций в главной стране притяжения мигрантов капиталистического мира — США. В первые 15 лет XX в. европейские переселенцы составляли от 85 до 95% всех иммигрантов в эту страну, в период между двумя мировыми войнами — несколько менее двух третей, в 1946—1960 гг. только 57%. В 1961—1970 гг. в США прибыло 3322 тыс. чел., в том числе из стран Европы 1130 тыс. (34%), из других стран Америки 1725 тыс. (52%, в том числе из Мексики 454 тыс. и из Канады 413 тыс. чел.), из стран Азии 418 тыс. (12,5%). Среди стран Америки, кроме США, значительное число мигрантов получают Канада и Аргентина.

Несмотря на сравнительно небольшие колебания ежегодного положительного сальдо миграций в США в 1940—1970-х годах (300—400 тыс. чел. в год), их значение в общем приросте населения в связи с падением естественного прироста снова несколько возрастает. Доля иммиграции в общем приросте населения составляла в 1940-х годах 9%, в 1950-х — 11%, в 1960-х — 16%. В Австралии в послевоенное время эта доля составила 60% общего прироста населения.

¹¹ В последние годы в связи с кризисными явлениями во всех капиталистических странах Европы и ростом безработицы эти миграции сократились, а часть мигрантов оказалась вынуждена раньше времени вернуться на родину.

В других регионах, значительно слабее развитых в экономическом отношении, внутриконтинентальные миграции играют сравнительно небольшую роль. Так, в Африке — в ЮАР, Южной Родезии, Гане, Судане работает по 200—300 тыс. чел. из соседних африканских стран. В Азии мигрантов притягивают нефтедобывающие арабские страны (главным образом из густонаселенных арабских стран — Ливана, Сирии и др.). Почти прекратилась эмиграция китайцев и индийцев в страны Юго-Восточной Азии.

Очень пеструю картину являют внутригосударственные миграции. Они имеют преимущественно тот же характер, что и внешние: переселение в поисках работы из относительно перенаселенных малоземельных районов во вновь осваиваемые области, из сельской местности в города, сезонные перемещения на сельскохозяйственные работы и в город, переселение крестьян на свободные земли и т. д. В Европе такие миграции, например, сравнительно невелики хотя бы из-за того, что небольшой размер стран и большая густота населения не способствуют его подвижности; почти не увеличивается и без того высокая доля городского населения в этих странах. Значительно более подвижно население в странах Америки, особенно в США и Канаде. В США продолжается заселение западных и юго-западных штатов, усиленное стягивание населения в крупные городские агломерации, переселение негров из районов «черного пояса» на север страны и усиление сезонных миграций рабочих, связанное с хронической высокой безработицей. В США около 30% лиц живет вне тех штатов, где они родились. В развивающихся странах чем выше уровень развития производительных сил, тем сильнее внутренние миграции. Однако за исключением передвижений «село — город», они, как правило, не играют существенной роли. Как общую тенденцию для всех континентов можно отметить сдвиг населения с гор на равнину и все большее заселение побережий.

В СССР, как и в других социалистических странах, государственное планирование народного хозяйства создает предпосылки для организованного потока мигрантов внутри страны, лишая миграции черт стихийности. Они регулируются рядом целенаправленных прямых либо косвенных экономических и социальных рычагов и призваны непосредственно отвечать потребностям народного хозяйства в рациональном размещении населения. В социалистических странах идет усиленное развитие недостаточно освоенных районов, и в эти районы в первую очередь направляется миграция. В послевоенный период в СССР еще более усилились миграции в новые промышленные районы, к новостройкам, в районы освоения целинных земель (только за 1959—1970 гг. приток в Казахстан и Среднюю Азию составил 1,2 млн. человек).

* * *

Урбанизация в настоящее время рассматривается как сложный процесс, зачастую трудно поддающийся управлению. Ему уделяют пристальное внимание не только градостроители и демографы, но и экономисты, социологи, философы, географы, этнографы и ученые других специальностей. Рост городов, повышение доли городского населения, распространение городского образа жизни оказывают самое непосредственное влияние на социально-демографические процессы, в первую очередь на воспроизводство населения, его возрастной и половой состав, характер миграций и т. д.

Следует подчеркнуть, что количественное отображение урбанизованности все более затрудняется неопределенностью самого понятия «город». В разных странах оно имеет различное толкование, но в большинстве случаев связано с определенным цензом людности города. В некоторых странах в число городов включаются все населенные пункты, име-

ющие свыше 5 тыс. жителей, в других — свыше 10 тыс. и т. д. В ряде стран (в их числе и Советский Союз) населенные пункты приобретают официальный статус города в каждом отдельном случае специальным постановлением (для выделения городов здесь применяется целый комплекс признаков, различный для разных стран).

Наиболее обоснованное разделение города и деревни — по преобладающему роду занятий жителей. «Разделение труда... приводит прежде всего к отделению промышленного и торгового труда от труда земледельческого и, тем самым, к отделению города от деревни...»¹². Однако в последние десятилетия положение усложнилось распространением индустриального труда в сельской местности, широким развитием маятниковой миграции, когда значительные группы населения живут в селах, а работают на городских предприятиях, преобразованием городов в агломерации и конурбации¹³.

Очень часто в статистических работах публикуются данные о численности городов в пределах городской черты («административного города») и городов вместе с пригородами («фактического города»). Различия при этом бывают весьма существенны. Так, в примерно равных по степени урбанизированности странах — США и ФРГ — процент городского населения по официальным сведениям был равен соответственно 73,5 (в 1970 г.) и 38,4 (в 1969 г.). Столь различающиеся между собой данные, в соответствии с которыми ФРГ по удельному весу городского населения оказывается едва ли не на одном из последних мест в Европе, — результат неодинакового подхода к понятию «город». В США выделяется более 200 городских сгустков — «метрополитенских статистических ареалов». Ареалы эти — прилегающие друг к другу графства, население которых в основном занято вне сельского хозяйства и которые тяготеют к одному или нескольким городам с населением не менее 50 тыс. жителей (так как в состав «ареалов» графства включаются целиком, в их составе оказывается и население, занимающееся сельским хозяйством, составляющее, впрочем, ничтожный процент). Что касается ФРГ, то таких фактических конурбаций там очень много (значительная часть Рейнско-Вестфальского района представляет одну сплошную конурбацию), но городским там считается население, живущее в пределах «административных» городов, границы которых уже не менялись в течение нескольких десятилетий. Этим разнообразием в основном объясняется то обстоятельство, что Организация Объединенных Наций в своих статистических разработках (для сравнимости данных) до недавнего времени включала в список городов мира все населенные пункты с числом жителей свыше 20 тыс. чел. и долю городского населения определяла исходя из этих списков. При этом численность городского населения по крупным регионам в среднем преуменьшалась на одну четверть. Несмотря на указанные выше несоответствия, демографы ООН вынуждены были в последние годы перейти на учет данных, принятых в каждом государстве. По отдельным континентам и миру в целом они несравненно точнее рисуют картину урбанизации.

В условиях научно-технической революции урбанизированность общества неуклонно растет. В начале века в городах жило немногим более 10% всего населения мира, в 1920 г. — 19, 1940 г. — 25, 1950 г. — 29, 1960 г. — 33, в 1970 г. — 37, в 1975 г. — 40%¹⁴. В среднем ежегодно доля городского населения увеличивается почти на полпроцента. Предполага-

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 20.

¹³ Конурбация — группа близко расположенных, тесно связанных между собой городов, имеющих тенденцию срастаться и превращаться в сплошную урбанизированную территорию.

¹⁴ Удельный вес городского населения здесь и дальше определяется на основе национальных критериев, принятых в отдельных странах для исчисления городского населения.

Рост численности и доли городского населения

Регионы	1940 г.		1950 г.		1960 г.		1970 г.	
	млн. чел.	%	млн. чел.	%	млн. чел.	%	млн. чел.	%
СССР	60	31	73	41	105	49	136	56
Зарубежная Европа	200	53	216	55	245	58	286	62
Зарубежная Азия	160	13	216	16	335	20	514	25
Африка	20	10	30	14	50	19	72	21
Северная Америка	85	58	108	65	140	70	171	75
Латинская Америка	40	31	65	40	105	49	147	52
Австралия и Океания	5	45	8	62	10	63	14	74
Мир в целом	570	25	716	29	990	33	1340	37

ется, что процент городских жителей к 2000 г. превысит половину всего населения Земли (по некоторым прогнозам численность городского и сельского населения сравняется к 1990 г.)¹⁵. Число горожан в мире возрастет к концу века более чем в два раза.

Население городов увеличилось за последние 25 лет с 716 до 1600 млн. чел. — более чем в 2,3 раза. За это время сельское население возросло с 1800 до 2400 млн. чел., или всего на одну треть. Во многих странах, в том числе и в СССР, численность сельского населения даже уменьшается.

Рост численности городских жителей (см. табл. 4) происходит за счет естественного прироста самого городского населения, перехода части сельского населения в города, возникновения новых городов, включения в городскую черту пригородных территорий и преобразования сельских населенных пунктов в городские. Роль миграций сельских жителей особенно велика на сравнительно ранних этапах урбанизации. Так, в СССР на долю миграции из сельской местности в 1927—1938 гг. приходилось 63% всего прироста городского населения, в 1939—1958 гг. — 62% и в 1959—1969 гг. — 46%, доля же естественного прироста была соответственно равна 18, 20 и 40%.

Естественно, что относительно более высокими темпами урбанизации отличаются развивающиеся страны, особенно Азии и Африки, где доля городского населения еще очень низка. В ряде развивающихся стран прилив сельского населения в города (особенно в крупные, в первую очередь в столицы) опережает потребности в рабочей силе, что увеличивает армию безработных и полубезработных.

Степень урбанизированности в Азии и Африке много меньше, чем на других континентах. В Латинской Америке, подавляющее большинство стран которой относится к числу развивающихся, городских жителей стало больше, нежели сельских. Однако внутри крупных регионов удельный вес городского населения колеблется в значительных пределах, о чем свидетельствует табл. 5, в которой приведены данные по отдельным странам, отличающимся высокой и низкой степенью урбанизированности.

О темпах роста и степени урбанизированности того или иного региона лучше всего можно судить по данным об изменении численности жителей в крупных городах и их доле в общем населении (см. табл. 6).

¹⁵ Широко распространенное в популярной литературе предположение, что к 2000 г. доля городского населения возрастет до двух третей или четырех пятых всего населения, не разделяется специалистами. Даже ускоренное развитие стран Азии и Африки вряд ли приведет к увеличению в этих регионах к концу века доли городского населения более чем до 40%, что при максимальной урбанизации в других районах (80—85%) даст в среднем по миру цифру в 51—53%.

Удельный вес городских жителей в населении

Страна	Процент	Год	Страна	Процент	Год
Европа			Африка		
Бельгия	87,1	1973	Алжир	50,4	1973
Швеция	81,4	1970	Южно-Африканская Респуб-		
Дания	79,9	1970	лика	47,9	1972
Великобритания	77,9	1972	АРЕ	43,2	1973
Нидерланды	77,4	1973	Тунис	40,1	1966
ГДР	74,3	1973	Марокко	36,8	1973
Франция	70,0	1968	Бурунди	2,2	1970
Албания	33,8	1971	Руанда	3,4	1971
ФРГ	38,4	1969	Уганда	7,1	1972
Югославия	38,6	1971	Танзания	7,3	1973
Румыния	41,6	1972	Эфиопия	11,0	1973
Италия	41,6	1972			
Азия			Америка		
Япония	72,1	1970	Канада	76,1	1971
Ирак	61,4	1973	Чили	76,0	1970
Сирия	43,5	1972	Венесуэла	75,7	1970
Иран	42,6	1973	США	73,5	1970
Турция	38,6	1973	Гаити	19,4	1971
Филиппины	31,7	1970	Гватемала	33,8	1973
Непал	4,0	1971	Эквадор	39,2	1972
Бангладеш	7,0	1972	Сальвадор	39,4	1971
Йеменская Арабская Респуб-			лика		
лика	10,0	1970	Доминиканская Респуб-		
ДРВ			лика	39,8	1970
Южный Вьетнам	13,0	1970			
Таиланд	13,2	1970	Австралия		
Афганистан	15,0	1973	и Океания		
КНР	15,0	1970	Австралия	85,6	1971
Бирма	15,8	1970	Новая Зеландия	81,4	1971
Индонезия	17,5	1973	Папуа Новая Гвинея	11,1	1971

В 1900 г. в мире насчитывалось примерно 360 городов с населением свыше 100 тыс. жителей, в 1950 г. — уже около 1000, а в начале 1970-х годов — 1850. В послевоенное время доля жителей крупных городов в общем населении увеличилась почти в два раза. В целом для этого времени характерен опережающий рост крупных городов. В 1950 г. в городах с населением свыше 100 тыс. жителей было сосредоточено 44% городского населения мира (в 1900 г. — только 15%), а в начале 1970-х годов — уже 58%¹⁶. Обращает, однако, на себя внимание замедление роста таких городов в последние 10 лет (в 1960 г. удельный вес их населения в составе всех городских жителей достигал 60%), особенно в Зарубежной Европе, где вообще доля городских жителей в населении почти не увеличивается. И это несмотря на быстрый рост городов в социалистических странах, а также в странах, расположенных на юге и юго-западе региона. Чем же все это можно объяснить?

Сравнение данных за последние несколько лет показывает, что доля городских жителей во всем населении в ряде высокоурбанизированных стран Европы начинает снижаться. Более того, уменьшается абсолютная численность населения крупных городов. Так, в ФРГ с 1970 по 1973 г. уменьшилось число жителей в 30 крупных городах (из 61), в Великобритании (с 1971 по 1972 г.) — в 38 (из 61), в Бельгии (с 1970 по 1971 г.) — в четырех (из девяти), в Швеции (с 1970 по 1972 г.) — в четырех (из десяти), в Швейцарии (с 1970 по 1972 г.) в пяти (из шести). По-види-

¹⁶ В СССР с 1959 по 1975 г. доля живущих в крупных городах горожан увеличилась с 48,6 до 57,6%.

Увеличение численности жителей крупных городов (100 тыс. чел. и более) и их доли в населении соответствующего региона

Регионы	1900 г.		1950 г.		1960 г.		Начало 1970-х годов	
	млн. чел.	%	млн. чел.	%	млн. чел.	%	млн. чел.	%
СССР	5	4	35	19	49	23	89*	35
Зарубежная Европа	43	14	83	21	140	33	146	32
Зарубежная Азия	19	2	106	8	204	12	287	14
Африка	1	1	10	5	20	7	48	13
Америка	19	13	75	23	170	41	249	47
Австралия и Океания	1	17	5	38	7	44	9	48
Мир в целом	88	5	314	13	590	20	828	22

* СССР — на 1 января 1975 г.

Таблица 7

Доля жителей городов с числом жителей свыше 1 млн. во всем населении и в городском населении

Регионы	Начало 1960-х годов				Начало 1970-х годов*			
	Количество городов	Численность жителей в млн. чел.	%		Количество городов	Численность жителей в млн. чел.	%	
			во всем населении	в городском населении			во всем населении	в городском населении
СССР	3	11	5,1	10,5	13	26	10,4	17,1
Зарубежная Европа	26	54	12,7	22,0	34	75	16,1	26,2
Зарубежная Азия	42	93	5,7	27,8	64	170	8,2	32,8
Африка	3	6	2,2	12,0	9	17	3,8	25,1
Северная Америка	16	53	26,6	37,9	36	87	38,1	50,9
Латинская Америка	10	27	12,7	25,7	18	56	19,7	38,0
Австралия и Океания	2	3	18,8	30,0	2	5	28,4	38,6
Мир в целом	102	247	8,3	24,9	176	436	11,6	32,5

* СССР — на 1 января 1975 г.

тому, мы имеем здесь дело с совершенно новым явлением, до сих пор не наблюдавшимся в масштабах целых стран. Объяснить это можно несколькими причинами. Все высокоурбанизированные страны отличаются весьма низким естественным приростом населения. Еще ниже этот прирост в городах: в некоторых из них, особенно крупных, он является отрицательным (т. е. смертность там превышает рождаемость). Кроме того, широкое распространение автотранспорта дает возможность работающим в городах жить в сельской местности. Такое расселение стимулируется также и загрязненностью среды, которая побуждает многих жителей переселяться из городов. Можно предполагать, что эти тенденции коснутся в ближайшем будущем и других стран с высокой долей городского населения.

В составе крупных городов быстрее всего растут города-«миллионеры», увеличивается доля их жителей во всем населении и в городском населении. В 1900 г. было всего 10 таких городов (вместе с пригородами), в 1955 г. — 61, в начале 1960 г. — 102 и в начале 1970 г. — 176 (см. табл. 7 и приложение).

Анализ демографических процессов в послевоенном мире свидетельствует о больших сдвигах в структуре населения Земли, происшедших в последние десятилетия. Ускоренное социально-экономическое развитие, индустриализация многих ранее отсталых стран, связанная с последней быстрая урбанизация, вместе с резко снизившейся смертностью населения (и в особенности детской) изменили соотношение различных демографических параметров, увеличили различия между промышленно развитыми и развивающимися странами в характере воспроизводства населения, а также в его размещении и структуре. В целом же по миру в последние десятилетия происходит постепенное снижение рождаемости и несколько более быстрое уменьшение смертности, что приводит к увеличению темпов естественного прироста, повышению удельного веса в населении детей и пожилых людей (за счет лиц производительных возрастов), некоторому возрастанию доли женщин (в связи с увеличивающимся разрывом в продолжительности жизни мужчин и женщин), быстрому росту численности городского населения. Однако все подобные тенденции по-разному проявляют себя в социалистических и несоциалистических странах (в последних же значительные различия наблюдаются между развитыми и развивающимися странами). В странах социализма в условиях плановой экономики возможные отрицательные последствия этих тенденций сведены к минимуму. В других же государствах отмеченные закономерности демографического развития нередко вызывают трудноразрешимые проблемы.

Города с числом жителей более 1 млн. (в тыс. чел., с пригородами)

Город	Число жителей в тыс.	Год переписи или исчисления	Город	Число жителей в тыс.	Год переписи или исчисления
СССР			Чехословакия		
Москва	7 635	1.1.1975	Прага	1 152*	1974
Ленинград	4 311	»	Швеция		
Киев	1 947*	»	Стокгольм	1 352	1972
Ташкент	1 595*	»	Югославия		
Баку	1 383	»	Белград	1 209	1971
Харьков	1 357*	»	ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ		
Горький	1 283*	»	Бангладеш		
Новосибирск	1 265*	»	Дакка	1 311*	1974
Куйбышев	1 164*	»	Бирма		
Свердловск	1 147*	»	Рангун	1 927*	1971
Минск	1 147	»	Южный Вьетнам		
Тбилиси	1 006*	»	Сайгон	1 825*	1973
Одесса	1 002*	»	ДРВ		
ЗАРУБЕЖНАЯ			Ханой	1 300	»
ЕВРОПА			Индия		
Австрия			Калькутта	7 031	1971
Вена	1 615*	1973	Бомбей	5 971	»
Бельгия			Дели	4 044	»
Брюссель	1 073	1973	Мадрас	3 170	»
Болгария			Хайдарабад	1 796	»
София	1 055	1975	Ахмадабад	1 742	»
Великобритания			Бенгалуру	1 654	»
Лондон	7 341	1972	Канпур	1 275	»
Манчестер	2 388	1971	Пуна	1 135	»
Бирмингем	2 372	»	Индонезия		
Глазго	1 728	»	Джакарта	4 915*	1973
Лидс	1 728	»	Сурабая	1 556*	1971
Ливерпуль	1 262	»	Бандунг	1 202	»
Венгрия			Ирак		
Будапешт	2 049*	1973	Багдад	2 000	1972
ГДР			Иран		
Берлин	1 090*	»	Тегеран	3 858	»
Греция			Китай		
Афины	2 530	1971	Шанхай	10 820	1970
Дания			Пекин	7 570	1971
Копенгаген	1 380	1973	Тяньцзинь	4 280	1970
Зап. Берлин	2 159*	»	Ухань	4 250	»
Испания			Далень	4 000	»
Мадрид	3 500	1973	Шэньян	3 750	»
Барселона	1 745	1970	Чунцин	3 500	»
Италия			Харбин	2 750	»
Милан	4 000	1974	Гуанчжоу	2 300	»
Рим	3 600	»	Нанкин	2 000	»
Неаполь	2 800	»	Чэнду	2 000	»
Турин	2 300	»	Сиань	1 900	»
Нидерланды			Циндао	1 900	»
Роттердам	1 055	1973	Тайбей	1 712	»
Амстердам	1 019	»	Фушунь	1 700	»
Польша			Ланьчжоу	1 450	»
Варшава	1 388*	»	Чанчунь	1 200	»
Португалия			Куньмин	1 100*	»
Лиссабон	1 612	1970	Цзинань	1 100	»
Порто	1 315	»	Аньшань	1 050*	»
Румыния			Чжэнчжоу	1 050*	»
Бухарест	1 618*	1972	Тайюань	1 020*	»
ФРГ			КНДР		
Гамбург	1 766*	1973	Пхеньян	1 364	1963
Мюнхен	1 339*	»	Южная Корея		
Франция			Сеул	5 536*	1970
Париж	10 000	1972	Пусан	1 880*	»
Лион	1 300	1970	Тэгу	1 083*	»
Марсель	1 006	»			

Город	Число жителей в тыс.	Год переписи или исчисления	Город	Число жителей в тыс.	Год переписи или исчисления
Камбоджа			Вашингтон	2 861	1970
Пномпень	1 200	1973	Бостон	2 754	»
Пакистан			Питтсбург	2 401	»
Карачи	3 469*	1972	Сент-Луис	2 363	»
Лахор	2 148	»	Балтимор	2 071	»
Лаялпур	1 016	»	Кливленд	2 064	»
Ливан			Хьюстон	1 985	»
Бейрут	1 290	1972	Ньюарк	1 856	»
Малайзия			Миннеаполис	1 814	»
Куала-Лумпур	1 000	1972	Даллас	1 556	»
Сингапур			Сиэтл	1 422	»
Сингапур	2 075*	1970	Анахайм	1 420	»
Саянган (Гонконг)			Милуоки	1 404	»
Цзюлун	1 475*	1961	Атланта	1 398	»
Таиланд			Цинциннати	1 385	»
Бангкок	3 659	1972	Патерсон	1 369	»
Турция			Сан-Диего	1 358	»
Стамбул	3 135	1973	Буффало	1 349	»
Анкара	1 554	»	Майами	1 268	»
Филиппины			Канзас-Сити	1 254	»
Манила	4 904	1975	Денвер	1 228	»
Япония			Сан-Бернардино	1 143	»
Токио	11 600	»	Индианаполис	1 110	»
Осака	2 889*	1972	Сан-Хозе	1 065	»
Йокогама	2 333*	»	Новый Орлеан	1 046	»
Нагоя	2 065*	»	Тампа	1 013	»
Киото	1 431*	»	Портленд	1 009	»
Кобе	1 325*	»			
Китаюсю	1 046*	»	ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА		
Саппоро	1 079*	»	Аргентина		
АФРИКА			Буэнос-Айрес	9 070	1973
Алжир			Бразилия		
Алжир	1 200	1973	Сан-Паулу	6 900	1970
Арабская Республика Египет			Рио-де-Жанейро	5 100	»
Каир	5 600	1974	Белу-Оризонти	1 255	1971
Александрия	2 300	»	Ресифи	1 200	»
Заир			Порту-Алегри	1 050	»
Киншаса	1 623	1972	Салвадор	1 027	»
Марокко			Венесуэла		
Касабланка	1 561*	1971	Каракас	2 535	1974
Нигерия			Колумбия		
Лагос	1 474*	1971	Богота	3 000	1974
Эфиопия			Медельин	1 208	1972
Аддис-Абеба	1 012	1973	Кали	1 022	»
ЮАР			Куба		
Йоханнесбург	1 433	1970	Гавана	1 755	1970
Кейптаун	1 097	»	Мексика		
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА			Мехико	10 223	1973
Канада			Гвадалахара	1 756	»
Монреаль	2 720	1971	Монтеррей	1 460	»
Торонто	2 610	»	Перу		
Ванкувер	1 071	»	Лима	3 158	1972
США			Уругвай		
Нью-Йорк	11 572	1970	Монтевидео	1 459	1974
Лос-Анджелес	7 032	»	Чили		
Чикаго	6 979	»	Сантьяго	2 662	1970
Филадельфия	4 818	»	АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ		
Детройт	4 200	»	Австралия		
Сан-Франциско	3 110	»	Сидней	2 854	1973
			Мельбурн	2 544	»

* Звездочка обозначает число жителей в городе без пригородов.

THE ETHNODEMOGRAPHIC SITUATION IN THE MODERN WORLD

(AGE AND SEX COMPOSITION OF THE POPULATION,
MIGRATIONS, URBANIZATION)

The present is the second in a series of articles being published in the «Sovetskaya Etnografia» on the subject of ethnodemographic processes in the post-war world. The first article was published in the previous issue; it was devoted to population growth and reproduction. The present instalment deals with the age and sex composition of the population, migrations, and urbanisation. A subsequent issue will include an article describing changes in the ethnic, racial and religious composition of the population.

Analysis of demographic processes in the post-war world reveals great changes in the structure of the world's population that have occurred in recent decades. Accelerating social-economic development, the industrialization of many formerly backward countries accompanied by rapid urbanization, together with the sharp decline in death rates (especially in infant mortality) have altered the interrelation between various demographic parameters and resulted in a wider gap between industrially developed and developing countries in reproduction characteristics, as well as in the geographical distribution and structure of the population. For the world as a whole recent decades show gradually declining birth rates and somewhat more rapidly falling death rates resulting in a rising natural increase, in a higher proportion of children and old people (at the expense of persons in the productive age), a certain increase in the proportion of females (due to the growing gap between the life span of men and of women), in a rapidly growing number of urban dwellers. However, all such trends are manifested in a different way in socialist and in non-socialist countries; among the latter wide differences may be observed between developed and developing countries. Under the conditions of planned economy in socialist countries the potentially adverse consequences of these trends are reduced to a minimum, while in other states the above features of demographic development frequently pose problems that are difficult of solution.

Б. М. Эккель

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА МОЗАИЧНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА РЕСПУБЛИК, КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ СССР

Важным фактором, оказывающим воздействие на интенсивность межнациональных контактов, является количественное соотношение и территориальное размещение взаимодействующих национальных групп. Полагая, что внутри достаточно мелких территориальных ячеек существуют постоянные «беспорядочные» перемещения, «диффузия» (интенсивные перемещения населения, обмен информацией, совместная работа и отдых различных групп населения, всевозможные непосредственные личные контакты и т. д.), можно условно считать эти первичные территориальные ячейки структурно-однородными по национальному составу населения. Поскольку представители различных национальных групп внутри первичных территориальных ячеек вступают между собой в повседневные контакты, мы можем не учитывать особенности размещения этих национальных групп (например, национальные улицы, кварталы, даже небольшие национальные поселения). Можно предположить, что любая часть ячейки будет характеризоваться таким же соотношением народов, как и вся ячейка в целом, и что в любой части этой ячейки межэтнические контакты имеют одинаковую интенсивность.

Для урбанизированных территорий в качестве такой первичной территориальной ячейки интенсивных контактов можно условно принять отдельное городское поселение с пригородами, привязанными к нему маятниковыми поездками; для сельской местности, очевидно, — отдельные хозяйства (колхозы или совхозы).

Анализируя этнические процессы в элементарной территориальной ячейке интенсивных контактов, мы можем временно не рассматривать особенности территориального размещения народов и сосредоточить внимание на их количественных соотношениях. Иногда можно не рассматривать особенности территориального размещения народов и для более крупных территориальных ячеек (район, область), поскольку наиболее интенсивные «внутрирайонные и внутриобластные миграции населения со временем приводят к устранению особенностей отдельных локальных групп населения»¹.

Для оценки количественного соотношения различных национальностей в населении района или населенного пункта, для измерения уровня его многонациональности используются индексы мозаичности национального состава населения, вопрос о которых был поставлен В. В. Покшишевским. Впервые они были формально определены в работе Л. Ф. Моногаровой².

¹ И. С. Гурвич. Некоторые проблемы этнического развития народов СССР, «Сов. этнография», 1967, № 5.

² В. В. Покшишевский, Этнические процессы в городах СССР и некоторые проблемы их изучения, «Сов. этнография», 1969, № 5; Л. Ф. Моногарова, Комплексная типология городов Таджикской ССР в свете проблем этнической мозаичности их населения, «Сов. этнография», 1972, № 6.

Мы предлагаем иной, по сравнению с принятым Л. Ф. Моногаровой, подход к определению индекса национального состава населения. Наш подход связан с попыткой определить этническую пестроту населения через теоретическую вероятность интенсивности межнациональных контактов, которая имела бы место, если бы контакты обуславливались лишь процентным соотношением национальных групп в данном районе независимо от других факторов.

В самом деле, индекс мозаичности национального состава города или какой-либо территориальной единицы будет тем выше, чем больше в нем будет представлено групп национальностей, чем меньше будут эти группы и чем более равномерно по численности они распределены. Теоретическая вероятность вступления национальностей в межнациональные контакты также будет тем выше, чем больше имеется групп национальностей и чем они численно меньше³. Таким образом получаем прямую взаимосвязь между мозаичностью национального состава и теоретической вероятностью вступления национальностей в межнациональные контакты.

Исходя из сказанного выше, мы предлагаем следующий индекс мозаичности:

$$P_j = \sum_{i=1}^m \pi_i (1 - \pi_i),$$

где — P_j — индекс мозаичности национального состава j -го района; m — число национальностей в j -м районе; π_i — доля (частота) i -й национальности во всем населении j -го района; $\pi_i(1-\pi_i)$ — теоретическая вероятность вступления в межэтнические контакты i -ой национальности в j -м районе (все возможные контакты в j -м районе принимаем за 1).

Формулу индекса мозаичности национального состава можно несколько упростить:

$$P_j = \sum_{i=1}^m \pi_i (1 - \pi_i) = \sum_{i=1}^m \pi_i - \sum_{i=1}^m (\pi_i)^2$$

$$P_j = 1 - \sum_{i=1}^m (\pi_i)^2.$$

Чем больше P_j , тем выше мозаичность, тем больше теоретическая вероятность распространения межэтнических контактов.

Рассмотрим полученный индекс мозаичности на конкретном примере двух городов с соотношениями трех проживающих в них народов, соответственно 50 : 30 : 20 и 40 : 35 : 25⁴. Для первого города индекс мозаичности определится как

$$P_1 = 1 - [(0,5)^2 + (0,3)^2 + (0,2)^2] = 0,620.$$

Для второго города индекс мозаичности находится как

$$P_2 = 1 - [(0,4)^2 + (0,35)^2 + (0,25)^2] = 0,655.$$

³ См. О. А. Ганцкая, Г. Ф. Дебец, О графическом изображении результатов статистического обследования межнациональных браков, «Сов. этнография», 1966, № 3. Авторы определяют теоретическую вероятность межнациональных контактов как произведение частот вступивших в браки мужчин и женщин различных национальностей. В нашей работе для получения теоретической вероятности межэтнических контактов мы учитываем общую численность различных национальностей данного района. Но техника расчетов у нас такая же, она основывается на положении, что теоретическая вероятность сочетания двух независимых явлений равна произведению частот каждого явления в отдельности.

⁴ Пример взят из работы В. В. Покшишевского. См. В. В. Покшишевский. Указ. раб., стр. 15.

Следовательно, второй город обладает более пестрой структурой национального состава, нежели первый.

Важным преимуществом нашего индекса мозаичности является его однозначность. Каждый район или населенный пункт имеет конкретное значение индекса мозаичности вне зависимости от блока районов или населенных пунктов, в которых он рассматривается. С помощью этого индекса можно сравнивать мозаичность национального состава различных районов и городов СССР, а также различных стран. Обычной трудностью при таком сравнении, как правило, бывает сопоставимость ячеек информации, по которым производится расчет, например Московской области и Красноярского края. Индекс мозаичности, рассчитанный по дробной статистике кантонов Швейцарии, конечно же, трудно сопоставить с индексами мозаичности, рассчитанными для статистически малоизученных государств Центральной Африки.

Наш индекс мозаичности очень удобен для сопоставления изменений уровня многонациональности множества районов или населенных пунктов в течение определенного периода. С его помощью мы можем точно оценить, в каком из ряда районов или населенных пунктов в большей степени увеличилась или уменьшилась пестрота национально-го состава и дать количественную характеристику этим изменениям.

Предложенный нами индекс мозаичности учитывает все национальности, проживающие в данном районе, но практически на его величину оказывают влияние лишь достаточно крупные по численности национальности. Так, национальность, доля которой в населении района составляет менее 0,1%, если ее не учитывать при расчетах, может повысить значение индекса мозаичности менее чем на 0,0001, что, как правило, несущественно. Это позволяет нам использовать широкодоступные источники информации о структуре национального состава отдельных районов. На основании переписей населения СССР 1959 и 1970 гг. нами была рассчитана мозаичность национального состава населения республик, краев и областей СССР за 1959 и 1970 гг., а также прирост значений индекса мозаичности в 1959—1970 гг. (см. Приложение).

При вычислении индекса мозаичности мы стремились подразделить СССР на возможно более дробные территориально-административные единицы. Он рассчитывался для автономных республик, краев (за вычетом автономных образований), областей, автономных областей, национальных округов. Для союзных республик Прибалтики, а также Армянской ССР индекс мозаичности определялся для всей республики, без более дробных подразделений. Для республик Закавказья (без Армянской ССР) и республик Средней Азии индекс мозаичности рассчитывался отдельно для автономных образований, областей, районов республиканского подчинения. Для ряда городов (Москва, Ленинград и столицы союзных республик) индекс мозаичности вычислялся отдельно. В связи с изменениями территориально-административного деления СССР в период между переписями 1959 и 1970 гг. нам пришлось при определении прироста значений индекса мозаичности в ряде случаев⁵ рассчитывать его для «блока» областей.

Наиболее однородный национальный состав в настоящее время в областях Центра Европейской части СССР и в ряде областей Правобережной Украины. Однородным национальным составом на фоне разнонациональных районов выделяются Нахичеванская АССР (азербайджанцы), Нарынская (киргизы) и Хорезмская области (узбеки).

На восток от Урала широкой полосой в направлении транссибирской железной дороги простираются территории, в заселении которых помимо русских активное участие принимали украинцы, белорусы,

⁵ Это связано с образованием ряда новых областей в Казахстане и Средней Азии.

немцы и народы Поволжья. Поэтому мозаичность национального состава этих районов в два-три раза выше, чем в Центре Европейской части СССР. В настоящее время для большинства из них характерны процессы ассимиляции мелких этнических групп, за счет чего происходит интенсивное уменьшение индекса мозаичности.

Для районов Дальнего Востока характерна несколько бóльшая мозаичность, чем для наиболее освоенных районов Сибири. Это объясняется тем, что в первой волне переселенцев на Дальний Восток (в начале XX в.) было до 50% украинцев из Левобережной Украины, а также тем обстоятельством, что в настоящее время среди переселенцев представлены почти все народы СССР. Необходимо отметить, что в районах Дальнего Востока мозаичность населения по национальному составу быстро уменьшается, с одной стороны, за счет ассимиляции украинцев и других этнических групп, с другой стороны — из-за интенсивного притока русских в те районы, где они прежде были относительно слабо представлены (Чукотский и Корякский национальные округа). В РСФСР максимальными значениями индекса мозаичности выделяются автономные республики и национальные округа (Дагестанская АССР и другие автономные республики Северного Кавказа, Башкирская и Коми АССР, Ямало-Ненецкий национальный округ). За 1959—1970 гг. мозаичность почти всех автономных республик и округов РСФСР возросла в основном за счет увеличения доли коренной национальности. Наиболее интенсивно этот процесс происходил в Чечено-Ингушской и Калмыцкой АССР, а также в Ненецком национальном округе (здесь отмечен значительный отток «пришлого» населения) и Горно-Алтайской автономной области (также отток инонационального населения при повышенном естественном приросте коренной национальности). Для ряда автономных образований Севера и Северо-Востока РСФСР (Карельской, Коми, Удмуртской АССР; Коми-Пермяцкого, Ямало-Ненецкого и Долгано-Ненецкого национальных округов) характерно уменьшение мозаичности национального состава. Для Карельской и Удмуртской АССР это связано с интенсивной ассимиляцией коренных национальностей русскими, а также увеличивающейся миграционной подвижностью удмуртов; остальные районы относительно слабо заселены, и их дальнейшее хозяйственное освоение приводит к увеличению доли русских и уменьшению значений индекса мозаичности.

Народы Поволжья, помимо своих автономных образований, хорошо представлены в областях Волго-Вятки, Урала, Юго-Западной Сибири, в меньшей мере в восточных областях Центрального района. Обладая, как правило, более высоким естественным приростом, чем русские, народы Поволжья оказывают существенное воздействие на возрастание мозаичности национального состава этих районов.

Увеличилась мозаичность национального состава Тюменской области (без национальных округов), являющейся одним из наиболее мощных в СССР центров притяжения мигрантов. В то же время в Ханты-Мансийском национальном округе, где организованы крупнейшие нефтегазразработки, за счет миграции преимущественно русских и резкого сокращения в связи с этим доли коренных национальностей, значительно уменьшилось значение индекса мозаичности.

Для РСФСР характерны две внешне довольно необычные тенденции. В районах в высшей степени однонациональных (области Центральной Европейской части РСФСР с индексом мозаичности 0,00—0,20) за 1959—1970 гг. увеличилась мозаичность национального состава. С другой стороны, в районах, где индекс мозаичности несколько ниже среднего (области Сибири и Юга Дальнего Востока с индексом мозаичности 0,20—0,40), как правило, его значения уменьшились. Это явление в основном связано с соотношением процессов миграционного притока инонационального населения и ассимиляции мелких этнических групп.

Группы русских расселены в пределах национально-административных образований других народов, составляя во многих из них основную часть населения. Этот факт имеет важное значение для понимания причин высокой мозаичности ряда территорий и ее изменений во времени. Так, большие значения индекса мозаичности отмечаются для Латвийской и Эстонской ССР, областей Донецко-Приднепровского района УССР, Крымской области УССР, т. е. для тех районов, где доля русских в населении велика и продолжает увеличиваться (кроме Крыма). В 1959—1970 гг. мозаичность населения интенсивно росла в Эстонской и Латвийской ССР, Могилевской и Гомельской областях БССР, областях Донецко-Приднепровского района УССР, исключая собственно Донбасс, и в Крымской, Херсонской и Николаевской областях УССР. В Украинской ССР максимальными размерами прироста значений индекса мозаичности выделяются Днепропетровская и Полтавская области.

В то же время для областей Западной Украины, Западной Белоруссии, Литовской ССР высокая степень мозаичности национального состава в основном объясняется присутствием этнических групп поляков, венгров, румын, словаков и болгар. Особенно пестрый национальный состав в Гродненской области БССР, Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях УССР. Максимальные значения индексов мозаичности для западных районов СССР отмечаются для Одесской области. Здесь наблюдается ассимиляция этнических меньшинств и снижение мозаичности территории.

Для большинства районов Закавказья характерна сравнительно небольшая мозаичность национального состава, так как несмотря на наличие здесь множества мелких этнических групп, они, как правило, очень незначительны по численности. Наибольшей мозаичностью выделяется Абхазская АССР, в которую вследствие развития чайных и цитрусовых плантаций, а также создания сети курортов начался значительный приток русских и грузин. Довольно высока степень мозаичности в остальных районах Грузинской ССР, а также в Баку. В 1959—1970 гг. республики Закавказья стали значительно более однонациональными, особенно Азербайджанская ССР. Это связано в основном с более высоким естественным приростом коренного населения по сравнению с другими народами, особенно в сравнении с русскими.

Необходимо отметить увеличение доли азербайджанцев в населении почти всех районов Закавказья. За счет этого повысилась мозаичность Нагорно-Карабахской автономной области.

Среди союзных республик СССР наиболее высок индекс мозаичности в Казахской ССР. Здесь проживает свыше 100 национальностей, причем ни одна из них не имеет в республике абсолютного большинства. Кроме казахов и русских, составляющих соответственно 32,4 и 42,8%, в Казахской ССР живут значительные группы украинцев, немцев, поляков, узбеков, уйгуров и т. д. Особенно высокой мозаичностью национального состава выделяются Северный Казахстан (районы преимущественно нового сельскохозяйственного освоения) и Южный Казахстан (Чимкентская, Джамбульская и Алма-Атинская области). Как правило, мозаичность национального состава областей Казахской ССР снижается, но если в Карагандинской и Павлодарской областях это происходит в основном за счет дальнейшего увеличения доли русских во всем населении, то в большинстве других областей — из-за увеличения доли казахов. Значительно повысилась мозаичность в Гурьевской области (на +0,10). Доля русских здесь в связи с разработкой мангышлакской нефти возросла с 20,8 до 27,2% при сокращении доли казахов с 72,3 до 62%⁶.

⁶ Во время проведения переписи 1970 г. из Гурьевской области еще не была выделена новая Мангышлакская область.

Показатели этнической структуры столиц союзных республик СССР

Города и годы переписи	Доля, %		Значения индексов этнической мозаичности	Прирост значений индекса мозаичности в 1959—1970 гг.
	коренного народа	русских		
Душайбе 1959	18,9	47,6	0,72	+0,02
1970	26,3	42,0	0,74	
Кишинев 1959	32,4	32,4	0,74	—0,01
1970	37,9	30,2	0,73	
Вильнюс 1959	33,5	29,2	0,75	—0,04
1970	42,7	24,5	0,72	
Ташкент 1959	33,8	44,0	0,68	+0,00
1970	37,0	40,8	0,69	
Баку 1959	36,7	34,7	0,74	—0,06
1970	46,3	27,7	0,68	
Ашхабад 1959	29,4	50,0	0,66	+0,01
1970	38,3	42,6	0,67	
Рига 1959	44,6	39,3	0,64	+0,00
1970	40,8	42,8	0,65	
Тбилиси 1959	48,4	18,2	0,68	—0,06
1970	57,6	13,9	0,62	
Таллин 1959	60,0	31,9	0,54	+0,03
1970	55,1	35,1	0,57	
Фрунзе 1959	9,1	68,6	0,51	+0,03
1970	12,3	66,1	0,54	
Киев 1959	60,0	23,0	0,57	—0,05
1970	64,8	22,9	0,52	
Минск 1959	63,9	22,8	0,53	—0,02
1970	65,5	23,3	0,51	
Алма-Ата 1959	8,5	73,0	0,46	+0,03
1970	12,1	70,3	0,49	
Москва 1959	—	89,5	0,20	+0,01
1970	—	89,2	0,20	
Ереван 1959	93,1	4,3	0,13	—0,04
1970	95,2	2,8	0,09	

* В таблице, как в «Приложении» прирост значений индекса этнической мозаичности за счет округления может несколько отличаться от арифметической разницы исходных индексов этнической мозаичности за 1959 и 1970 гг.

Очень высокой степенью мозаичности отличаются республики Средней Азии, особенно их равнинные, сельскохозяйственные районы, где отмечается значительное смешение узбеков с туркменами и таджиками, киргизов с казахами и т. п.

Необходимо отметить, что во всех республиках Средней Азии наблюдается рост доли коренных национальностей, за счет чего повсеместно уменьшаются значения индексов мозаичности. Наиболее интенсивно этот процесс происходил в Туркмении, Ошской области Киргизии и в ряде областей Ферганской долины Узбекской ССР. Намного возросла мозаичность Бухарской области Узбекской ССР (на +0,06), что вызвано увеличением здесь русского населения в связи с разработкой природного газа.

Количество областей, в которых мозаичность национального состава уменьшилась, превышает количество областей, где она повысилась. Причем если последним свойственно, как правило, лишь небольшое увеличение мозаичности, то в первых большей частью резко увеличилась этнонациональность населения.

Полученная нами картина мозаичности территории СССР по национальному составу и ее изменения в 1959—1970 гг. хорошо согласуется и закономерно вытекает из общего хода этнодемографических и миграционных процессов, из общего направления развития современных процессов этнического сближения наций в СССР.

Особо необходимо остановиться на уровне мозаичности национального состава столиц союзных республик СССР. Факторы и тенденции, оказывающие воздействие на формирование населения в крупных городах, подробно осветил в своей работе В. В. Покшишевский⁷. Мы же хотим подробнее остановиться конкретно на значениях индекса мозаичности (см. таблицу). Самым пестрым национальным составом среди столиц союзных республик выделяется город Душанбе. За период 1959—1970 гг. Душанбе опередил по степени мозаичности национального состава Вильнюс, Кишинев и Баку. Самыми однонациональными столицами были и остаются Ереван и Москва. Рост уровня многонациональности особенно характерен для столиц Средней Азии и для столицы Казахстана. Здесь русское население превышает по численности коренную национальность. Увеличение доли коренных народов в общей численности населения этих городов в период между переписями ведет к росту значений индекса мозаичности. Если для Ташкента индекс мозаичности в 1959—1970 гг. почти стабилизировался, а в дальнейшем в связи с ростом доли населения коренной национальности, вероятно, будет уменьшаться, то для Алма-Аты, Фрунзе и Душанбе ожидается его значительный рост.

Группа очень отличающихся друг от друга столиц (Баку, Тбилиси, Киев, Ереван, Вильнюс, Минск и Кишинев) стала значительно однонациональней. Это произошло за счет увеличения в 1959—1970 гг. доли преобладающего здесь в общей численности населения коренной национальности.

Две столицы — Рига и Таллин — увеличили свою мозаичность за счет роста в них доли русского населения. Если доля русских в населении Риги будет и дальше увеличиваться, то в столице Латвийской ССР будет уменьшаться мозаичность национального состава.

Мы надеемся, что предложенный нами индекс мозаичности национального состава сможет найти применение в этнографических работах для измерения интенсивности протекания этнических процессов. Возможно, индекс мозаичности совместно с рядом других показателей можно будет использовать для количественного определения различных типов этнических процессов.

⁷ В. В. Покшишевский, Указ. раб., стр. 4.

Мозаичность национального состава населения СССР *

Административно-территориальные единицы	P_{j1970}	$\Delta P_j = \frac{P_{j1970} - P_{j1959}}{P_{j1959}}$	Административно-территориальные единицы	P_{j1970}	$\Delta P_j = \frac{P_{j1970} - P_{j1959}}{P_{j1959}}$
РСФСР					
Алтайский край (без автономной обл.)	0,206	-0,04	Курганская обл.	0,158	+0,01
Горно-Алтайская автономная обл.	0,490	+0,04	Курская обл.	0,038	+0,01
Краснодарский край (без автономной обл.)	0,191	+0,02	Ленинград	0,205	-0,01
Адыгейская автономная область	0,439	-0,01	Ленинградская обл. (без Ленинграда)	0,160	+0,01
Красноярский край (без национальных округов и автономной обл.)	0,217	-0,04	Липецкая обл.	0,036	-0,00
Хакасская автономная обл.	0,371	-0,03	Магаданская обл. (без национального округа)	0,376	-0,06
Таймырский (Долгано-Ненецкий национальный округ)	0,549	-0,01	Чукотский национальный округ	0,483	-0,10
Эвенкийский национальный округ	0,562	+0,01	Москва	0,202	+0,01
Приморский край	0,260	-0,06	Московская обл. (без Москвы)	0,116	-0,00
Ставропольский край (без автономной обл.)	0,174	+0,01	Мурманская обл.	0,280	-0,01
Карачаево-Черкесская автономная обл.	0,685	+0,02	Новгородская обл.	0,061	-0,00
Хабаровский край (без автономной обл.)	0,261	-0,05	Новосибирская обл.	0,165	+0,00
Еврейская автономная обл.	0,291	-0,08	Омская обл.	0,351	-0,04
Амурская обл.	0,171	-0,05	Оренбургская обл.	0,471	-0,01
Архангельская обл. (без национального округа)	0,135	-0,01	Орловская обл.	0,032	+0,00
Ненецкий национальный округ	0,548	+0,05	Пензенская обл.	0,251	+0,01
Астраханская обл.	0,411	+0,03	Пермская обл. (без национального округа)	0,258	-0,02
Белгородская область	0,096	-0,03	Коми-Пермяцкий национальный округ	0,529	-0,02
Брянская обл.	0,059	+0,00	Псковская обл.	0,067	+0,01
Владимирская обл.	0,059	+0,02	Ростовская обл.	0,166	+0,00
Волгоградская обл.	0,178	+0,02	Рязанская обл.	0,041	+0,01
Вологодская обл.	0,049	-0,02	Саратовская обл.	0,228	+0,00
Воронежская обл.	0,128	-0,03	Сахалинская обл.	0,346	-0,05
Горьковская обл.	0,108	+0,00	Свердловская обл.	0,209	-0,01
Ивановская обл.	0,065	+0,03	Смоленская обл.	0,065	+0,01
Иркутская обл. (без национального округа)	0,202	-0,05	Тамбовская обл.	0,032	+0,01
Усть-Бурятский национальный округ	0,543	-0,02	Томская обл.	0,200	-0,06
Калининградская обл.	0,393	+0,01	Тульская обл.	0,084	-0,01
Калужская обл.	0,087	+0,02	Тюменская обл. (без национальных округов)	0,275	+0,02
Камчатская обл. (без национального округа)	0,269	-0,04	Ханты-Мансийский национальный округ	0,398	-0,05
Корякский национальный округ	0,542	-0,05	Ямало-Ненецкий национальный округ	0,706	-0,03
Кемеровская обл.	0,206	-0,06	Ульяновская обл.	0,405	+0,02
Кировская обл.	0,170	+0,01	Челябинская обл.	0,341	-0,02
Костромская обл.	0,065	+0,02	Башкирская АССР	0,718	+0,00
Куйбышевская обл.	0,309	-0,02	Бурятская АССР	0,411	+0,01
Китинская обл. (без национального округа)	0,145	+0,01	Дагестанская АССР	0,864	+0,00
Агинский Бурятский национальный округ	0,557	+0,02	Кабардино-Балкарская АССР	0,651	+0,01
Ирoslavская обл.	0,047	-0,00	Калмыцкая АССР	0,619	+0,06
			Карельская АССР	0,510	-0,06
			Коми АССР	0,628	-0,03
			Марийская АССР	0,568	+0,00
			Мордовская АССР	0,526	+0,00
			Северо-Осетинская АССР	0,628	+0,02
			Татарская АССР	0,577	-0,01
			Тувинская АССР	0,514	-0,00
			Удмуртская АССР	0,554	+0,01
			Чечено-Ингушская АССР	0,740	+0,10
			Чувашская АССР	0,451	+0,00
			Якутская АССР	0,589	+0,00

Административно-территориальные единицы	P_{j1970}	$\Delta P_j = \frac{P_{j1970}}{P_{j1959}} - 1$	Административно-территориальные единицы	P_{j1970}	$\Delta P = \frac{P_{j1970}}{P_{j1959}} - 1$
<i>Украинская ССР</i>			Восточно-Казахстанская обл.		
Винницкая обл.	0,151	-0,00	Гурьевская обл.	0,462	+0,00
Волынская обл.	0,096	-0,00	Джамбульская обл.	0,536	+0,10
Воронешовградская обл.	0,526	+0,00	Карагандинская обл.	0,719	-0,02
Днепропетровская обл.	0,401	+0,01	Кзыл-Ординская обл.	0,689	-0,02
Донецкая обл.	0,552	+0,00	Кокчетавская обл.	0,475	+0,02
Житомирская обл.	0,271	-0,01	Кустанайская обл.	0,752	+0,00
Закарпатская обл.	0,394	-0,02	Павлодарская обл.	0,718	-0,02
Запорожская обл.	0,485	+0,02	Сев.-Казахстанская обл.	0,712	-0,02
Ивано-Франковская обл.	0,096	-0,01	Семипалатинская обл.	0,562	+0,02
Киев	0,519	-0,05	Талды-Курганская обл.	0,636	-0,02
Киевская обл. (без Киева)	0,148	+0,02	Тургайская обл.	0,657	0,01 ^Г
Кировоградская обл.	0,213	+0,01	Уральская обл.	0,750	-0,02 ^д
Крымская обл.	0,476	+0,03	Целиноградская обл.	0,605	-0,01
Львовская обл.	0,220	-0,03	Чимкентская обл.	0,706	-0,03
Николаевская обл.	0,351	+0,03	<i>Грузинская ССР</i>		
Одесская обл.	0,628	-0,00	Тбилиси	0,619	-0,06
Полтавская обл.	0,161	+0,04	Районы республ. подчинения	0,434	-0,01
Ровенская обл.	0,124	-0,00	Абхазская АССР	0,744	-0,03
Сумская обл.	0,226	+0,01	Аджарская АССР	0,398	-0,05
Тернопольская обл.	0,078	-0,02	Южно-Осетинская автономная обл.	0,474	-0,02
Харьковская обл.	0,476	+0,02	<i>Азербайджанская ССР</i>		
Херсонская обл.	0,354	+0,03	Баку	0,680	-0,06
Хмельницкая обл.	0,172	-0,01	Районы республ. подчинения	0,272	-0,06
Черкасская обл.	0,136	+0,02	Нахичеванская АССР	0,113	-0,07
Черниговская обл.	0,118	+0,01	Нагорно-Карабахская автономная область	0,316	+0,05
Черновицкая обл.	0,502	-0,02	<i>Литовская ССР</i>		
<i>Белорусская ССР</i>			Вильнюс	0,345	-0,01
Брестская обл.	0,251	-0,00	Литовская ССР (без Вильнюса)	0,717	-0,04
Витебская обл.	0,302	-0,03	<i>Молдавская ССР</i>		
Гомельская обл.	0,278	+0,04	Кишинев	0,547	+0,01
Гродненская обл.	0,509	-0,03	Молдавская ССР (без Кишинева)	0,727	-0,01
Минск	0,513	-0,02	<i>Латвийская ССР</i>		
Минская обл. (без Минска)	0,206	-0,02	Рига	0,585	+0,04
Могилевская обл.	0,255	+0,03	Латвийская ССР (без Риги)	0,645	+0,000
<i>Узбекская ССР</i>			<i>Эстонская ССР</i>		
Андижанская обл.	0,318	-0,06 ^в	Таллин	0,473	+0,07
Бухарская обл.	0,466	+0,03	Эстонская ССР (без Таллина)	0,571	+0,03
Кашкадарьинская обл.	0,271	-0,04 ^б	<i>Киргизская ССР</i>		
Наманганская обл.	0,334	-0,06 ^в	Фрунзе	0,422	+0,07
Самаркандская обл.	0,407	-0,04 ^а	<i>Районы республ. подчинения</i>		
Сурхандарьинская обл.	0,442	-0,04 ^б	Районы республ. подчинения	0,541	+0,03
Сырдарьинская обл.	0,630	-0,04 ^а			
Ташкент	0,689	-0,000			
Ташкентская обл. (без Ташкента)	0,770	-0,04 ^а			
Ферганская обл.	0,424	-0,06 ^в			
Хорезмская обл.	0,151	-0,03			
Кара-Калпакская АССР	0,737	+0,001			
<i>Казахская ССР</i>					
Актюбинская обл.	0,682	-0,03			
Алма-Ата	0,487	+0,03			
Алма-Атинская обл. (без Алма-Аты)	0,731	-0,01 ^Г			

Административно-территориальные единицы	P_{1970}	$\Delta P_j = \frac{P_{1970} - P_{1959}}{P_{1959}}$	Административно-территориальные единицы	P_{1970}	$\Delta P_j = \frac{P_{1970} - P_{1959}}{P_{1959}}$
Иссык-Кульская обл.	0,569	-0,02 ^e	Армянская ССР	0,211	-0,01
Нарынская обл.	0,113	-0,02 ^e	Ереван	0,093	-0,04
Ошская обл.	0,648	-0,05	Армянская ССР (без Еревана)	0,259	+0,01
<i>Таджикская ССР</i>			<i>Туркменская ССР</i>		
Душанбе	0,737	+0,02	Ашхабад	0,666	+0,01
Районы республ. подчинения	0,533	-0,03 ^ж	Районы республ. подчинения	0,538	-0,03
Ленинабадская обл.	0,626	-0,03 ^ж	Мырыйская обл.	0,361	-0,08
Горно-Бадахшанская автономная область	0,170	-0,02	Ташаузская обл.	0,558	-0,04
			Чарджоуская обл.	0,496	-0,05

* P_{1970} — индексы этнической мозаичности республик, краев и областей СССР на 1970 г.

$\Delta P = P_{1970} - P_{1959}$ — прирост значений индекса мозаичности республик, краев и областей СССР в 1959—1970 гг.

Прирост значений индекса мозаичности в связи с изменениями территориально-административного деления СССР рассчитан для следующих «блоков» областей:

- а) Самаркандская, Ташкентская и Сырдарьинская области;
- б) Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области;
- в) Андижанская, Наманганская и Ферганская области;
- г) Алма-Атинская и Талды-Курганская области;
- д) Целиноградская, Тургайская и Кустанайская области;
- е) Иссык-Кульская, Нарынская области и районы республиканского подчинения Киргизии;
- ж) Ленинабадская область и районы республиканского подчинения Таджикистана.

Поскольку в переписи 1959 г. не отражено население ряда областей: Целиноградской, Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской и Карагандинской, первоначальный расчет прироста значений индекса мозаичности в 1959—1970 гг. был недостаточно точен, и нам пришлось воспользоваться целой системой поправок.

AN INDEX FOR EVALUATING THE MOSAIC CHARACTER OF ETHNIC SETTLEMENT IN THE REPUBLICS, KRAYS AND OBLASTS OF THE USSR

In studying ethnic processes a particular importance is attached to evaluating the level of multi-nationality of the population. An index of the mosaicity of settlement is proposed in the paper; this will not only reflect the complexity of the ethnic composition of a region's population but also the probability of inter-ethnic contacts. The index of mosaic settlement as computed for the republics, krays and oblasts of the USSR has quantitatively characterized the differences in the level of multi-nationality between the various regions of our country; it has also helped to reveal tendencies towards an increase or decrease in the mosaic character of the national composition of the population of different regions.

The index was also computed for the capitals of the Union Republics and for Leningrad. The picture thus formed corresponds quite well with the conclusions as to the general trends in ethnic, migrational and ethnodemographic processes reached by other methods.

Ю. В. Иванова

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ЭТНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НА ОДЕЖДУ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

**[ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРЕЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР]**

Изучение одежды — одна из важнейших и привычных тем этнографических исследований. Как правило, народная одежда характеризует специфику изучаемого этноса, другими словами — служит этнической меткой. Одновременно она выполняет социально-разделительные и социально-объединительные функции¹.

При исследовании современного быта народов СССР простое описание костюма, — в значительной степени урбанизированного, — не выявляет этнической специфики. Здесь во главу угла следует поставить отношение людей к костюму (как и к другим предметам обихода), оценку всего комплекса одежды или отдельных частей костюма с точки зрения престижной функции². Значение костюма как этнодифференцирующего признака (этнической метки) еще сохраняется в наше время, хотя заметно слабеет. Особенно рельефно эта проблема выступает при изучении многонациональных районов нашей страны. Примером такого района может служить территория, примыкающая к северному берегу Азовского моря — бывший Мариупольский уезд Екатеринославской губернии, ныне Великоновоселковский, Волновахский, Старобешевский, Володарский, Тельмановский, Першотравневый и Приморский районы Донецкой области УССР³.

Старожильческое население этих мест — украинцы и греки. Немногочисленные украинские поселения были основаны запорожскими казаками. Греки были переселены из Крыма⁴ в конце 1770-х годов. Это переселение было одним из звеньев в мероприятиях русского правительства по освоению обширных пространств Причерноморья, присоединенных к Российской империи в течение XVIII в.

Греки, жившие в Крыму, говорили на двух языках: одна часть их освоила крымскотатарский язык, а другая пользовалась одним из диалектов новогреческого языка — крымскорумейским языком (от их само-

¹ С. А. Токарев, К методике этнографического изучения материальной культуры, «Сов. этнография», 1970, № 4; К. В. Чистов, Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры, «Сов. этнография», 1972, № 3.

² См. об этом более подробно: Л. В. Маркова, О проявлении этнической специфики в материальной культуре болгар, «Сов. этнография», 1974, № 1. Там же см. библиографию вопроса.

³ Работа написана на основании полевых материалов автора. См.: Ю. В. Иванова, Полевая тетрадь 1969 г., Архив Ин-та этнографии АН СССР (далее — Архив ИЭ), ф. 1, д. 131 (3768); Полевая тетрадь 1970 г., там же, д. 132 (3769); Полевая тетрадь 1971 г., там же, д. 133 (3770).

⁴ Время и обстоятельства расселения этой группы греков на южном побережье Крымского полуострова сейчас установить трудно. Для нашей темы важно отсутствие у них прямой связи с основной территорией расселения греческого этноса.

названия *румюс*). В пределах крымскотатарского насчитывалось пять языковых групп, взаимопонимание между которыми было слабым. Расселившись на пространстве, ограниченном реками Волчьей, Мокрые Ялы, Кальмиусом и берегом Азовского моря, выходцы из Крыма основали два десятка сел и город Мариуполь (совр. Жданов). Татароязычные и грекоязычные поселенцы основали отдельные села. На первых порах связи между двумя этими группами были крайне ограниченными⁵. Первоначально греки, как и другие переселенцы в Новороссию (все они назывались «иностранные колонисты»), имели большие наделы земли и многие правовые привилегии. С течением времени изолированное расселение греков стало нарушаться. Неосвоенные ими избыточные земли были переданы переселенным из других губерний казенным и помещичьим крестьянам, преимущественно русским и украинцам. В 1859 г. в Мариуполе было разрешено селиться лицам негреческой национальности (среди новых горожан были украинцы и русские). В самом конце XVIII в. и первой половине XIX в. на Мариупольщине были основаны земельные колонии немцев⁶ и евреев. На юго-западе Мариупольского уезда с греческими селами соседствовали болгарские. Таким образом, Мариупольский уезд оказался заселенным несколькими национальными группами⁷. Численно преобладали среди них украинцы⁸. Каждая из этих групп имела свой правовой статус, свое направление хозяйства, свой бытовой уклад.

Греки, которые при переселении из Крыма имели неограниченную возможность осваивать пустующие степные пространства, на первых порах были овцеводами. Во второй половине XIX в. больший удельный вес в их хозяйстве приобрело хлебопашество. Вследствие неоднократного размежевания земель и естественного прироста населения обеспеченность пастбищами и пахотными угодьями греческих сельских обществ была далеко неодинаковой. Все же греческие села в целом, как и немецкие, оказались обеспеченнее других. Богатые греки держали в своих руках торговлю, владели мельницами, кирпичными заводами и т. п.⁹. Немцы вели почти исключительно сельскохозяйственное хозяйство товарного направления. Евреи были земледельцами, а также занимались ремеслами и мелкой торговлей. Болгары практиковали зерновое хлебопашество и огородничество. Украинцы находились в гораздо более стесненных условиях, имели сравнительно немного земли, маломощные.

⁵ Е. И. Дружинина, Северное Причерноморье в 1775—1800 г., М., 1958, стр. 68; е е же, Южная Украина в 1800—1825 гг., М., 1970, стр. 118, 119; А. А. Белецкий, Греческие диалекты на юго-востоке Украины, сб. «Балканская филология», Л., 1970, стр. 5—15; Т. Н. Чернышова, Новогреческий говор сел Приморского (Урзуф) и Ялты Первомайского района Сталинской области, Киев, 1958, стр. 5—8, 11—22, 27, 78; «Мариуполь и его окрестности», Мариуполь, 1892, стр. 18—43, 72, 73.

⁶ Окружающее население называло «немцами» различные группы выходцев из Западной Европы: меннонитов (потомков немецких поселенцев в Голландии), немцев из различных германских земель и Варшавского герцогства, переселенцев из Польши, Чехии, Швейцарии. См. Е. И. Дружинина, Южная Украина, стр. 127—138.

⁷ Е. И. Дружинина, Южная Украина, стр. 118, 149—152; Н. С. Державин, Болгарские колонии Новороссийского края, Симферополь, 1908, стр. 36—71; А. Клаус, Наши колонии, СПб., 1869, стр. 363, 364; А. А. Скальковский, Географическая и этнографическая терминология Новороссийского края, СПб., 1868, стр. 29; С. Я. Боровой, Еврейская земельная колонизация в старой России, М., 1928; В. И. Наулок, Географічне розміщення народів в УРСР, «Додаток до Карті сучасного етнічного складу населення Української РСР», Київ, 1966, стр. 13—26; е е же, Развитие межэтнических связей на Украине, Киев, 1975, стр. 22, 39—46, 55, 56.

⁸ По переписи 1897 г. в Мариупольском уезде украинцев насчитывалось свыше 154,5 тыс. чел., греков — свыше 63,5 тыс. чел., русских свыше 37 тыс. чел. (среди них много тех, кто поодиночке переселялись из центральных губерний России), немцев — свыше 19 тыс. чел., евреев — свыше 10 тыс. чел. («Перепись 1897 г.», вып. 7, СПб., 1905, стр. 14).

⁹ Подробнее см.: Ю. В. Иванова, Хозяйственный быт греков Приазовья, сб. «Итоги полевых работ Института этнографии в 1970 г.», М., 1971.

хозяйства; многие из них нанимались к зажиточным колонистам: мужчины в качестве сезонных работников или поденщиков, женщины — домашней прислугой. Пришлые из центральных губерний русские ремесленники и сельскохозяйственные рабочие оседали поодиночке в различных национальных селах ¹⁰.

До последних десятилетий XIX в. каждая из перечисленных групп жила довольно обособленно (исключение составляли жители крупных торговых сел). Межэтнические связи возникали главным образом в процессе хозяйственной деятельности. Однако конфессиональные различия, языковой и психологический барьер мешали более тесному бытовому общению. Межэтнические браки были исключены. Неудивительно, что в конце XIX в. и в первые десятилетия XX в. сельские жители Мариупольского уезда придерживались традиционного костюма своей этнической группы. Национальность каждого крестьянина, а тем более крестьянки, можно было определить с первого взгляда по одежде.

Греческие женщины к тому времени наряду со старинным длинным платьем, кроенным в талию (крымскорумейск. *фистан*, крымскотатарск. *урба*) ¹¹, носили кофты и юбки из одной и той же фабричной ткани, так называемые «двойки» ¹², причем этот костюм называли по-русски. Но фартуки, особенно для парадных случаев, делали из шерстяной домо-тканины лучших сортов.

Рубаха традиционного туникообразного покроя без плечевого шва оставалась основной нательной одеждой греческих женщин. Ее шили преимущественно из льняной или ситцевой фабричной материи. В отличие от украинок среди гречанок в это время не было принято оставлять открытыми грудь, рукава, подол рубахи, поэтому вышивка, богато покрывавшая еще в XIX в. именно эти части греческих рубах, в начале XX в. редуцировалась. Некоторые греческие мастерицы в то время уже перенимали украинскую вышивку крестом черными и красными бумажными нитками. Однако большинство еще придерживалось старинных национальных традиций. По технике (гладь, мережка), содержанию орнамента (мелкий цветочный узор, «веточка», «вазон» без симметричного расположения) и расцветке (желтые, светло-коричневые, неяркие зеленые и синие цвета, очень распространенная в прошлые времена золотая нить) орнаментация греческих рубах резко отличалась от украинских ¹³. По орнаментальным мотивам, расцветке и технике исполнения вышивки на рубахах греческого населения Приазовья близки к вышивкам в материковой и островной Греции ¹⁴. Это обстоятельство, на наш взгляд, указывает, что художественное творчество народа, в частности орнамент, это один из самых устойчивых компонентов этнической культуры.

¹⁰ А. Клаус, Наши колонии, стр. 151, 152; «Мариуполь и его окрестности», стр. 310; Н. С. Державин, Болгарские колонии в России, София, 1914, стр. 64; А. Скальковский, Опыт статистического описания Новороссийского края, Одесса, 1850, т. II, стр. 21 сл.; В. А. Золотов, Внешняя торговля Южной России в первой половине XIX в., Ростов-на-Дону, 1963, стр. 18, 105, 170.

¹¹ Это платье примерно в середине XIX в. сменило более древний костюм, носивший черты татарского влияния. Он состоял из кафтана с короткими рукавами, перехваченного поясом из серебряной парчи или металлических бляшек (так называемый «кавказский»), рубахи с длинными и широкими рукавами, которые были видны из-под рукавов кафтана, шаровар, мягких сафьяновых туфель и полотенчатого головного убора — Архив ИЭ, фонд Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (далее — ф. ОЛЕАЭ), оп. 1, д. 8, лл. 1, 19 об.

¹² Ждановский краеведческий музей (далее — ЖКМ), фототека, № 45, 2046.

¹³ ЖКМ, фонды № 909, 2215, 2286; Там же, фототека, № 2122, 2124.

¹⁴ P. Zogas, Embroideries and jewellery of Greek national costumes, Athens, 1966, p. 8. 9. 11, pl. 1, 11—14, M. Bieber, Griechische Kleidung, Berlin — Leipzig, 1828, S. 19—21; Ph. Arghenti, The costumes of Chios, London, 1953, p. 221, 236, fig. 118, 167; Δ. Λουκοπουλου, Πως νφαινουν και ητυνουνται οι αιτωλοι, εν Αθηναις, 1927, σελ. 82; Κ. Μακρη, Πηλιορειτικες φορεσιες, Βολος, 1949, σελ. 15, ειμ. 1—4.

Верхняя одежда у греческих и украинских женщин также различалась: украинки охотно надевали зимой шубы из выделанной овчины мехом внутрь, удобные для работы во дворе и хлеву, в то время как гречанки таких шуб почти не носили, предпочитая суконные пальто (у греков уход за скотом считался мужским делом).

Мужчины в то время носили пиджаки, глухие двубортные куртки из фабричных тканей, фуражки. Брюки заправляли в сапоги (праздничная обувь). В качестве обыденной обуви носили *чарухи* (*чарых*), — мягкую обувь из одного куска сыромятной кожи, — ремни которых наматывали поверх носок или онуч¹⁵. Старинная мужская рубаша туникообразного покроя имела иногда очень широкий подол, напоминая тем самым балканскую фустанеллу¹⁶. Такую рубашу носили еще в середине и во второй половине XIX в.¹⁷. В конце XIX в. она превратилась в нательное белье, за ней сохранились наименования на крымскотатарском и крымскотатарском языках: *камсу*, *пкамсу*, *пукамус*, *келек*. Поверх нее стали носить по городской моде верхнюю рубашку-косоворотку и называли ее по-русски *рубашка* (искаженно *урбашка*). Рубашка по покрою и расположению орнамента (на груди, по вороту и подолу) сходна с рубашкой украинцев, южных великорусов, кубанских и донских казаков¹⁸. Однако расцветка и техника вышивки типично греческие: неяркий мелкий узор черными, красными, белыми, коричневыми шелковыми нитями.

Больше национальной специфики сохранилось в верхней мужской одежде: греки носили разнообразную верхнюю одежду из овчины мехом внутрь — длинные и короткие шубы, полшубки, безрукавки, овчинные шапки различных фасонов¹⁹. Чабаны, проводившие большую часть года при стаде под открытым небом, находили удобными теплые штаны из овчины (вышли из употребления в 1920-х годах). В целом греческая зимняя одежда отличалась от украинской более узким кроем и отсутствием украшений — аппликаций, вышивок. Различия в костюме этнических групп были особенно заметны в обуви, привычной для крестьянского обихода: никто на Мариупольщине, кроме греков, не носил чарухи, никто не перенял деревянную обувь немецких колонистов. Гречанки не носили «русских» кожаных сапог, которые надевали для работы украинки.

В пределах каждой этнической группы отдельные предметы традиционного костюма указывали на место данного человека в общественной системе: на его возраст, семейное положение и т. п. В греческом костюме очень интересен в этом отношении головной убор замужних женщин — *перифтар* (*пелифтар*, *пирифтарь*, *плифтар*, *баш явлух*). Его надевали невесте в день свадьбы перед венчанием; в первый год замужества носили постоянно, а впоследствии — в качестве праздничного убора. В повседневном быту пользовались головным платком. Перифтар — полотнячатый убор из длинного белого полотнища — плотно облегал лицо и шею, один из концов спускался через плечо по спине несколько ниже пояса. Тонкое легкое полотнище перифтара ткали из шелка-сырца, иногда из льна, его покрывали изящной вышивкой, выполненной золотой канителью и цветными шелковыми нитями. К перифтару прикреп-

¹⁵ Архив ИЭ, ф. ОЛЕАЭ, лл. 1, 2, 3, 6 об., 8, 19 об. Такая обувь распространена у всех народов Балканского полуострова. Ср. обувь из Греции: Δ. Λογχοπούλου, Указ. раб., стр. 58—60, 106, 107, 115, 116.

¹⁶ ЖКМ, фонды, № 2290.

¹⁷ Об ее сходстве с некоторыми титами болгарской см. Я. П. Прилипко, Етнокультурні зв'язки болгар і східних слов'ян: Київ, 1964, табл. III.

¹⁸ Г. С. Маслова, Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в., «Восточнославянский этнографический сборник», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XXXI, М., 1959, стр. 383; Я. П. Прилипко, Указ. раб., табл. III; «Кубанские станицы», М., 1967, стр. 150, 151.

¹⁹ ЖКМ, фототека, № 2092, 2199; Гос. Музей этнографии народов СССР (далее ГМЭ), фототека, № 4929—6.



Рис. 1. Молодая женщина в парадном костюме (начало XX в.). На ней атласное платье, шерстяной фартук, пояс с серебряной пряжкой, перифтар с полным набором украшений, нагрудные украшения (Гос. Музей этнографии народов СССР, фототека, № 3282—21)

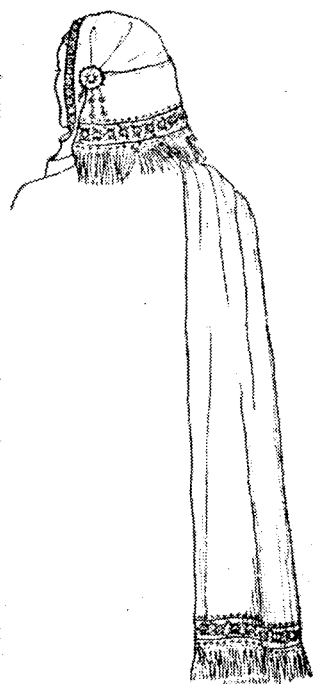


Рис. 2. Способ ношения перифтара (рис. Т. П. Лойферман, 1970 г. по материалам Ждановского краеведческого музея)

ляли большое количество металлических подвесок²⁰. В начале XX в. в одних селах перифтар уже совсем вышел из употребления, в других — пожилые женщины еще надевали его по праздникам, но уже без дополнительных деталей — накосного украшения *цамблис* и редуцированного заднего фартука *кам*²¹.

Женский фартук считался обязательной принадлежностью костюма «самостоятельной хозяйки». В начале XX в. даже на покойниц, умерших в преклонном возрасте, надевали фартук.

Вдов и вдовиц можно было отличить от других людей: в знак траура женщины оставляли волосы распущенными в течение года, мужчины не стригли волос и не брили бороды тоже длительное время, иногда до года, так что волосы достигали плеч, а борода пояса.

²⁰ ЖКМ, фонды, № ММК-И-1101, 1604, 1974, 2213, 2247, 2366, 1696, 9223, 8836; ЖКМ, фототека, № 1075/118, 63, 64, 2129; ГМЭ, фонды, колл. 1737 (с. Мангуш, совр. Першотравненское, 1909 г.), № 2, 3; колл. 3071 (села Большая Енисала — совр. Великая Новоселка, Каракоба — совр. Раздольное, Керменчик — совр. Старомлиновка, 1914 г.), № 5, 8—11, 15, 18—21, 59—68. Ср. с подобными головными уборами в Греции: Р. Зогаз, Указ. раб., табл. LXXIII (воспроизведена фреска 1641 г.), LVI (рисунок 1727 г.), LXXIX, LXXX, LX (датированы началом XIX в.), LXXXIX, XCV (середина XIX в.), LXXXIII, LXXXVII, XCIV, XCVIII, CVII. Сходный головной убор бытовал у крымских татар: ГМЭ, фонды, колл. 251 (г. Алушка, 1894 г.), 22/27—27/27; колл. 463 (г. Ялта, 1899 г.), № 1, колл. 464 (южный берег Крыма), № 1, 2; колл. 2761, № 5; колл. 6640 (окрестности Коктебеля и Симферополя), № 1. См. также В. И. Наулко, Развитие межэтнических связей на Украине, стр. 248.

²¹ ГМЭ, фонды, колл. 3071, № 6, 7.

Нивелировка одежды разных национальных групп, характерная для капиталистической эпохи, начиналась с привнесения в быт предметов массовой унифицированной культуры.

С середины, и особенно в последние десятилетия XIX в. развитие торговли, главным образом экспорта пшеницы через южные морские порты России, прокладка железных дорог, постройка металлургических заводов привели к быстрому развитию Мариуполя как торгового центра. В товарное хозяйство втягивались многие села Екатеринославщины, и в первую очередь греческие и немецкие. Села, расположенные на севере Мариупольского уезда, тяготели к промышленной Юзовке (совр. Донецк). Интенсивны были торговые связи с Ростовом-на-Дону. Введенная реформой 1906 г. хуторская система усилила ясно наметившееся экономическое расслоение сельского населения.

В этот период несколько расширилось бытовое общение между всеми этническими группами Приазовья. Однако в одежде не происходило существенного заимствования каких-либо элементов, составляющих этническую характеристику той или иной группы.

Разница между этническими группами заключалась лишь в степени освоения массовой городской культуры. Греческое население, само экономически и социально весьма неоднородное, в целом было богаче других этнических групп (кроме немцев) и имело больше возможностей пользоваться услугами городских и сельских торговцев и ремесленников. В городах, в сельских лавках и на ярмарках приобретали готовую верхнюю одежду, головные уборы — женские платки, мужские шляпы и картузы (их называли этими русскими наименованиями), обувь, особенно женские ботинки и туфли. Интересно, что сапоги имели местные названия (румейск. *цангия*, татарск. *чизма*, *цызма*), а ботинки, туфли, валенки, галоши — только русские названия.

Портняжным ремеслом на Мариупольщине занимались жители украинских сел²². Профессиональные портнихи, располагавшие модными журналами, удовлетворяли стремление зажиточных заказчиц одеваться по-городски. Общероссийскую моду в крестьянский обиход вносили ремесленники, не бывшие коренными жителями сел: евреи — бродячие портные, работавшие на дому у заказчиков, шили преимущественно мужские костюмы и картузы, русские мастера тачали сапоги, приезжавшие из русских губерний сезонники валяли валенки.

Степень распространения предметов городского быта зависела от социально-экономического положения лиц (семьи, домохозяйства) и от уровня экономического развития села в целом. Жители различных греческих сел далеко не в равной степени осваивали бытовую культуру российского города. В селах, удаленных от торговых центров (напр., в Игнатьевке, Ласпе, Анадоле), гораздо дольше удерживались характерные для этой этнической группы бытовые навыки, в том числе и одежда. Жители с. Чардаклы (совр. Кременевка) еще в первой четверти XX в. носили почти исключительно чарухи, в том числе и женщины, что было редкостью для греческих сел (объясняется это, очевидно, тем, что в этом селе по сравнению с другими было значительно сильнее развито скотоводство). Даже в Мариуполе они появлялись в этой привычной для себя обуви.

Иная картина складывалась в крупных торговых или приморских селах — Ялта, Мангуш, Богатырь, Карань, Старая Каракуба. Но и там было заметно разделение по «кварталам» — богатых, предприимчивых людей, занимавших центр или приморскую часть села, и бедноты, жившей по окраинам. Зажиточного хозяина, молодую женщину, девушку из

²² Греки занимались только изготовлением одежды из овчины. Ни в портняжном, ни в строительном, ни в каком другом ремесле греки не преуспели, считая своими главными занятиями скотоводство и земледелие.

«центра» можно было отличить по костюму от жителей окраины: в одежде жителей «центра» преобладала городская мода²³.

Греки, жившие в Мариуполе и других городах южной России, внешне не отличались от горожан других национальностей. Зато посещая родное село, эти горожане, особенно молодежь из зажиточных семей, получавшая образование в Екатеринославе (совр. Днепропетровск), Ростове и других городах, резко выделялись из общей массы: мужчины носили пиджачные пары и тройки, ботинки, шляпы и картузы, молодые женщины и девушки щеголяли в модных платьях с облегающим лифом и высокими буфами на плечах, в высоких шнурованных ботинках или туфлях на каблуках; на головы, увенчанные по моде высокими прическами, накидывали легкие шарфы.

Городская одежда становилась меткой социального положения. Ее престижная функция особенно заметна по семейным фотографиям того времени: все молодые женщины, независимо от своего повседневного образа жизни, старались сфотографироваться в модном платье с оборками и буфами на плечах, хотя бы им пришлось для этого одолжить его. Волосы оставляли непокрытыми. В то же время их матери и свекрови усаживались перед аппаратами сельских фотографов в широких длинных юбках, кофтах навыпуск, фартуках, обязательно покрыв голову платком.

Распространение среди греческого сельского населения предметов городской одежды и престижный характер ее — только один из показателей процесса ассимиляции греков российским городом, интенсивно протекавшего в условиях быстрого капиталистического развития Южной Украины. Эта ассимиляция шла многими путями (основной из них — освоение русского языка) и затрагивала почти все стороны быта, но в различной степени. В жилом доме при изменении материала и техники строительства, устройства отопительной системы и т. п. бытовое использование жилых помещений, а главное — убранство комнат — оставалось традиционным²⁴. Именно украшение комнат и в наши дни отличает дома греческих крестьян от жилища их односельчан других национальностей. Костюм оказался гораздо мобильнее.

Принципиально иные стимулирующие факторы нивелировали материальный быт приазовского села в 1920-е — 1930-е годы. Это был период строительства социализма в нашей стране, уничтожения кулачества, коллективизации сельского хозяйства, переустройства быта крестьянства. Все это приводило к большим изменениям в общественном сознании.

На костюме греческих крестьян этот процесс отразился двояко: прежде всего, костюм перестал служить знаком социального черавенства; одновременно, хотя и более медленными темпами, он утрачивал функции этнической метки, что стоит в прямой связи с постепенным разрушением культурно-бытовой изоляции этнических групп.

Причинами начавшегося в этот период более активного обмена культурными навыками послужили постоянно растущая социальная мобильность сельского населения и неразрывно связанное с нею увеличение межэтнических браков. Вплоть до 1915—1920 гг. браки между представителями разных национальностей почти не заключались. Более того, редко греческую девушку выдавали замуж в соседнее село. Ограниченность семейных связей была одной из причин сохранения различий

²³ На социальное расслоение крестьянства внутри каждой национальной группы обращал внимание В. И. Ленин, когда в 1913 г. он характеризовал капиталистический путь развития южных губерний России. См.: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 1, стр. 58, 61.

²⁴ О. Р. Будина, О некоторых особенностях развития жилища греков Приазовья, сб. «Итоги полевых работ Института этнографии в 1971 году», М., 1972, стр. 199.



Рис. 3. Женщина в повседневном костюме за наматыванием ниток на шпульку для ткацкого станка, 1930-е годы (Ждановский краеведческий музей, фототека, № 60/199)

в говорах отдельных сел или небольших групп селений, специфических черт домашней жизни. Первыми русскими невестками в греческих семьях становились те девушки, которые живя в услужении в греческих хозяйствах, осваивали румейский и татарский языки, привыкали к местному быту.

В первое десятилетие Советской власти, число межэтнических браков, а также браков местных мужчин с женщинами из других сел все же было сравнительно невелико. Резко изменилось это положение во время Великой Отечественной войны и после нее, когда в браки вступали люди 1920 г. рождения и моложе²⁵.

Миграция сельского населения привела к тому, что в наши дни ни одно из основанных греками сел не осталось этнонациональным (преобладающее негреческое население — украинцы и русские, примесь представителей других национальностей ничтожно мала).

В годы Советской власти резко интенсифицировался протекавший на протяжении всего XIX в. процесс смены языка межэтнического общения: татарский, бывший языком общения в Крыму²⁶, уступал эту функцию русскому. Русский язык стал средством общения не только между людьми разных национальностей, но и между самими греками, родные языки и говоры которых не были взаимно понятными. Одновременно лексика крымскорумейского и крымскотатарского языков обогащалась заимствованиями из русского (главным образом в общественной сфере) и из украинского (преимущественно в быту)²⁷.

²⁵ Основное ядро греческих сел Донецкой области остается довольно устойчивым: «полу-дем» по шкале В. В. Бунака (В. В. Бунак, Изучение малых популяций в антропологии, «Вопросы антропологии», 1965, вып. 21). У группы мужчин 1920 года рождения и моложе, процент браков с женщинами из других населенных пунктов приблизился к 25% (см. Архив ИЭ, Ю. В. Иванова, Отчет о работе Приазовского отряда 1970 г., стр. 16, 17).

²⁶ А. Л. Бертье-Делагард, Исследование некоторых недоуменных вопросов средиземноморья в Тавриде, Одесса, 1814, стр. 7, 10; Ф. Браун, Мариупольские греки, «Живая старина», № II, СПб., 1890, стр. 85.

²⁷ Т. Н. Чернышева, Указ. раб., стр. 18.

Естественно, что переоценка материальных и духовных ценностей в пользу русскоязычной культуры городского типа, начавшаяся еще в дореволюционное время, в годы Советской власти развивалась в возрастающей прогрессии.

Этот процесс не замедлил сказаться и на одежде. Старинные традиционные формы стали восприниматься как признак «отсталости», их даже несколько стыдились. В начале 1920 г. молодежь относилась с предубеждением к перифтару, прежде составлявшему предмет гордости женщины. Случалось, что женщины отказывались от привычного наряда по просьбе детей. Постепенно перестал быть строго обязательным обычай ношения головного платка замужними женщинами²⁸. В дореволюционное время и в 1920-х годах в некоторых селах, где общественное мнение поддерживало старинные правила приличия, молодая невестка не смела показываться простоволосой перед старшими родственниками (хотя в других селах, в группах, поддерживавшихся более передовых понятий девушки и молодые женщины не всегда покрывали голову). В быту колхозниц, начиная с 1930-х годов, а тем более в последнее время головным платком пользовались по необходимости, не придавая ему значения социальной метки. Фартук ныне для женщин всех поколений и любого социального положения превратился в предмет, удобный для домашней работы. Его шьют из цветной хлопчатобумажной материи и называют по-украински «запаска» (румейские и татарские названия *мандиль*, *бишгир*, *бичир* и т. п. относят только к традиционным шерстяным орнаментированным фартукам).

Мужчины продолжали пользоваться разного рода кожухами (их и теперь носят), но начиная с 1920—1930-х годов, чаще чем кожухи, стали приобретать в магазинах пальто и полупальто на вате. Исчезла необходимость в громоздких плащах из домодельного сукна, которые надевали, пускаясь в дальнюю дорогу на подводах. Для дождливой погоды крестьяне пользовались плащами фабричного производства. Кожаные сапоги стали преобладающей рабочей обувью (парадной были ботинки). В начале 1930-х годов на косыбу крестьяне надевали чарухи, однако под них не наматывали, как прежде, онучи, а надевали толстые шерстяные носки. Несмотря на очевидное удобство этой обуви для некоторых сельскохозяйственных работ, примерно с конца 30-х годов от чарух отказались совсем — по соображениям скорее оценочного, чем практического характера.

²⁸ Ошибочно мнение, что «в начале XX в. перифтар вытесняется платком» (В. И. Наулко, Развитие межэтнических связей на Украине, стр. 251). Различные виды головных платков носили и в XIX в. в повседневном обиходе, в холодное время и т. д. Уже на рубеже XIX—XX вв. перифтар использовался лишь как парадная и церемониальная одежда. Девушкам из бедных семей приходилось одалживать его у соседок специально для свадебного обряда; всю жизнь они пользовались платком.



Рис. 4. Мужчина в зимней верхней одежде, 1930-е годы. На нем смушковая шапка, овчинная шуба мехом вовнутрь, кожаные сапоги (Ждановский краеведческий музей, фототека, № 1519/2029)

Модернизация быта, особенно интенсивная после Великой Отечественной войны, привела к тому, что в домашней жизни донецкого крестьянства преобладают стандартизированные предметы потребления: мебель, различная домашняя и кухонная утварь, готовое платье и обувь массового промышленного изготовления. В условиях современного села одежда не выполняет прежней социально-разделительной функции. Использование покупной одежды имеет специфику двух видов: этническую, которая в известной степени присуща еще костюму людей старшего поколения, и производственно-бытовую, соответствующую сельскохозяйственному производству.

Первая из указанных особенностей проявляется заметнее всего в выборе головных уборов. Женщины среднего и старшего возраста покрывают головы почти исключительно платками, причем пожилые предпочитают платки одноцветные, традиционных темных тонов. Женщины среднего и молодого возраста носят летом шелковые или ситцевые платочки цветные, узорчатые, цветастые — любые, какие им могут предложить сельские магазины. Молодые девушки и девочки предпочитают ходить с непокрытыми головами, а в холодную пору пользуются платками, реже — шапочками современных фасонов. Мужчины носят разного вида овчинные шапки традиционного фасона и очень редко шапки-ушанки²⁹. Летом картузы, обычные для довоенного периода, надевают только пожилые люди, молодые ходят с непокрытыми головами или приобретают кепки.

Другой традиционный элемент, сохранившийся в современном мужском костюме, — широкий мягкий пояс (чаще всего из красной хлопчатобумажной материи). Такие пояса в прошлом носили многие — зимой поверх тулупов, летом поверх брюк. В дореволюционное время их ткали из шерстяных домодельных ниток, позже шили из фабричной материи красного или синего цвета. Пояс из покупного материала считался богаче; тканый, несмотря на его явную художественную привлекательность, казался более скромным.

Сельскохозяйственное производство диктует свои особенности одежды: предпочтение отдается удобному в работе полупальто, резиновым сапогам (для женщин) и кожаным (для мужчин) — обуви, необходимой для осеннего, зимнего и весеннего сезонов.

Таким образом, в формировании современного обыденного костюма греческого сельского населения явно преобладают факторы не этнического, а социально-экономического характера. Использование современными донецкими колхозниками готового платья и обуви массового промышленного изготовления в значительной мере снижает этническую специфику, но не уничтожает ее бесследно.

Жители донецких сел в очень большой степени следуют в своей одежде быстро меняющейся современной моде. Это обстоятельство характеризует уже не столько материальную, сколько духовную культуру — восприимчивость данной этнической группы к изучаемое время к общесоветской модели быта.

Привычка пользоваться одеждой, утварью, постельными принадлежностями массового фабричного производства изменила состав приданого невесты и само отношение к традиции приданого. Раньше представление о «хорошей» невесте требовало от нее прежде всего качеств умелой хозяйки. Греческая женщина домашнему хозяйству уделяла больше внимания и времени, чем полевым работам и уходу за скотом (этим быт греческой семьи отличался от украинской). Свои хозяйственные таланты она должна была проявить в рукоделии, в умении красиво убирать комнаты, позаботиться об одежде всей семьи. Ее приданое состояло из всевозможных предметов одежды для нее (чтобы хватило на всю

²⁹ ЖКМ, фототека, № 2040, 2128, 2129, 2166, 2199.

жизнь!), для новой родни (подарки всем без исключения), из постельных принадлежностей и предметов домашнего убранства: ковров, поло-стей, покрывал, декоративных полотенец, разнообразных салфеток, дорожек и т. п. Ничего этого не требуется невесте в наши дни. Быстро меняющаяся мода делает желанным подарком не готовое платье, а от-резы материи или даже деньги. Для «хорошей невесты» важно прежде всего доброе имя ее родителей, а также ее личные качества: образова-ние, специальность, авторитет в коллективе.

Этот естественный и исторически оправданный процесс изменения отношения к предметам потребления таит в себе и определенные из-держки. Он вызывает отрицательное отношение к изделиям традицион-ного ремесла, а ведь они являются не только предметами потребления, но и выражают художественные вкусы, выработанные многими пред-шествовавшими поколениями. И ныне жилые комнаты в домах грече-ских крестьян обильно украшены коврами, всевозможными декоратив-ными изделиями — ткаными, вязаными, вышитыми. Многие из этих предметов сделано руками хозяек старшего поколения или заказано местным мастерицам. Однако более желательными становятся ковры фабричного производства и другие вещи, приобретаемые в магазинах. А они зачастую уступают по своей художественной ценности предметам местного ремесла. Молодежь не только не осваивает традиционное при-кладное искусство, но даже несколько стесняется его, считая стандарт-ные фабричные изделия более подходящими для современного быта.

Если сама традиция убранства жилых помещений остается в наше время этнодифференцирующим признаком (этническая специфика вы-ражается в характере использования промышленных изделий), то пред-меты этого убранства постепенно теряют значение этнической метки.

* * *

Самостоятельным предметом этнографического исследования яв-ляется обрядовая одежда.

За 200 лет жизни греков в Приазовье менялся свадебный костюм. Наиболее старинный среди известных нам вариантов — красное платье и красное покрывало невесты, принятое среди балканских народов³⁰. От середины или последней четверти XIX в. дошли воспоминания о сва-дебной халатообразной одежде *шам* — как мужской, так и женской (в быту она уже тогда, по-видимому не употреблялась)³¹. В самом начале XX в. для женщин, которые когда-то венчались в такой одежде, она служила также и погребальной. В конце XIX в. принято было венчать-ся в платьях из черного атласа³². На рубеже веков и в первые десяти-летия XX в. в день свадьбы надевали нарядный костюм по городской моде того времени: юбку и кофту из хорошей фабричной материи (шел-ка или шерсти) светлых расцветок (кремовый, светло-салатный и т. п.). Его дополнял «кавказский» пояс (из золотой или серебряной парчи с серебряными черненными бляшками) или пояс из металлических пласти-нок. Голову невесты покрывал не перифтар, а фата, к которой порою прикрепляли традиционные металлические подвески. Руки и грудь укра-шали традиционные металлические браслеты и цепочки³³. Множество

³⁰ Y. N. h n, Albanesische Studien, Yena, 1854.

³¹ Архив ИЭ, ф. ОЛЕАЭ, лл. 1, 4; ГМЭ, фонды, колл. 861, № 2, колл. 3071, № 1, 17. Возможно, что эта одежда была связана с традициями крымских татар, более расши-рительно — с тюркским этническим ареалом, ср. описание женской одежды азиатских турок: В. П. Курылев, Одежда азиатских турок, «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. Сборник музея антропологии и этнографии», вып. XXVI, Л., 1970, стр. 243.

³² Архив ИЭ, ф. ОЛЕАЭ, л. 17.

³³ Там же; ЖКМ, фонды, № 9823; ЖКМ, фототека, № 1075/118. Ср. пояса из Греции: К. М а н р η, Указ. раб., стр. 16, рис. 6, 7.

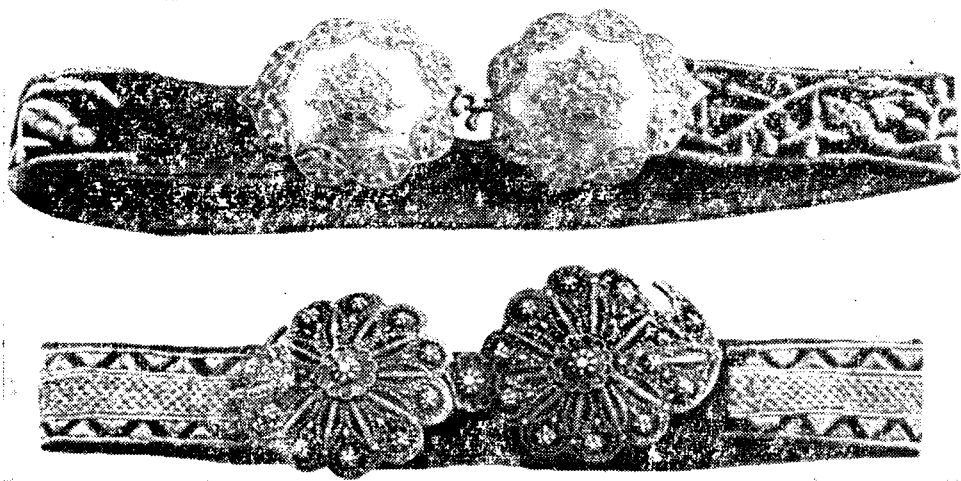


Рис. 5. Женские пояса, украшенные серебряными пряжками и золотым шитьем (Гос. музей этнографии народов СССР, фототека, 3282—15).



Рис. 6. Традиционные женские серебряные украшения (рис. Т. П. Лойферман, 1970 г. по материалам Ждановского краеведческого музея)

старинных украшений свадебного костюма отличали греческих невест от русских, украинок, женщин других национальностей. Лишь незадолго до первой мировой войны в моду стало входить белое подвенечное платье и фата с венком из флердоранжа.

Общая унификация быта в конце 1920-х и в 1930-х годах привела к упрощению свадебного обряда в целом и костюмов новобрачных.

После Великой Отечественной войны в условиях постоянно развивающегося колхозного хозяйства и сравнительно высокого достатка донецкого крестьянства изменилось отношение к свадебной церемонии. Каждая молодая пара стремится сыграть веселую свадьбу и пригласить множество гостей. Вспоминают при этом и стараются выполнить с большей или меньшей полнотой традиционный порядок церемонии, так что по своему сценарию современный свадебный обряд имеет определенный

национальный колорит. Что касается костюма новобрачных, то он ничем не отличается от распространенного ныне повсеместно: длинное белое платье и фата невесты, черный костюм и белая сорочка жениха.

Изменение важнейшего материального компонента свадебного обряда — костюма новобрачных — подчеркивает изменчивость этнических традиций. Костюм как внешнее проявление образа жизни отражает степень его урбанизации: в дореволюционное время следовали моде российского города, ныне в нашей стране этот костюм стал повсеместным, интернациональным.

Несколько своеобразных черт сохранилось во внешнем облике участников похоронной церемонии. В знак траура мужчины не бреют лицо и не стригут волосы. На рубеже веков кое-кто носил эти знаки печали сроком до года. Ныне пожилые мужчины после смерти близкого человека не бреются иногда сорок дней, чаще — девять и уж во всяком случае не пользуются бритвой несколько первых дней после похорон.

При оплакивании покойника женщины накидывали на голову белое вышитое полотенце, служившее украшением жилой комнаты, мужчинам повязывали его на руку, а прежде набрасывали на шею. В этом случае полотенце называли не «рушник» (как это принято сейчас), а «перифтар», даже в тех селах, в которых уже забыли о старинном головном уборе. Значит перифтар, который был когда-то обязательным головным убором, а потом стал специальным свадебным, нашел последнее применение в качестве детали траурного одеяния.

* * *

Итак, современная одежда немногочисленной этнической группы — это производное от двух факторов. Первый из них — среда и условия обитания, хозяйственная занятость изучаемой группы, социально-политические особенности ее жизни; в это последнее понятие следует включить классовую структуру самой группы на разных этапах исторического развития. Второй фактор — этническая традиция, которая отражает эстетические вкусы, бытовые привычки, этические нормы многих поколений, а также исторически сложившиеся межэтнические связи. Этническая традиция не остается неизменной, она сама является исторической категорией. Поэтому например, говоря о традиционной одежде всегда надо уточнять хронологические параметры этой традиции.

В современном быту колхозного крестьянства традиционным следует признать тот комплекс одежды, который отличает данную этническую группу от сельского населения других национальностей. Мы можем установить, в какое время отдельные элементы этого комплекса сами были инновациями и пришли на смену более ранним формам.

Трансформация костюма греческого сельского населения Донецкой области идет в общем русле культурно-бытовых процессов, происходящих в нашей стране. В этой трансформации прослеживается определенная тенденция: постепенная утрата одеждой функции этнической метки в повседневном быту и сохранение этой функции в обрядности — свадебной (до недавнего времени) и погребальной (и ныне). Именно при совершении обрядов их участники через обрядовые атрибуты, в том числе и через одежду, начинают ощущать свое этническое единство и отличие от людей других национальностей. Одежда выполняет в этом случае социально-объединительную функцию и одновременно служит этнодифференцирующим признаком.

Изменение такого примечательного элемента материальной культуры как костюм подчеркивает нестабильность культурного комплекса, характеризующего этническую группу. Он подвержен влиянию, с одной стороны, ведущего в социально-культурном отношении этноса (в данном случае — татар в Крыму, русских и украинцев в Приазовье), и с

другой — влиянию межэтнической интеграции, начавшейся в капиталистическую эпоху, но особенно бурно развившейся в советское время, в эпоху сложения общих культурно-бытовых навыков советского народа.

**THE INFLUENCE OF SOCIAL-ECONOMIC CONDITIONS
AND OF ETHNIC TRADITIONS OVER THE DRESS OF
RURAL DWELLERS**

(ON THE MATERIALS OF A STUDY OF THE GREEK POPULATION OF
THE DONETZ REGION, UKRAINIAN SSR)

In studying the everyday life of the kolkhoz peasantry in the USSR, the ethnographer should concentrate not on describing material objects of domestic use but on the attitude of the people towards those objects. The paper describes, on the example of Greek rural population, the growing prestige of Russian dress as compared with that of the local nationality. This development occurred in the course of the capitalist evolution (into which the region described was drawn in the second half of the 19th century) accompanied by the assimilation of the rural population of different nationalities by the Russian city.

At present, when objects of mass standardized culture sharply predominate in everyday life, the role of dress as a mark of ethnic affiliation has practically disappeared. Certain of its elements are preserved in ritual costume. It is in family ritual that dress gives people of a common nationality a feeling of one-ness and of their difference from the surrounding alien population. In other words, in this case national dress fulfills an ethnically differentiating function.

И. И. Крупник

СТАНОВЛЕНИЕ КРУПНОТАБУННОГО ОЛЕНЕВОДСТВА У ТУНДРОВЫХ НЕНЦЕВ

Исключительная роль оленеводства в традиционном хозяйстве народов Севера не раз отмечалась многими исследователями. Подчеркнем, однако, что при изучении северного оленеводства главное внимание уделялось обычно либо самым ранним этапам его развития (месту и времени domestikации оленя, дальнейшим путям распространения оленеводства и т. п.), либо, напротив, классификации его основных этнографических типов в их «современном» виде, т. е. по материалам XIX — начала XX в. Вопросы же исторической эволюции оленеводства с момента его появления на Крайнем Севере и вплоть до XIX в. разработаны значительно слабее. В настоящей статье мы остановимся на некоторых аспектах развития оленеводческого хозяйства тундровых ненцев за период XVI—XIX вв.¹, уделив главное внимание анализу изменения роли оленеводства во всем хозяйственно-производственном комплексе и в первую очередь в процессе производства продуктов питания. Общеизвестно, что интересы любой натуральной экономики (или экономики с элементами обмена) направлены прежде всего на производство пищи и затем уже на удовлетворение всех остальных потребностей. Поэтому питание и бытовое материальное производство (одежды, жилища и т. д.) и представляются нам теми весьма удобными этнографическими показателями, по которым лучше всего можно судить об эволюции хозяйственной жизни общества, особенно на ранних этапах его развития.

Имеющиеся этнографические сведения о хозяйстве ненцев (самоедов) вплоть до середины XVIII в. крайне противоречивы. В одних сообщается, что самоеды вели бродячий образ жизни, занимались охотой и рыбной ловлей, питались рыбой, птицей и мясом диких животных и одевались в звериные шкуры. В других, напротив, говорится, что самоеды имели домашних оленей, ездили на них, питались оленьим мясом и одевались в шкуры оленей. Наконец, в-третьих описывается на этой же территории народ, который жил оседло на берегу моря, занимался морским зверобойным промыслом и питался рыбой и мясом морских животных.

Неудивительно поэтому, что при определении действительной структуры хозяйства ненцев XVI—XVII вв. возникли прямо противоположные точки зрения. Так, С. В. Бахрушин, как известно, считал самоедов

¹ Мы не рассматриваем здесь проблемы изначального появления оленеводства в районах, населенных сейчас тундровыми ненцами, присоединяясь к наиболее распространенной ныне точке зрения о том, что оленеводство (мелкотабунное, транспортное, по-видимому, вьючного типа) было принесено сюда с юга древними самодийцами на рубеже I—II тысячелетий н. э., причем аборигенное досамодийское население было, очевидно, уже знакомо к этому времени с собачьей упряжкой и использованием оленьего манщика. См. С. И. Вайнштейн, Проблема происхождения оленеводства в Евразии, II, «Сов. этнография» (далее — СЭ), 1971, № 5, стр. 51; см. также: Г. М. Василевич, М. Г. Левин, Типы оленеводства и их происхождение, СЭ, 1951, № 1, стр. 78—81; Л. П. Лашук, Очерк этнической истории Печорского края, Сыктывкар, 1958, стр. 58; В. И. Васильев, Система оленеводства лесных энцев и ее происхождение, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», 1962, вып. 38, стр. 73, 74.

XVII в. самыми типичными представителями кочевников-оленьеводов тундры. По его мнению, они жили в то время главным образом за счет продуктов забоя своих стад, питались в основном оленьим мясом, одевались в оленьи шкуры, делали из них постели и жилища и даже выплачивали ими в некоторых местах ясак и другие подати². Чисто оленеводческим считали также хозяйство ненцев XVII—начала XVIII в. и А. В. Смирнов³ и, наконец, в недавнее время Н. А. Миненко, утверждающая, в частности, что развитое крупнотабунное оленеводство существовало у ненцев (сибирских) не только уже с самого начала XVIII в., но, по всей видимости, и значительно раньше этого времени⁴.

Напротив, в последние годы, как известно, преобладающей стала прямо противоположная точка зрения о сравнительно позднем (середина — конец XVIII в.) происхождении того «классического» типа тундрового крупнотабунного оленеводства, которое хорошо известно по источникам XIX — начала XX в.⁵ До этого времени, т. е. вплоть до середины XVIII в., у всех тундровых народностей Крайнего Севера — ненцев, предков тундровых энцев и нганасан, юкагиров, чукчей⁶ — преобладало комплексное промысловое хозяйство с господством охоты и рыболовства и транспортным вспомогательным оленеводством. Главную роль в таком хозяйстве играла охота на дикого северного оленя, поставлявшая мясо и жир для питания, шкуры для одежды, обуви и покрытия жилищ. Домашние олени использовались исключительно для транспорта и имелись в очень ограниченном количестве — максимальные, известные по источникам XVII в., размеры отдельных стад не превышали 100 голов⁷.

Специально для ненцев (европейских) этот вывод еще в 1956 г. сделала, как известно, Е. И. Колычева, показавшая, что в течение всего XVII в. поголовье домашних оленей у ненцев было крайне малочисленным. Владелец стада в 40 голов уже считался «сильным»; оленей очень берегли и забивали на мясо только в исключительных случаях⁸. Подчеркнем, что все ранние источники по этнографии ненцев (XV—XVII вв.) действительно указывают с полной определенностью лишь на использование домашних оленей в качестве транспортных (и жертвенных)⁹ животных; там же, где говорится о пище, одежде или жилище, либо не сказано конкретно, о каких именно оленях идет речь (домашних или диких)¹⁰, либо прямо упоминаются олени дикие, служащие объектом

² С. В. Бахрушин, Научные труды, т. III, ч. 2, М.—Л., 1955, стр. 5—7 (Самоеды в XVII веке).

³ А. В. Смирнов, Племена Самоядь по русским историческим документам XVII века, канд. дис., Л., 1955, стр. 117.

⁴ Н. А. Миненко, Северо-Западная Сибирь в XVIII — первой половине XIX в., Новосибирск, 1975, стр. 152, 153.

⁵ См. «Общественный строй у народов Северной Сибири» М., 1970, стр. 39; Л. В. Хомич, Ненцы, М.—Л., 1966, стр. 51; И. С. Вдовин, Очерки истории и этнографии чукчей, М.—Л., 1965, стр. 9—17, и др.

⁶ До начала XVIII в. также и у «оленных» коряков. См. И. С. Гурвич, Проблема происхождения оленеводческих подразделений северо-восточных палеоазиатов в свете этнографических данных, в сб. «Этногенез народов Северной Азии», I, Новосибирск, 1969, стр. 149, 150.

⁷ «Общественный строй у народов Северной Сибири», стр. 39, 98.

⁸ Е. И. Колычева, Ненцы Европейской России в конце XVII — начале XVIII века, СЭ, 1956, № 2, стр. 79.

⁹ См. «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке», Л., 1937, стр. 238.

¹⁰ Примечательно, что мясо этих оленей всегда фигурировало в перечне той «зверской и отвратительной пищи» (вместе с рыбой, дичью и падалью), которой питались самоеды, и служило обычно одним из главных аргументов для подчеркивания их крайней дикости. Разумеется, что забой самоедами на мясо и шкуру своих домашних оленей имел бы в глазах русских и иностранных путешественников совсем другое значение. См.: М. П. Алексеев, Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей, Иркутск, 1932, т. I, стр. 201, 272; «Сибирские летописи», СПб., 1907, стр. 243, 263.

охоты, т. е. промысла¹¹. Наконец, совершенно недвусмысленная характеристика хозяйства самоедов середины XVIII в. дана у И. Г. Георги:

«У них (самоедов) почти у всякого есть по несколько, а у иных по 100 и по 150 смиренных оленей. Они ездят на них верхом и впрягают их в санки; едят же только издохших или изувеченных; однако ж убивают иногда для жертвоприношения и здоровых... Звериная и рыбная ловля могут почестся общими упражнениями и главнейшими отраслями пропитания. В странах их водятся наиболее и к наивысшей их пользе дикие олени, которыми они наипаче питаются, кожами их одеваются, покрывают свои юрты, спят на них; мясо и рыба служат им вседневною и непрременною пищею»¹².

О малочисленности домашних оленей у тундровых ненцев XVII в. свидетельствует и тот факт, что, по сообщениям многих авторов того времени¹³, оленей в упряжку запрягали обычно по одному, реже — по два. В настоящее время, как известно, все северные самодийские оленеводы (ненцы, энцы, нганасаны) запрягают в легковые нарты зимой обычно три — пять, а летом даже пять — семь оленей. Наконец, во многих источниках XV—XVII вв. говорится о широком использовании самоедами для перевозок не только оленей, но и домашних собак. Согласно М. Г. Левину, еще в конце XV в. собачий транспорт был шире распространен и более доступен, чем оленный, и лишь постепенно был вытеснен последним¹⁴. Следовательно, даже транспортное значение ненецкого оленеводства в XVI—XVII вв. могло быть не столь уж значительным, как это представлялось впоследствии многим исследователям.

Приведенные выше материалы дают нам все основания полагать, что экономика ненцев XVI—XVII вв., несмотря на наличие у них небольшого числа транспортных домашних оленей, в целом имела скорее промысловый, т. е. присваивающий характер. Главную роль в жизни ненцев XVII в. играли, как видно, не оленеводство, а охота и рыболовство; мясо диких животных (в первую очередь диких оленей), птица и рыба служили ненцам основной пищей; из шкур диких оленей и пушных зверей они шили одежду и обувь, делали постели, покрывки для жилищ и т. п. Наконец, даже ясак и другие подати самоеды XVII в. платили, видимо, шкурами и ровдугами тех же диких оленей, а не домашних, как считал С. В. Бахрушин¹⁵. Немногочисленные домашние олени, которые, возможно, имелись даже не в каждом хозяйстве¹⁶, служили исключительно как транспортные и жертвенные животные¹⁷ и забивались на мясо только при самых крайних обстоятельствах¹⁸.

¹¹ См., например, у Исаака Массы (1612 г.), Адама Олеария (1647 г.) (М. П. Алексеев, Указ. раб., стр. 249, 250, 285); Юрия Крижанича (ок. 1680 г.) (А. Титов, Сибирь в XVII веке, М., 1890, стр. 189).

¹² И. Г. Георги, Описание всех обитающих в Российском государстве народов также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей, ч. III, СПб., 1777, стр. 7—9.

¹³ Исаака Массы, Иеронима Мегизера, Джона Мильтона (М. П. Алексеев, Указ. раб., стр. 250, 273, 296 и др.). См. также: П. М. де Ламартиньер, Путешествие в северные страны, «Зап. Моск. археолог. ин-та», т. XV, 1912, стр. 48, 49; Б. О. Долгих, Очерки по этнической истории ненцев и энцев, М., 1970, стр. 134.

¹⁴ М. Г. Левин, О происхождении упряжного собаководства, СЭ, 1946, № 4, стр. 101; Г. М. Василевич, М. Г. Левин, Указ. раб., стр. 79.

¹⁵ Это убедительно показал на примере энцев и канинских ненцев Б. О. Долгих (Б. О. Долгих, Указ. раб., стр. 25, 26, 133, 134).

¹⁶ «Для XVII в. наибольшая известная нам численность оленьего стада у ненцев — 100 голов (Е. И. Колычева, Указ. раб., стр. 79). У нганасан середины XIX в. при господстве такой же системы хозяйства каждая семья имела не более 10 оленей (см. А. А. Попов, Нганасаны, «Труды Ин-та этнографии» (далее — ТИЭ), т. 3, М.—Л., 1948, стр. 55).

¹⁷ Домашние олени также, видимо, служили издавна средством уплаты за невесту.

¹⁸ О том, какой редкостью в то время было мясо домашних оленей, можно судить хотя бы по тому, что де Ламартиньеру и его спутникам за все время своего путешествия удалось поесть его только один раз — на званом приеме, устроенном в их честь в Пустозерске московским воеводой (см. де Ламартиньер, Указ. раб., стр. 55).

Разумеется, мы не собираемся здесь ставить под сомнение сам факт наличия у ненцев в XVII в. или даже в более раннее время транспортного оленеводства. Однако, по нашему мнению, использование домашних оленей для транспорта еще не равнозначно понятию «олeneводческое хозяйство», под которым надо все же понимать особый вариант скотоводческой экономики, основанной на широком использовании (прежде всего в питании и бытовом материальном производстве) домашних оленей или получаемых от них различных побочных продуктов. Такого оленеводческого хозяйства у ненцев XVI—XVII вв. еще не было. Добавим также, что в отличие от некоторых других народностей Северной Евразии ненцы в XVII в. (как и в более позднее время), по всей вероятности, не использовали в пищу оленье молоко или молочные продукты. Поэтому совершенно прав, на наш взгляд, В. А. Шнирельман, утверждающий, что «Проникновение производящей экономики и проникновение отдельных домашних животных — далеко не равнозначные явления. В первом случае происходит постепенное вытеснение старых форм хозяйства производящей экономикой, ...во втором — проникновение домашних животных приводит лишь к интенсификации старой формы хозяйства — охоты»¹⁹. По мнению В. А. Шнирельмана, последняя ситуация была как раз характерна для охотничьих народов Сибири, у которых «олeneводство... существовало лишь в качестве отдельных скотоводческих элементов (разрядка наша.— И. К.), не определяя основного направления их хозяйства»²⁰.

Поэтому представляется, что между оленеводством тундровых ненцев XVII в. и крупнотабунным оленеводческим хозяйством ненцев XIX—XX вв. существовали не просто качественные, но принципиальные различия. В первом случае — это отдельные элементы скотоводства в рамках в целом промыслового хозяйства, во втором — развитая форма производящей экономики в виде кочевого скотоводства мясо-шкурного направления. С этих позиций ненцев XVI—XVII вв. было бы, видимо, правильней считать не «олeneводами», а «поздними охотниками», и соответственно не объединять их с ненцами XIX—XX вв. в едином хозяйственно-культурном типе «олeneводо-в тундры» (как это традиционно делается), а относить их к иному, особому типу. Этот хозяйственно-культурный тип, не получивший пока своего определения в нашей литературе²¹, может быть назван «охотники-олeneводо-в тундры и лесотундры»²². Для него характерны: преобладающее значение в хозяйстве охоты (на дикого оленя, линную птицу, пушного зверя) и рыболовства; менее мобильный по сравнению с настоящим крупнотабунным оленеводством, образ жизни; резкая сезонная изменчивость основных видов хозяйственной деятельности; наличие небольшого числа транспортных домашних оленей; питание мясом диких зверей, птиц и рыб; употребление в пищу мяса домашних оленей только в крайних обстоятельствах; одежда из шкур диких оленей или других диких зверей; жилище: летнее — «палатка

¹⁹ В. И. Шнирельман, Некоторые проблемы происхождения и распространения животноводства, СЭ, 1974, № 3, стр. 50.

²⁰ Там же, стр. 50, 51. Надо, впрочем, отметить, что это положение не является общепризнанным и идет вразрез, например, с традиционным отнесением охотников-олeneводо-в Сибири в целом к группе «скотоводческих народов».

²¹ Как известно, к пяти выделенным М. Г. Левиным на территории Северной Сибири хозяйственно-культурным типам Я. В. Чеснов предложил в 1970 г. добавить еще один — охотников тундры и лесотундры (см. Я. В. Чеснов, О социально-экономических и природных предпосылках возникновения хозяйственно-культурных типов, СЭ, 1970, № 6, стр. 16), однако он в данном случае имел в виду безоленных (пеших) охотников.

²² Правильнее было бы назвать этот хозяйственно-культурный тип «охотники-рыболо-во-олeneводо-в тундры», подчеркнув этим высокую роль в хозяйстве рыболовства; но для удобства мы все же будем употреблять более краткое название.

из оленьих шкур, подпертая кольями и шестами»²³ (чум?); зимнее — полуземлянка круглой формы с высокой конической крышей, покрытая шкурами диких оленей или даже дерном²⁴. В некоторых наиболее благоприятных местах на побережье важным элементом данного хозяйственного комплекса был также летний промысел морского зверя²⁵.

Помимо ненцев XVI—XVII вв., представителями этого же хозяйственно-культурного типа «охотников-оленоводов тундры» могут считаться энцы XVII—XVIII вв., чукчи XVII в., нганасаны (до середины XIX в.), тундровые оленные юкагиры (до начала XX в.). Наличие в хозяйстве всех этих народностей немногочисленных домашних оленей нисколько не меняло его общий промысловый характер. Как и у ненцев XVII в., олени здесь использовались почти исключительно для транспорта, а пищу, одежду, материалы для жилища и бытовых нужд давали охота и рыболовство.

Более поздние этнографические материалы о ненцах XVIII—XIX вв. дают нам возможность проследить, как на основе хозяйства таких оленьих охотников и рыболовов вырастает подлинное крупнотабунное тундровое оленеводство.

Со второй трети XVIII в. во всей тундровой полосе, заселенной ненцами, начинается неожиданно быстрый рост поголовья домашних оленей, которое к концу XVIII в. достигло в европейской тундре 160 тыс. голов²⁶. Если еще в XVII в. максимальный размер стада у европейских ненцев составлял всего 100 голов²⁷, то к концу XVIII в. богатые оленеводы-ненцы имели уже по 1000 и более домашних оленей, средние — 100—200, а бедные не менее 10²⁸. Еще более высокие цифры приводятся у И. И. Лепехина: богатые ненцы — 1500—2000 оленей, средние — 500—700, малоимущие — 20—30, бедные — 10²⁹. Наконец, у сибирских ненцев в это время (1774 г.) «олений бывает у скуднейшего до десяти, у богатого стадо до трех тысяч езжалых, но кроме сих уже за множеством неизвестное ему число ненаезженных оленей по тундре в стадах просто шатаются»³⁰.

Итак, перед нами несомненно резкий скачок в развитии ненецкого оленеводства, произошедший за каких-нибудь сто лет. Однако столь бурное развитие крупнотабунного оленеводства не привело сразу же к радикальной перестройке экономики ненцев. Домашние олени, число которых нередко измерялось уже сотнями и тысячами голов на одно хозяйство, все так же использовались лишь как транспортные животные, а пищу, материалы для одежды, жилища и бытовых нужд по-прежнему поставляли охота и рыболовство. В. Ф. Зуев специально подчеркивал, что «их (самоедов) экономию можно разделить так, что рыболовство их пропитание, а олени богатство заключают. Оленные мужики, которые стадам своим щету не знают, равным образом жалуются на голод во

²³ «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке», стр. 115.

²⁴ Описание такого жилища имеется, например, у И. Г. Георги: И. Г. Георги, Указ. раб., стр. 7.

²⁵ Примечательно, что именно так В. Г. Карцов описывал хозяйство азиатских ненцев XV—XVII и даже XVIII вв. еще в 30-е годы. См. В. Г. Карцов, Очерк истории народов Северо-Западной Сибири, М., 1937, стр. 14, 15 и сл.

²⁶ В. Н. Латкин, Дневник во время путешествия на Печеру в 1840 и 1843 гг., «Зап. ИРГО», кн. VII, СПб., 1853, ч. 1, стр. 106, 107.

²⁷ Е. И. Кольчева, Указ. раб., стр. 79. Считая в среднем даже по 30—40 оленей на одно хозяйство, общую численность домашних оленей у европейских ненцев в XVII в. (около 300 хозяйств) можно определить всего в 10—12 тыс. голов.

²⁸ «Вопросы и ответы о состоянии земли, обитаемой самоедами и о их промыслах», «Новые ежемесячные сочинения», СПб., 1787, ч. IX, март, стр. 4, 5.

²⁹ И. Лепехин, Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства, ч. IV, СПб., 1805, стр. 229.

³⁰ В. Ф. Зуев, Материалы по этнографии Сибири XVIII в., ТИЭ, т. 5, М.—Л., 1947, стр. 32.

время недостатку рыбы, как и бедные. А богатый сносит тот же голод... а оленей своих бить жалеет»³¹.

Налицо, следовательно, резкое несоответствие социально-экономического и пищевого (точнее, производственно-пищевого) значения крупнотабунного оленеводства у ненцев в конце XVIII в. Интересно, что точно такая же картина наблюдалась в это самое время и на северо-востоке Азии у чукчей, где также происходил неожиданно бурный рост тундрового оленеводства³². Несмотря на огромное количество домашних оленей (до 10 тыс. у богатых оленеводов), оленные чукчи «наипаче питаются всякою дичью и птицами, околелыми оленями (ибо здоровых, сколько бы оных у них не было, убивать не любят), морскими зверями, выброшенными на берег китами и раковинами»³³. Наконец, и у нганасанов в 20—30-е годы XX в., т. е. уже 50—80 лет спустя после того как они стали крупнейшими оленеводами в таймырских тундрах, домашние олени, по данным А. А. Попова, также служили исключительно средством передвижения, и поэтому чрезвычайно ценились и оберегались их хозяевами. Пища у нганасанов была по преимуществу мясная или рыбная; употреблялось главным образом мясо диких оленей, домашних же забивали на мясо только в самых исключительных случаях³⁴. Интересно, что «мясо и жир дикого оленя являлись любимой пищей нганасанов, к которой они относились почти с благоговением, в то время как к мясу домашних оленей отношение было сравнительно равнодушное»³⁵. Еще в начале XX в. оленеводы-нганасаны всю одежду, обувь, постели, покрывала для чумов делали из шкур диких оленей, добываемых на охоте.

Как видно, подобное «несоответствие» внешней (социально-экономической) и внутренней (производственно-пищевой) функции крупнотабунного оленеводства не являлось исключительной особенностью ненецкой экономики конца XVIII в. Скорее можно предположить, что такая ситуация характерна в целом для крупнотабунного тундрового оленеводства в начальный период его становления. Судя по материалам А. А. Попова о нганасанах, в обществе на этом этапе еще господствуют традиции прежнего, малооленного образа жизни — стремление максимально беречь домашних оленей; не ездить на них летом, а передвигаться пешком³⁶; забивать их бескровными способами, поскольку «грешно» якобы проливать их кровь³⁷ и т. д. Наконец, самым главным таким пережитком, бесспорно, может считаться уже само нежелание забивать домашних оленей на мясо и шкуру, в то время как достигнутый размер поголовья позволял это делать без всяких ощутимых потерь.

Все это дает нам основание предположить, что неожиданно быстрый расцвет крупнотабунного оленеводства у ненцев в XVIII в. (как, видимо, и у других народов в это же или более позднее время) не был вызван причинами чисто экономического характера: кризисом прежних видов хозяйственной деятельности или истощением традиционных пищевых ресурсов (в первую очередь истреблением стад диких оленей) или, наконец, закономерной внутренней эволюцией самого местного оленеводства.

³¹ В. Ф. Зуев, Указ. раб., стр. 68. Интересно, что, по данным В. Ф. Зуева, сибирские (обдорские) ненцы в конце XVIII в. запрягали в легковую нарту по два-три, иногда даже четыре оленя, т. е. на один-два больше, чем в XVII в., но и на два-три меньше, чем в начале XX в. (В. Ф. Зуев, Указ. раб., стр. 88).

³² И. С. Вдовин, Указ. раб., стр. 17, 18.

³³ И. Г. Георги, Указ. раб., стр. 83.

³⁴ А. А. Попов, Указ. раб., стр. 55, 95.

³⁵ Б. О. Долгих, Происхождение нганасанов, «Сибирский этнографический сборник», I, ТИЭ, т. 18, М.—Л., 1952, стр. 8.

³⁶ Это же, как известно, было характерно в недалеком прошлом и для долган и вплоть до настоящего времени — для коряков и чукчей.

³⁷ А. А. Попов, Указ. раб., стр. 95. У ненцев в конце XVIII — начале XIX в. этот пережиток сохранялся уже в виде бескровного убийства только жертвенных оленей (И. Г. Георги, Указ. раб., стр. 10; Вениамин арх., Самоеды мезенские, «Вестник ИРГО», 1855, ч. 14, стр. 120, 121); Л. В. Хомич, Указ. раб., стр. 207.

ва. Напомним, что в советской этнографической литературе пока нет общепринятого объяснения причин столь быстрого становления крупнотабунного оленеводства у народностей Крайнего Севера в XVIII в. Одни авторы связывают его с включением Сибири в состав Русского государства, установлением правопорядка, прекращением междоусобных конфликтов и поддержкой русской администрацией «частнособственнических тенденций богатых оленеводов»³⁸. При всей справедливости такого объяснения оно все же не может, на наш взгляд, быть признано окончательным и прежде всего потому, что во всех главных районах становления крупнотабунного оленеводства в XVII — начале XVIII в. (территории расселения оленных коряков и чукчей, пустоозерских и обдорских ненцев, предков тундровых энцев) обстановка была крайне неустойчивой, и столкновения народностей Севера как между собой, так и с русскими продолжались с неослабевающей силой. Поэтому здесь, видимо, скорее следует говорить о благоприятной тенденции, нежели о главной причине становления оленеводства. Некоторые авторы вообще предпочитают не указывать прямо такой причины и называют в качестве дополнительных благоприятных факторов: ограбление соседей и развитие торговли с русскими (для чукчей³⁹), сокращение поголовья диких оленей и необходимость расширения пушного промысла (для ненцев⁴⁰), начало регулярных откочевываний на лето в тундру (для предков энцев⁴¹) и т. п. Наконец, в самое последнее время появились попытки связать становление крупнотабунного оленеводства с изменениями экологических условий Крайнего Севера, однако они сделаны либо в очень общей форме⁴², либо не совпадают с имеющимися историческими материалами⁴³.

По нашему мнению, проблему становления крупнотабунного оленеводства следует решать, учитывая одновременно действие и социально-экономических, и экологических факторов⁴⁴. Анализ статистики оленеводства XIX—XX вв. по Европейскому Северу показывает, что численность поголовья домашних оленей испытывает сложные многолетние колебания, при которых продолжительные периоды подъема чередуются с такими же периодами стабилизации и даже сокращения поголовья. Подобные многолетние (50—70 лет) колебания численности известны и для дикого северного оленя и лося — двух видов копытных, наиболее близких домашнему северному оленю. У диких животных такие колебания численности вызваны последовательным чередованием экологически благоприятных и неблагоприятных периодов, которое связывают обычно с общей цикличностью изменений климата. Такие же благоприятные и неблагоприятные периоды должны существовать и для домашнего северного оленя, поскольку при крайне примитивном экстенсивном кочевом оленеводстве условия существования домашних и диких животных почти не различаются. Суммировав известные материалы о влиянии климата в оленеводческом хозяйстве, удалось установить, что экологически неблагоприятными для северного оленя являются периоды с более

³⁸ «Общественный строй у народов Северной Сибири», стр. 54, 98—100.

³⁹ И. Б. Вдовин, Указ. раб., стр. 17—20.

⁴⁰ Л. Б. Хомич, Указ. раб., стр. 51.

⁴¹ Б. С. Долгих, Очерки по этнической истории ненцев и энцев, стр. 134.

⁴² Н. С. Диков, Эпоха первобытной общины, в кн.: «Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней», Магадан, 1974, стр. 70.

⁴³ В. С. Диков, Л. С. Дикова, Г. Н. Грачева, Появление оленеводства в тундровой зоне Европейского Севера и Средней Сибири, Тезисы докладов конференции «Формы перехода от охотничьего хозяйства к производящему», Л., 1974, стр. 81—86.

⁴⁴ Эти вопросы были подробно рассмотрены автором в отдельной статье (см. И. И. Гусев, Природная среда и эволюция тундрового оленеводства, в сб. «Карта, схема, этнографическая география», Л., 1976). Поэтому здесь, без ссылок на специальную литературу.

теплым климатом⁴⁵, а экологически благоприятными — с более холодным. Согласно составленной нами на основе имеющихся палеогеографических данных схеме исторических изменений климата Арктики в текущем тысячелетии, в интересующий нас отрезок времени (XVI—XVIII вв.) таких благоприятных периодов было два: 1570—1650 гг. и 1720—1830 гг. (даты даются округленно).

В благоприятные периоды создаются как бы естественные предпосылки для развития оленеводства, поскольку резко уменьшается смертность домашних оленей, улучшается их физическое состояние, увеличиваются темпы естественного воспроизводства поголовья. Однако если мы обратимся к динамике социальных процессов на Крайнем Севере, то увидим, что первый период (1570—1650 гг.) — это, как известно, эпоха основного завоевания Сибири русскими, время резкого обострения обстановки на Севере, усиления войн и междоусобных столкновений. Такие условия могут, бесспорно, считаться социально неблагоприятными для развития оленеводства. Напротив, во второй период (1720—1830 гг.) уже отчетливо проявляется действие положительных социально-экономических факторов, связанных с укреплением государственной власти на Севере. В условиях быстрого роста поголовья домашних оленей такие благоприятные социальные тенденции способствовали скорейшему развитию новых хозяйственных отношений, накоплению опыта и навыков нового типа использования территории, наконец, стабилизации численности оленей. Поэтому столь бурный рост крупнотабунного оленеводства в этот период и явился результатом действующих одновременно благоприятных социальных и экологических изменений, которые привели к развитию сходных хозяйственных процессов в разных частях тундровой полосы Северной Евразии.

Становление крупнотабунного оленеводства постепенно вело к коренной перестройке хозяйственной и социальной организации ненецкого общества. С общим ростом поголовья домашних оленей резко возросло имущественное и социальное неравенство среди ненцев⁴⁶. В условиях переходной промыслово-оленьеводческой экономики большой табун оленей создавал для богатого хозяина-ненца целый ряд дополнительных экономических и социальных преимуществ⁴⁷. В ненецком обществе постепенно выделяется прослойка богатых оленеводов — «оленных хозяев», пользующихся влиянием и уважением соплеменников, поддержкой и покровительством русской администрации. Наконец, несомненно, самым тесным образом связан со становлением крупнотабунного оленеводства и начавшийся с середины XVIII в. процесс изменения социальной структуры ненецкого общества: распад больших «первоначальных» родов и образование патронимических объединений («ватаг») — зародышей многих будущих родов XIX—XX вв.⁴⁸

⁴⁵ Известно, что тундровый северный олень очень плохо приспособлен к действию высоких летних температур (выше +10°), и уже при +15° С в его организме происходит ряд физиологических нарушений. Поэтому олени обычно очень тяжело переносят теплое лето — они плохо откармливаются, худеют, страдают от кровососущих насекомых. После такого лета плохо проходит гон, возрастает смертность оленей в зимнее и весеннее время, рождается слабый приплод.

⁴⁶ В. Ф. Зуев, Указ. раб., стр. 32; И. Лепехин, Указ. раб., стр. 223; «Новые ежемесячные сочинения», ч. IX, стр. 4, 5; А. И. Андреев, Описания о жизни и упражнениях обитающих в Туруханском и Березовском округах разного рода ясачных инверцах, СЭ, 1947, № 1, стр. 100.

⁴⁷ О значении оленей в промысловом охотничьем хозяйстве (на примере эвенков) см.: Н. М. Ковязин, Оленеводство в Эвенкийском национальном округе, «Очерки по промысловому хозяйству и оленеводству Крайнего Севера», Л., 1936.

⁴⁸ См. об этом подробнее: В. И. Васильев, Социальная организация азиатских ненцев, энцев и нганасан, «Общественный строй у народов Северной Сибири», стр. 189—198; его же, Самодийское население низовьев Енисея, канд. дис., М., 1968, стр. 243—247; Н. А. Миненко, Указ. раб., стр. 178, 179.

Однако все эти хозяйственные и социальные изменения, естественно, растягивались на длительный отрезок времени. В целом этот «переходный» период продолжался примерно 50—70 лет после становления у ненцев крупнотабунного оленеводства, т. е. примерно до рубежа XVIII—XIX вв. Все это время, как можно судить по источникам XVIII в., крупнотабунное оленеводство продолжало существовать в качестве подсобной отрасли в рамках в целом промыслового хозяйства. Весь образ жизни ненцев по-прежнему подчинялся еще производственным интересам охоты и рыболовства, нередко даже в ущерб оленеводству⁴⁹, а их хозяйственный год все так же резко делился по сезонам в зависимости от преобладающего вида промысла. Соответственно по-прежнему различалось по сезонам года и питание ненцев — летом в основном преобладала рыба и птица, зимой — мясо диких оленей, лосей и других животных.

Конечным рубежом этого переходного периода, по нашему мнению, следует считать начало регулярного забивания ненцами собственных домашних оленей на мясо и шкуру, которое можно фиксировать уже по этнографическим материалам начала и даже середины XIX в. Именно с этого момента, на наш взгляд, ненецкое оленеводство наконец становится формой производящей экономики, а ненецкое хозяйство собственно «олeneводческим» в полном смысле этого слова. Такой переход был связан самым непосредственным образом с резким сокращением численности диких оленей на всей территории обитания ненцев. Традиционно считается, что дикий олень был истреблен человеком в результате хищнической охоты. Однако правильной, по-видимому, было бы говорить не о прямом его истреблении, а о вытеснении дикого оленя домашним в тундровых экосистемах, поскольку и дикий олень, и домашний питаются одной и той же растительностью и в этом отношении являются конкурентами⁵⁰. Быстрый рост поголовья домашних оленей неизбежно повлек за собой нарушение экологического равновесия в тундровых биоценозах, что привело в итоге к вытеснению более слабой, точнее, не охраняемой человеком популяции диких оленей.

Эта картина наблюдалась по всей территории тундр Северной Евразии по мере развития крупнотабунного оленеводства. К началу XIX в. дикие олени почти полностью исчезли на территории расселения европейских ненцев и оленных коряков, в середине XIX в. — на Чукотке, к началу XX в. их число резко сократилось на Полярном Урале, Колыском полуострове, в низовьях Колымы и на севере Якутии; в настоящее время близки к исчезновению популяции диких оленей на Ямале и Гыданском полуострове⁵¹.

Не следует, конечно, считать, что поголовье диких оленей сокращалось так же быстро и в той же степени, как росло поголовье домашних, оно постоянно пополнялось, особенно в начальный период развития крупнотабунного оленеводства, за счет убежавших и одичавших домашних оленей. Поэтому если в целом процесс вытеснения дикого оленя домашним носил необратимый характер, фактически он растягивался обычно не менее чем на 60—100 лет, а в некоторых районах Средней и Западной Сибири до сих пор еще не закончился.

⁴⁹ В. Ф. Зуев, Указ. раб., стр. 35; Е. И. Колычева, Указ. раб., стр. 77; «Новые ежемесячные сочинения», ч. VIII, 1787, стр. 30. Такая же картина, как известно, наблюдалась и у других северных народностей на этой стадии развития оленеводства — чукчей середины XVIII в. (И. С. Вдовин, Указ. раб., стр. 12—15), иганасан начала XX в. (А. А. Попов, Указ. раб., стр. 19) и др.

⁵⁰ См., например: Л. М. Баскин, Северный олень. Экология и поведение, М., 1970; «Дикий северный олень в СССР», М., 1975, и т. д.

⁵¹ Подробней об этом см.: Н. П. Наумов, Дикий северный олень, М.—Л., 1933; И. В. Друри, Дикий северный олень Советской Арктики и Субарктики, М.—Л., 1949; В. Г. Гептнер, А. А. Насимович, А. Г. Банников, Млекопитающие Советского Союза, т. I, М., 1961; Л. Н. Мичурин, О хозяйственном значении диких оленей на Крайнем Севере, «Проблемы Севера», вып. 11, М., 1967; «Дикий северный олень в СССР», и др.

Однако все же в какой-то момент неизбежно наступает тот качественный скачок, когда охота на дикого оленя уже не в состоянии обеспечить все потребности хозяйства в пище и, главным образом, материалах для одежды, жилища и т. п., и появляется, как мы уже отмечали, необходимость в регулярном забое домашних оленей. У европейских ненцев и чукчей этот скачок, как уже отмечалось, произошел в начале XIX в., в то время как у сибирских ненцев, энцев, иганасан, долган он пришелся только на конец XIX — начало XX в.

Более быстрый переход европейских ненцев к регулярному употреблению в пищу мяса домашних оленей был, на наш взгляд, значительно ускорен под влиянием коми-зырянского (ижемского) оленеводства, которое уже с самого момента своего возникновения (конец XVIII в.) являлось высокотоварной формой производящего хозяйства. Регулярные забои ижемцами огромного количества домашних оленей на мясо и шкуру⁵² (до 15—20 тыс. ежегодно в середине XIX в.⁵³), максимальное использование ими всех побочных продуктов забоя оленей (сала, рогов, подшейного волоса и т. п.) и широкая продажа ненцам оленьего мяса несомненно способствовали разрушению прежнего отношения ненцев к своим домашним оленям и стимулировали развитие у них подлинной производящей экономики. К тому же крупнотабунное оленеводство ижемцев еще в большей степени, чем ненецкое, способствовало быстрому вытеснению в европейских тундрах диких северных оленей.

Поэтому именно с середины XIX в. во всей этнографической литературе начинает особенно подчеркиваться преобладающее значение оленеводства в жизни ненцев. По словам В. Иславина, оленеводство «...заменяет самоеду всякое другое хозяйство... в тундре без оленя нельзя быть и без него самоед нищий»⁵⁴. С этого времени мясо домашних оленей сделалось постоянным (хотя и лакомым) продуктом питания — «оно заменяет для самоедов всякую другую пищу и стало, можно сказать, необходимым»⁵⁵. Оленеводство постепенно превращается в развитую, а затем в товарную форму производящего хозяйства, дающую ненцам мясо, сало и кровь для питания; шкуру, кожу, сухожилия, рога, подшейный волос — для бытового производства и поделок⁵⁶; товарную продукцию — для обмена.

Как видно, столь высокая степень «утилитарности» ненецкого оленеводства XIX — начала XX в. прямо свидетельствует о зрелости и современности этой отрасли хозяйства, а не о ее древности и архаичности, как считал в свое время В. Г. Богораз⁵⁷. Оленеводы начинают постоянно убивать животных из собственного стада, питаться их мясом и одеваться в их шкуры не сразу же при переходе от охоты на дикого оленя к такой же «охоте на домашнего», а лишь на заключительной стадии развития оленеводства, да и то нередко под влиянием торговли или более прогрессивного оленеводства своих соседей. Между этой заключительной и начальной стадией развития крупнотабунного оленеводства протекает, как мы уже отмечали, довольно значительный (по-видимому, не менее 50—70 лет⁵⁸) отрезок времени, за который должны обязательно про-

⁵² В. Н. Латкин, например, сообщает об организованном одним богатым ижемцем забойном пункте, где в отдельные годы забивалось по тысяче и более оленей (В. Н. Латкин, Указ. раб., стр. 117).

⁵³ Вл. Иславин, Самоеды в домашнем и общественном быту, СПб., 1847, стр. 71, 72.

⁵⁴ Там же, стр. 39.

⁵⁵ Там же, стр. 34.

⁵⁶ «Народы Сибири» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1956, стр. 614, 615; Л. В. Хомич, Указ. раб., стр. 56.

⁵⁷ В. Г. Богораз, Оленеводство. Возникновение, развитие и перспективы, «Труды лабораторий генетики», т. I, Л., 1933, стр. 243.

⁵⁸ По нашим подсчетам, у европейских ненцев и чукчей этот период занимает 50—80 лет (середина XVIII — начало XIX в.), у иганасан — 80—100 лет (середина XIX — середина XX в.), у сибирских ненцев, по-видимому, более 100 лет (середина XVIII —

изойти постепенная хозяйственная и социальная перестройка общества охотников-оленоводов и, наконец, коренная ломка всех прежних психических стереотипов и представлений, направленных на сохранение и максимальное оберегание оленьего поголовья. Именно в этот «переходный» период под защитой подобных представлений «пережитков» и происходит укрепление крупнотабунного оленеводства, вырабатываются принципиально новые методы и навыки использования территории, приобретает опыт крупнотабунного выпаса и охраны поголовья — без всего этого становление оленеводства как господствующей формы тундрового производящего хозяйства было бы, на наш взгляд, невозможным⁵⁹.

Переход от присваивающей экономики к производящей, т. е. от охоты и рыболовства к крупнотабунному кочевому оленеводству, несомненно, должен был способствовать быстрому увеличению численности ненцев. Такое увеличение действительно происходит, но начинается оно, как и следовало ожидать, не с появлением первых крупных стад домашних оленей (середина и конец XVIII в.), а с началом регулярного употребления в пищу оленьего мяса. В XVI—XVII вв., при господстве у европейских ненцев промыслового хозяйства, их численность составляла всего примерно 1300—1400 чел. и практически не увеличивалась⁶⁰. Можно предположить, что это был тот самый «оптимум населения», который был возможен на данной ограниченной территории при данном уровне развития хозяйства. Зато с конца XVIII в. за каких-нибудь 80 лет (1780—1860 гг.) численность европейских ненцев увеличилась более чем в четыре раза, после чего, достигнув цифры 5,5—6 тыс. чел., дальше не увеличивалась и в течение последующих ста лет колебалась на этом уровне (рис. 1—2)⁶¹. Поэтому мы можем считать, что 5,5—6 тыс. чел. — это достигнутый «оптимум населения» на той же самой территории при новой, более производительной форме хозяйства и что соответственно крупнотабунное оленеводство способно прокормить в 4—4,5 раза большее население, чем охота и рыболовство.

Примечательно, что точно такое же соотношение (1:4,4) наблюдалось и на северо-востоке Азии у оленных чукчей, численность которых в XVIII в. составляла около 2 тыс. чел., а к концу XIX в. достигла 8,8 тыс. чел., после чего опять-таки больше не увеличивалась⁶². Следовательно, и здесь крупнотабунное оленеводство оказалось в 4,5 раза более производительной формой использования территории, чем охота на дикого оленя⁶³; за неимением других данных мы и будем придерживаться впредь этой цифры.

В итоге, резюмируя изложенный выше материал, мы можем выделить следующие этапы развития оленеводства у тундровых ненцев.

I. Начальный период (с появления в тундре древних самодийцев или, возможно, даже с появления первых домашних оленей у коренного населения тундры — до начала XVIII в.). Комплексное про-

конец XIX в.), у тундровых энцев и ненцев (юраков) низовьев Енисея — около 150 лет (конец XVIII — начало XX в.).

⁵⁹ Об этом свидетельствуют, например, хорошо известные по историческим и фольклорным материалам случаи попадания больших групп домашних оленей в руки охотников или ранних оленеводов, которые обычно заканчивались быстрой гибелью или уничтожением поголовья.

⁶⁰ Б. О. Долгих, Очерки по этнической истории ненцев и энцев, стр. 22.

⁶¹ Примечательно, что при общем быстром росте всех европейских ненцев за эти 80 лет, численность западных (канинских и тиманских) ненцев особенно возросла в 90-х годах XVIII в., а восточных (большеземельских) — только в 40—50-е годы XIX в., что полностью соответствует имеющимся данным о более раннем исчезновении дикого оленя в западной части европейской тундры по сравнению с восточной.

⁶² Б. О. Долгих, Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке, ТИЭ, т. 55, М., 1960, стр. 554, 555; И. С. Гурвич, Этническая история северо-востока Сибири, ТИЭ, т. 89, М., 1966, стр. 191, 275.

⁶³ При этом мы, правда, должны принять точку зрения И. С. Вдовина о более широком расселении чукчей в XVI—XVII вв.

мысловое хозяйство с господством охоты и рыболовства и элементами оленеводства; немногочисленные домашние олени используются только для транспорта; питание мясом диких оленей, птиц и рыбой; одежда и жилище из шкур диких оленей или других диких зверей, добываемых охотой; стабильная численность населения.

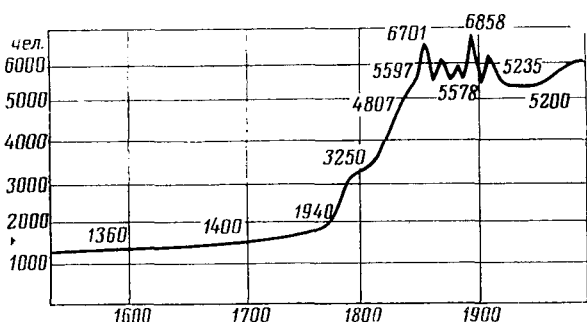


Рис. 1. Изменение численности европейских ненцев в XVI—XX вв. (по: Б. О. Долгих, Очерки по этнической истории ненцев и энцев)

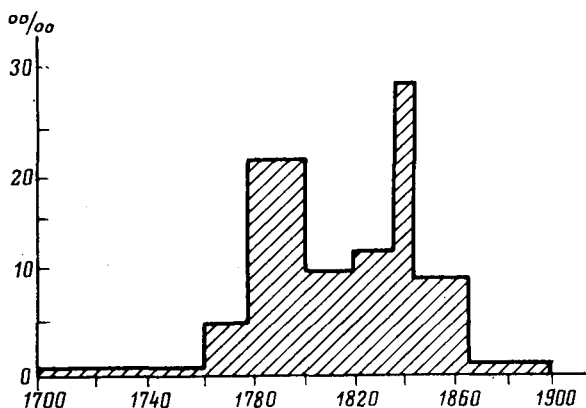


Рис. 2. Изменение темпов естественного прироста европейских ненцев в XVIII—XIX вв. (по данным Б. О. Долгих, Очерки по этнической истории ненцев и энцев)

II. Период становления крупнотабунного оленеводства (начало — конец XVIII в.). Неожиданно бурный рост поголовья домашних оленей; появление крупных (в сотни и тысячи голов) стад; сохранение ведущей роли в хозяйстве охоты и рыболовства, питание мясом диких зверей, птиц и рыбой; одежда и жилище из шкур диких оленей; использование домашних оленей исключительно для транспорта; подчинение оленеводства производственным интересам охоты и рыболовства; господство прежних психических стереотипов, направленных на максимальное оберегание оленьего поголовья. Резкое усиление имущественного неравенства; начало хозяйственной и социальной перестройки ненецкого общества. Население сохраняется на прежнем уровне и начинает медленно возрастать только к концу периода.

III. Период превращения оленеводства в форму производящего хозяйства (конец XVIII — середина XIX в.)⁶⁴.

⁶⁴ Для европейских ненцев. У сибирских ненцев этот период заканчивается только к началу XX в., а местами — даже с коллективизацией.

Изменение численности европейских ненцев в XVI—XX вв.**

Дата	Численность	Дата	Численность	Дата	Численность	Дата	Численность
Середина XVI в.	1360	1841	4495	1880	5598	1897	6113
Конец XVII в.	1400	1844	5540	1885	5555	1898	6013
1783 г.	2766	1850	5746	1886	6267	1900	5272
1798 г.	3250	1857	5938	1889	5424	1904	5861
1801 г.	3100	1867	6161	1890	5400	1906	6093
1816 г.	3352	1873	6050	1893	5466	1913	6217
	(3652)	1879	5578	1895	6858	1926	5235
1839 г.	4914						
	(4807)						

* Таблица составлена по: Б. О. Долгих, Очерки по этнической истории ненцев и энцев, стр. 22. Данные об изменении численности европейских ненцев см. также: «Изв. Архангельского общества изучения Русского Севера», 1909, № 8, стр. 51; С. К. Патканов, О приросте инородческого населения Сибири, СПб., 1911, стр. 48; А. И. Бабушкин, Большеземельская тундра, Сыктывкар, 1939, стр. 36, ч. др.

** Резкие скачки численности между соседними датами (особенно начиная с середины XIX в.) отражают в большинстве случаев не реальное движение населения, а его миграции — приход оленеводов из Сибири или, напротив, переселение европейских ненцев за Урал. Такие миграции особенно усиливались в годы массовых падежей домашних оленей от сибирской язвы или копытницы, которые, по собранным данным, повторялись периодически через 10—12 лет: в начале 30-х, в начале 40-х годов XIX в., в 1874—1875, 1886—1888, 1896—1898, 1907, 1915 гг.

Резкое сокращение численности диких оленей и вызванная этим некоторая нехватка пищи и, главным образом, сырья для производства одежды, обуви, жилищ и т. п.; начало регулярного забивания домашних оленей сперва на шкуру, а затем и на мясо; выделение особой плодовой части стада. Быстрый рост численности населения.

IV. Период крупнотабунного кочевого оленеводства как господствующей формы тундровой экономики (середина XIX—30-е годы XX в.). Кочевой образ жизни, всецело подчиняющийся интересам оленеводства; сокращение в хозяйстве роли рыболовства и особенно охоты на мясного зверя; регулярные забои домашних оленей на мясо и шкуру; питание мясом домашних оленей, рыбой и птицей; одежда, обувь и жилище только из шкур домашних оленей; богатство оленевода определяется уже размером не транспортной, а плодовой части стада; превращение оленеводства из натуральной в товарную форму хозяйства; дальнейшее усиление имущественного расслоения, разорение и переход значительной массы бедняков-оленеводов к батрачеству и товарному рыболовству. Население достигает определенной численности и далее вновь остается стабильным.

THE RISE OF LARGE-SCALE REINDEER-BREEDING AMONG THE NENETS OF THE TUNDRA

A concrete case of the transition from food-gathering to food-producing economy is examined in the paper on the example of the rise of reindeer-breeding in large herds among the Nenets of the tundra. The author reaches the conclusion, based upon his study of historical materials, of a comparatively late (middle-to-close of the 18th century) origin of large-scale reindeer-breeding in the tundra zone of Eurasia. Previously the economy of the Nenets (as well as that of the Enets, Nganasans, Chukches, Yukaghirs, etc.) was chiefly founded on hunting wild reindeer and fishing; the extremely small number of domestic reindeer were used exclusively for transportation. Large-scale reindeer-breeding began with the rapid rise in the numbers of domestic reindeer in the 18th century. In its evolution reindeer-breeding passed through several successive changes; it was only by the middle of the 19th century that it became dominant in tundra economy. The rapid increase in the Nenets population during that period indicates that reindeer-breeding permits a 4 to 4.5 times more effective utilization of the natural environment resources than fishing and wild reindeer hunting.

Э. В. Померанцева

СПЕЦИФИКА УСТНОЙ ПРОЗЫ В СВЕТЕ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Для решения этнографических задач на материале фольклора недостаточно выяснения эстетических и культурно-бытовых функций фольклора. Бесспорно, для этого необходимо раскрыть этнические функции фольклора ¹.

При рассмотрении этнических функций фольклора, в частности устной прозы, приходится учитывать не только то, что «этнические свойства фольклора не существуют самостоятельно, вне его эстетических функций» ², но и прочие свойства фольклора, определяющие его своеобразие.

Такие специфические черты фольклора, как вариативность, его постоянная динамика, его «бродячесть» определяют его крайне высокую проницаемость по сравнению с другими компонентами духовной культуры.

Степень же проницаемости устной прозы, «перехожих повестей», по выражению Ф. И. Буслаева, значительнее, чем эпоса и песен, проницаемость которых лимитируется национальными особенностями ритмики, строфики и напева.

Это свойство устной прозы, с одной стороны, определяет ее большую роль в сближении духовной культуры разных народов и благодаря этому ее значение как материала для изучения современных этнических процессов, а с другой стороны, затрудняет это изучение в результате стертости в ней отличительных национальных особенностей, особенно в фольклоре родственных или соседствующих народов.

Известная югославская собирательница и исследовательница фольклора Майя Бошковиц-Стулли в недавно вышедшей в ФРГ книге «Хорватские сказки» ³, говоря о трудности, порой даже невозможности точно установить в многонациональных районах, в чем заключаются специфические особенности сказок того или другого народа, пишет: «Эти особенности можно наметить только приближенно и установить их только в немногих особенно явных случаях» ⁴.

Все же изучение взаимодействия фольклора, в том числе русской устной прозы и устной прозы народов СССР, возможно и является одним из существенных моментов в исследовании современных этнических процессов в многонациональных районах СССР. При этом следует помнить, что роль фольклора во взаимоотношениях разных народов крайне разнокачественна. Сплошь и рядом фольклор воспринимается как знак национального самосознания и как таковой содействует разобщению национальных культур. Общеизвестны и сатирические сказки об инородцах, которые несут в себе черты национальной вражды и неприязни. С другой стороны, фольклор, передаваясь от одного народа к другому, способствует слиянию разных этнических традиций. Именно эта тенденция, безусловно, является ведущей в наше время и опреде-

¹ Ю. В. Бромлей, *Этнос и этнография*, М., 1973, стр. 221.

² Там же.

³ «Kroatische Märchen» (Herausgegeben von Maja Bošković-Stulli), Göttingen, 1975.

⁴ Там же, стр. 272.

ляет пути развития современного фольклорного репертуара, особенно в многонациональном Советском Союзе.

Поэтому не удивительно, что в последние годы в СССР активизировалась работа по собиранию и изучению русского фольклора в национальных республиках. Особенно много в этом отношении сделано в Бурятии, Карелии и главным образом в Башкирии, Молдавии, Латвии.

Вопрос о национальном своеобразии устной прозы и взаимодействии сказок и преданий разных народов не случайно был выдвинут в 1974 г. как один из самых кардинальных для нашей науки на Всесоюзной конференции в Минске. Доклады о взаимодействии литовских и славянских народных сказок (Б. П. Кербелите), русской, украинской и молдавской устной прозы (Р. А. Богомольная), о межнациональных культурных связях, отразившихся в прозаическом фольклоре сибирских народов (Е. В. Баранникова), и ряд других, посвященных аналогичной тематике, вызвали всеобщий интерес⁵. Особенно большого внимания для оценки значения устной прозы как материала для изучения этнических процессов заслуживает доклад Л. Г. Барага «Межнациональные взаимосвязи прозаических жанров»⁶.

Л. Г. Бараг на многочисленных примерах показал, что в наше время происходит крайне широкое взаимодействие местных неславянских и русских сказок в многонациональных районах. Бесспорно высказанное исследователем положение, проверенное многолетней полевой работой: «Характер данного процесса зависит от исторически сложившихся и изменяющихся местных традиций, национального быта и фольклора, на почве которого прививается, трансформируется инонациональный сказочный материал, а также от состояния инонациональной сказочной традиции, ее жизненности»⁷.

Естественно, что по-разному осуществляется взаимодействие русской сказки с местной сказочной традицией на Крайнем Севере и на Кавказе, в Молдавии и республиках Прибалтики, в Поволжье и в Сибири. Вместе с тем основная тенденция при всей разнице конкретных проявлений, степени и длительности изменений, качества и количества многонациональных деталей едина. Это однозначная и последовательная тенденция слияния разных традиций, ассимиляции инонациональных сюжетов и образов, обогащения благодаря этому репертуара новыми сюжетами, освоения иноязычных стилистических формул и приемов.

Чем дальше друг от друга по своей национальной специфике, в частности по языку, взаимодействующие фольклорные традиции (например, фольклор народов Севера и русский фольклор), тем легче обнаружить конкретные черты этого взаимодействия. Чем ближе по своему характеру, историческим судьбам, стилевым особенностям, языку эти взаимодействующие традиции (например, русский и белорусский фольклор, русский и украинский фольклор), тем труднее определить характер этого взаимодействия.

Близость или отдаленность сказочной традиции разных народов определяется не только наличием или отсутствием языкового барьера, но и характером общения тех или других народов, общностью их быта, хозяйства, истории. Недаром А. Н. Веселовский в свое время писал: «Скажите мне, как народ жил, и я скажу, как он писал»⁸.

Однако несмотря на то, что большинство исследователей не сомневается в наличии этнической специфики в сказках любого народа, срав-

⁵ См. «Прозаические жанры фольклора народов СССР. Тезисы докладов на Всесоюзной научной конференции», Минск, 1974, стр. 148—160; см. также: В. К. Соколова, Конференция «Прозаические жанры фольклора народов СССР», «Сов. этнография», 1974, № 6.

⁶ «Прозаические жанры фольклора народов СССР», стр. 57—71.

⁷ Там же, стр. 58.

⁸ А. Н. Веселовский, Разыскания в области русского духовного стиха, вып. 5, СПб., 1889, стр. 115.

нительно редко удается показать это достаточно убедительно на конкретных примерах, очевидно потому, что, говоря словами того же А. Н. Веселовского, «в каждой сказке должно быть и свое и чужое»⁹.

Примером активного взаимопроникновения двух национальных фольклорных традиций являются сказки как русских, так и мокшанских и эрзянских сказочников, бытующие на русском языке в Мордовии.

Национальные особенности мордовского устного творчества и интонационные привнесения в него, которые очень ярко сказываются в эпосе, причитаниях, обрядовом фольклоре, в сказке крайне стерты. Тем не менее характер взаимодействия русской и угро-финской сказочной традиции в Мордовии установить возможно.

Русско-мордовские фольклорные связи являются примером длительного сосуществования и постоянного взаимодействия двух различных национальных культур. «Мордва издавна подвергалась сильному русскому влиянию,— писал Д. К. Зеленин,— и заимствовала у русских немало полужыческих верований, песен, наконец, разнообразных принадлежностей хозяйственного быта и материальной культуры вообще»¹⁰.

Вопрос о взаимодействии материальной и духовной культуры этих двух народов неоднократно исследовался русскими и мордовскими учеными. В свете изучения взаимодействия современного русского и мордовского фольклора имеет большое значение собирательская и исследовательская работа молодого ученого В. И. Костина¹¹, очень убедительно показавшего общность процессов, происходящих в русском и мордовском песенном фольклоре в настоящее время. Именно этим объясняется широкое распространение среди мордвы русских народных бытовых песен.

Аналогичны и наблюдения ныне покойного исследователя А. И. Маскаева, обратившего внимание на то, что любовная лирика бытовала в Мордовии исключительно на русском языке: «Русская песня была понятна как родная и по тексту и по напеву»,— писал он¹². Подтверждением этого является лирическая песня о барине и красавице-мокшанке, записанная Б. Е. Смирновым в 1963—1965 гг. в мокшанском селе Зубово-Полянское и являющаяся мордовской перелицовкой известной русской песни «Вечер поздно из лесочка»¹³.

Собиратели, работавшие в 1974 г. в эрзянском селе Караидель Шатковского района Горьковской области, отмечают, что «сейчас в селе мордовские песни не поют, только иногда на свадьбе. Почти все жители обрусели, сейчас мало кто говорит по-эрзянски». Такое же положение и в соседнем селе Почетаевка¹⁴.

Столь явное в песне взаимодействие русской и мордовской традиции, в сказках, бытующих на русском языке в Мордовии в эрзянских и мокшанских селах, крайне стерто и, при всей явности, неотчетливо. Возможно поэтому мордовско-русским связям в области сказки до сих пор уделялось меньше внимания, чем в области песен, несмотря на то что ставился этот вопрос уже давно, почти сто лет тому назад. Так, например, проф. И. Смирнов в 1886 г. опубликовал статью «Несколько слов о русском влиянии на инородцев Казанского края», в которой приводил примеры заимствования мордвой русских сказок¹⁵.

⁹ А. Н. Веселовский, Собр. соч., Л., 1936, т. 16, стр. 221.

¹⁰ Д. К. Зеленин, Саратовская мордва, «Живая старина», 1910, вып. IV, стр. 315.

¹¹ В. И. Костин, Русская бытовая песня в Мордовии, Автореф. канд. дис., Саранск, 1970.

¹² А. И. Маскаев, Мордовская народная эпическая песня, Саранск, 1964, стр. 284.

¹³ Архив Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики, ф. Б. Е. Смирнов, стр. 187 (далее Архив НИИ).

¹⁴ Архив НИИ, отчет экспедиции 1974 г., л. 1.

¹⁵ И. Смирнов, Несколько слов о русском влиянии на инородцев Казанского края, «Известия Общества археологии, истории и этнографии Казанского университета», т. VI, вып. I, Казань, 1886.

А. И. Маскаев также неоднократно указывал в своих работах, что этот процесс интенсивно продолжается и в послевоенный период. В статье «Современное состояние мордовской сказки» он говорил о неизбежности влияния русской сказки на мордовскую и указывал, что оно ощущается не только в сюжетах, но и в стилистике: заимствуются традиционные зачины, сказочные формулы, которые рассказчиками и их слушателями не ощущаются как чужеродные, так же как русские слова в мордовских песнях и русизмы в мордовской речи. Недаром материалы последней переписи показали, что 70% мордовского населения свободно владеет русским языком.

Наблюдения А. И. Маскаева подтверждаются записями последних лет. Среди них множество текстов, записанных от мокши и эрзи на русском языке. В сказках, рассказанных на эрзянском и мокшанском языках, встречаются не только русские слова (крестный, караульный) и двуязычные сочетания типа «церковань сторож», но и целые русские фразы: «Ах поганый идолица», «Ну сват несусветный» и сказочные формулы: «В тридевятом царстве», «Пир на весь мир».

В эрзянских и мокшанских сказках постоянно упоминаются Иван-дурачок, Жар-птица, Иван Лазаревич и т. д. Характерен вариант сказки о лисе, меняющей скалочку на курочку, рассказанный в 1936 г. на эрзянском языке 12-летней девочкой. В этой сказке («Абдул весень изниньзе») герой начинает операцию последовательных обменов с найденного на дороге лаптя. Кончается сказка русской или, вернее, полурусской песенной вставкой:

Ко буке лакшт, лакшт,
Лапты на куры,
Куры на утки,
Утки на галы,
Галы на курки,
Курки на реве,
Реве на бука.

В другом варианте той же сказки:

Курка на овцу,
Овцу на бука,
Но бука лакшт, лакшт¹⁶.

Этот пример не единичный, так как в мордовских сказках о животных, сюжетно очень близких к русским, диалог сплошь и рядом ведется на русском языке.

Относительно целого ряда сказок о животных, а также многих бытовых сказок крайне трудно, а порой невозможно решить вопрос о первоначальной национальной принадлежности сказки. Таков, например, текст «Сказа о том, как Платон стал попом»¹⁷, в основе которого популярная русская сказка «Поп Пахом». Сюжет этой сказки в мордовском варианте рационалистически объясняется недавним крещением эрзи и отсюда неосведомленностью паствы в церковной службе. Несмотря на мордовское имя героя — Кудаж, встречающаяся в Мордовии во многих вариантах на русском и мордовских языках сказка о солдате и Петре I, очевидно, русского происхождения.

Многочисленны в мордовском фольклоре рассказы о глупцах, частично совпадающие с русскими сказками о пошехонцах, но сплошь и рядом и иные. Таков, например, анекдот, несколько непристойный, о том, как вся семья стоит на коленях перед теленком, которого сочла

¹⁶ Архив НИИ, ф. Л-86 / 66, ед. хр. № 27.

¹⁷ Там же.

за святого¹⁸. Точно разграничить эти русские и мордовские народные анекдоты невозможно.

С другой стороны, вряд ли можно отнести к русскому фольклору широко распространенную сказку о неверной жене (сюжет № 1380), рассказанную старой мокшанкой на русском языке, несмотря на то, что сюжетно русские и мордовские варианты очень близки. В мордовском тексте говорится о святом дереве «унду-Оую», о том, как муж одной бабы, чтобы вывести ее на чистую воду, залез в «Унду» и поучал ее оттуда, выдавая себя за бога, как отделаться от постылого мужа: «он заглохнет и заслепнется»¹⁹. Этот бродячий сюжет, известный начиная с Панчатантры, широко бытует в мировом фольклоре и, в частности, широко распространен среди всех угро-финских народов, поэтому нет достаточных оснований возводить мордовскую сказку с ее ярко выраженными национальными особенностями к русскому источнику.

Более выпукло сохраняется национальная основа в волшебных сказках. Многочисленные мордовские пересказы русских лубочных сказок о царе Салтане, о Бове, о Еруслане Лазаревиче. С другой стороны, на русском языке рассказываются мордовские сказки о Виряве, о Дуболго Пичай, о Варде, о девочке с серебряным зубиком.

Нельзя, конечно, относить все общие по сюжету сказки к русской традиции. Это, несомненно, явилось бы преувеличением русского влияния на мордовский фольклор. Однако некоторые мордовские сказки, такие, например, как «Чудо в перьях» (в русских пересказах героиня — «Чудо» превратилась в «Чудовище»), являющаяся национальной перелицовкой «Золушки», или сказка «Красавец Дамай», восходящая к сказке Перро «Кот в сапогах», очевидно, попали в мордовской фольклор через посредничество русского фольклора или русской книги.

Русская основа четко проявляется и в сказках «Суралья» и «Андымо», являющихся несколько схематическими пересказами русской сказки об охотнике и орле и об обещанном сыне²⁰.

В 1968 г. в с. Старошайгове от Цибикиной (58 лет) на русском языке студентами МГУ записана сказка «Оклеветанная сестра»²¹. Сюжет этот, как известно, широко распространен в мировом фольклоре. Зафиксированный в XII в. на юге Англии, он вплоть до XVII в. подвергается многочисленным литературным обработкам на английском, французском, немецком, латинском, итальянском, шведском, сербском и греческом языках. Через Византию он приходит в Московскую Русь, о чем свидетельствует переводная повесть XVII в. «Чудо пресвятые богородицы о царевне Персике, дочери царя Михаила Болгарского». Сказка эта неоднократно записывалась в разных русских районах и много раз публиковалась в сборниках русских сказок. Мордовские варианты этой сказки под названием «Дуболго Пичай» неоднократно публиковались как на эрзянском и мокшанском языках, так и в переводе.

Вариант Цибикиной, рассказанный на русском языке, ближе к мордовской редакции этого сюжета, чем к русской. Однако сказочница сообщила, что она эту сказку от мордвы не слышала и нигде не читала ее. Все же важная деталь, которой нет в русской сказке, дает основания думать, что данный русский вариант пришел к русской сказочнице через мордовское посредничество. Злодейка-золовка зазывает героиню в баню и обливает ее растопленным воском, который на той застывает. Братья насыпают в гроб с телом сестры зерно и помещают его высоко

¹⁸ Архив НИИ, ф. Б. Е. Смирнова, записи 1963—1965 гг. в Zubovo-Полянском районе Мордовской АССР, л. 175.

¹⁹ Там же, л. 332.

²⁰ Архив НИИ, ф. $\frac{Л-86}{66}$, записи 1932 г.

²¹ «Устно-поэтическое творчество мордовского народа», т. III, ч. 2, «Эрзянские сказки», 1967, № 23.

на ветки двух тополей. Таким образом мы видим, что специфические национальные мордовские особенности (обычай надземного захоронения) сохраняются в Мордовии и в русском варианте сюжета, широко бытующего без этих деталей в русском репертуаре других районов.

Характерным примером бесспорного воздействия русской традиции на мордовскую сказку является текст, записанный в 1970 г. в с. Турдаки Дубенского района Мордовской АССР от Ивана Федоровича Куртаева (1915 г. рождения). Запись сделана студенткой Гудковой. Озаглавлен текст, очевидно собирателем, «Сказание о мордовской женщине-лекарше» (курсив здесь и далее мой.— Э. П.)²².

«В одном великом королевстве правил мудрый король. Но недолго длилось его счастливое царствование. Заболел кожной болезнью и никто не мог его вылечить. Но вот дошел до короля слух о мордовской женщине-лекарше. И решил он ехать в Мордовию попробовать еще по-лечиться. Встретился король с той женщиной, и взялась она его лечить. Жарко натопила баню, крепко попарила короля, намазала тело медом и завернула простыней. И так повторила несколько сеансов, до тех пор, пока король не выздоровел. Король так был рад своему выздоровлению, что не знал, как благодарить женщину-лекаршу. А она ему сказала, что если он хочет быть всегда здоровым, пусть женится на ней. Король обещал взять ее женой в свое королевство, только, дескать, приготовится к свадьбе. Приехал он в свое королевство и стал советоваться с боярами: брать ту женщину в жены или нет.

Бояре предъявили такое условие: „Если ты возьмешь в жены простую женщину, то тебя сместим с королевского трона. Какой ты король, если женишься на простой мордовке“.

И король не стал жениться на той женщине. Но через некоторое время он опять заболел той болезнью. Сколько его ни лечили — ничто не помогло. И пришлось королю опять ехать в Мордовию к той женщине. Она его опять приняла и стала лечить прежним способом.

Через некоторое время король выздоровел и взял ту женщину себе в жены. А своим боярам сказал: „Не нужно мне ваше королевство, мне нужна жизнь“. И остался доживать свой век с той женщиной».

В этом тексте древнерусская повесть о Петре и Февронии Муромских, которая изредка встречается в репертуаре русских сказочников (прекрасный вариант записан от воронежской сказочницы А. Н. Корольковой²³), предстает перед нами в мордовском обличье. Сюжет крайне упростился, нет мотива змеборчества, загадок мудрой девы, описания происков боярских жен, чудесных обстоятельств смерти героев, совершенно исчезли житийные моменты, характерные для первоисточника — повести о муромских святых. Сохранена лишь антибоярская тенденция источника. Показательно для данного варианта, что антиподом бояря является не просто крестьянка, а именно мордовская крестьянка, король едет лечиться в Мордовию (король вместо князя пришел, очевидно, из книжных сказок).

Рассмотренные нами примеры говорят не только о постоянном взаимодействии, но и об органическом слиянии двух национальных фольклорных традиций.

Сами сказочники, а также собиратели и исследователи часто затрудняются не только определить, мокшанская или эрзянская в основе своей та или другая сказка, но даже русская она или мордовская. Так, например, пожилая русская женщина рассказала известную русскую легенду о Николе и Касьяне. При этом она сообщила, что это «не русская история», а мордовская, и что слышала она ее несколько лет тому

²² Архив кафедры русской литературы Мордовского государственного университета, Материалы экспедиции 1970 г.

²³ «Русские народные сказки, рассказанные А. Н. Корольковой», М., 1969, стр. 243—253.

назад в Смоленской области от старухи-мордовки. «Кто его знает,— задумчиво прибавила она,— может, и правда так было. Мордва-старик много кое-чего знает»²⁴.

То же мы наблюдаем и в практике сказочников многих других народов. Так, например, латгальский старик-сказочник Петр Якушонок, с равным блеском рассказывающий былички, сказки и анекдоты на русском и латышском языках, упорно утверждает, что все они латышские.

По-иному воспринимаются кавказские элементы в русских сказках и легендах дагестанскими сказочниками: «Этот анекдот я от лезгин слышал», «Кумыки говорят, от них слышал», «Об этом чечены рассказывали» «Слышал от одного национала», «Это татарин мне говорил» и т. д.— так, по наблюдениям собирателя В. С. Кирюхина, мотивировали его информаторы инонациональные элементы в сообщаемых ими русских текстах.

В оценке национального характера сказок, «своего» и «чужого» в них, сказывается осознание исполнителем близости или отдаленности национальной фольклорной традиции.

Активный характер взаимодействия, вернее слияния, двух сказочных традиций соответствует аналогичным процессам, имеющим место в формах хозяйства, труда, быта, а также в жилище, костюме, языке. Таким образом, жизнь сказки — один из компонентов общего этнического процесса, одинаково знаменательного как для материальной, так и для духовной культуры современных многонациональных районов.

Следует, конечно, учитывать, что «взаимное передвижение мифа, сказки, песни могло повторяться не однажды и всякий раз при новых условиях как усвояющей среды, так и усваиваемого материала»²⁵. Вместе с тем частотность этих фактов в записях последних лет дает основание рассматривать их как свойство именно современного фольклорного процесса.

Современные этнические процессы, обусловленные близким соседством, постоянным общением, смешанными браками, общими трудовыми процессами и т. д., приводят к взаимодействию разных национальных фольклорных традиций; вместе с тем само это взаимодействие является (в той же мере, как и двуязычие) одним из компонентов многообразных современных этнических процессов. Активная роль фольклора, в частности устной прозы, в этнических процессах определяется его спецификой, его вариативностью и проницаемостью. Этим же определяется и его значение в процессе преодоления национальных границ в народной культуре.

THE SPECIFICITY OF ORAL PROSE IN THE LIGHT OF THE STUDY OF PRESENT-DAY ETHNIC PROCESSES

The strong variability of folklore including oral prose results in its high penetrability and hence in its important role in drawing together the culture of different peoples. The Russian folk story interacts with the local folk tale tradition in a different manner in the different republics of the Soviet Union, but the main trend of this process is one and the same and is expressed in the continuous amalgamation of the two traditions. An example of intensive mutual penetration of two national folklore traditions may be observed in the Russian language folk tales widely distributed in Mordovia. Russian-Mordovian links in folklore are a result of the protracted co-existence and constant interaction of the two popular cultures.

The intensive interaction between Russian and Mordovian folk tales paralleling similar processes in industrial and domestic life etc. makes them an important factor in the process of overcoming national boundaries in popular culture.

²⁴ Записано автором 3 апреля 1975 г. в Москве.

²⁵ А. Н. Веселовский, Разыскания в области русского духовного стиха, стр. 116.

Б. Н. Путилов

**ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПЕСЕННО-МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА
БЕРЕГА МАКЛАЯ**

Моя первая встреча с бонгуанской песней состоялась утром 9 июля 1971 г., когда наш этнографический отряд, входивший в состав экспедиции на «Дмитрий Менделеев»¹, начал свою работу на Берегу Маклая.

Уже через 5—10 минут после моего появления на деревенской площади я сделал первую магнитофонную запись. Трое мужчин, один из них с ударным инструментом бембу в руках, уселись передо мной. Тот, что держал бембу, обратился к остальным на пиджин: «Все ли готовы начать старую песню, которую поют перед посадкой таро? Начнем».

Потом было много других встреч с бонгуанской песней: мне пели старики, мужчины среднего возраста, юноши, дети, женщины, девушки; пели поодиночке, группами в несколько человек, большими ансамблями; я услышал песни, сопровождавшие традиционные пляски. Мне пели на площади, в домах, на берегу моря, возле дома, где мы жили. В результате было получено порядочное число записей, в большинстве вполне удовлетворительного качества, представляющих, несомненно, достаточно интересный материал для дальнейшего фольклористического и этнографического исследования.

На магнитофонной ленте каждая песня сопровождается пояснениями информаторов, относящимися к ее содержанию, функциям, некоторым обстоятельствам ее традиционного исполнения. Целый ряд сведений о некоторых песнях находится в моем полевом дневнике. На магнитофонной ленте зафиксированы также короткие разговоры с информаторами по поводу жанрового состава, тематики и особенностей исполнения бонгуанской песни. Без всего этого дополнительного материала одни только песенные записи значили бы гораздо меньше.

Из-за кратковременности нашего пребывания на Берегу Маклая мне почти не удалось получить текстовые записи песен и переводы их на английский или на пиджин. Хотя, как я буду говорить об этом позже, тексты бонгуанских песен предельно элементарны (несколько слов или даже одно слово) и некоторые из них удалось расшифровать, все же отсутствие большинства текстов, невозможность прочитать песни создавали весьма серьезные препятствия их изучению. Не так давно эти препятствия были устранены. По договоренности с Крэггом Саймонсом, чиновником из Маданга, сопровождавшим нас на Берегу Маклая, я послал ему из Сиднея копии 38 магнитофонных записей песен с просьбой организовать на месте их расшифровку, перевод на пиджин и английский язык и получить еще раз сведения об их бытовом назначении. Как теперь стало известно, уже в январе 1972 г. Крэг Саймонс выполнил мою просьбу. В течение трех дней на миссионерской станции, расположенной близ Бонгу, шла работа с группой бонгуанских певцов, с большинством

¹ См.: Д. Д. Тумаркин, По островам Океании, «Сов. этнография», 1972, № 2; «На Берегу Маклая (Этнографические очерки)», М., 1975.

которых мне приходилось общаться. Жаль, конечно, что материалы этой работы мы получили лишь два с половиной года спустя. Но ценность их исключительна, и я должен выразить глубокую признательность Ричарду Хейтеру, осуществившему этот нелегкий труд. Мы располагаем теперь тридцатью песенными текстами с переводами их на пиджин и английский и с объяснениями их функциональных связей. А это означает, что изучение бонгуанских песен можно теперь вести в полном объеме, на всех уровнях. Правда, полученные материалы нуждаются сами еще в критическом текстологическом анализе, их необходимо привести в порядок, тщательно проверить, сверить с магнитофонными записями и т. д.

До сих пор мы знали о бонгуанском песенном фольклоре очень мало, притом о фольклоре не современном, а столетней давности. Сведения о нем, рассыпанные в работах Н. Н. Миклухо-Маклая, оказались, будучи собраны воедино, чрезвычайно ценными и составили основу, на которой можно было вести современные исследования.

Сопоставляя данные, полученные нашей экспедицией, с материалами Миклухо-Маклая, я решаюсь сделать один общий вывод, который для меня принципиально важен: бонгуанский песенный фольклор как исторически сложившаяся система, по-видимому, не претерпел коренных изменений сравнительно с его состоянием сто лет назад; система осталась принципиально прежней, изменения, происходившие внутри нее, носили эволюционный характер, без качественных переломов и перерывов постепенности. Песенный фольклор деревни Бонгу поэтому производит сегодня впечатление единой и цельной системы, чего никак нельзя сказать о современном состоянии музыкально-песенного фольклора других регионов Океании и даже соседних с Бонгу мест.

Разумеется, это гипотеза. Она нуждается в проверке, в аргументации, в уточнениях. Если бы мы располагали для фольклора конца XIX — начала XX в. столь же репрезентативным материалом, какой получен нами в 1971 г., многие вопросы, несомненно, прояснились бы.

Но поскольку этого нет, изучение бонгуанского фольклора должно пойти другим путем: его надо теснейшим образом связать с изучением фольклора папуасов Новой Гвинеи в целом и придать ему последовательную сравнительную направленность. Материалы, наблюдения, выводы по фольклору различных районов Новой Гвинеи, отдельных племенных групп и деревень могут представить исключительную ценность для объяснения и комментирования особенностей бонгуанского фольклора, для понимания характера его взаимоотношений с действительностью, для изучения исторических процессов, в нем совершавшихся. Разумеется, и здесь есть трудности. Изучение новогвинейского фольклора до сих пор имело свои особенности. Оно шло в рамках либо этномузыковедческих, либо собственно этнографических исследований. Последние для нас особенно важны, поскольку они показывают место традиционной музыки и песни в системе представлений, обрядов, бытовой практики папуасов. В ряде случаев они прямо дают нам тот реальный, конкретный этнокультурный фон, на котором только и можно понять по-настоящему бонгуанские песни, но который на собственно бонгуанском материале нам с такой полнотой неизвестен. Сравнительный подход здесь может оказаться весьма эффективным.

К сожалению, этнографы в своих работах не всегда были достаточно внимательны к собственно фольклористическим проблемам: нередко они ограничивались общими высказываниями там, где требуется точный и подробный рассказ; не приводили текстов, либо давали лишь единичные примеры и т. д. Однако из многих десятков книг и статей в конце концов можно извлечь материал, который в совокупности представляет собою нечто достаточно солидное.

Уже сейчас, когда такая работа далеко еще не закончена (и можно ли рассчитывать на ее окончание, не знаю), складывается убеждение:

что традиционный папуасский песенно-музыкальный фольклор, при всем разнообразии местных, групповых, региональных форм, характеризуется определенным набором общих качеств, принципиальных свойств, что позволяет рассматривать его как единое целое с присущими ему общими закономерностями. А если это так, то перед исследователями возникает, наряду с конкретной задачей углубленного сравнительного анализа фольклора одного небольшого района, перспектива изучения новогвинейского фольклора в целом как историко-стадиального явления, как одной из исторически сложившихся вариаций фольклора первобытно-общинного общества.

Ограничимся в рамках настоящей статьи указанием на эту чрезвычайно важную и интересную перспективу и сосредоточим внимание на проблемах фольклора деревни Бонгу.

1. Импровизации или устойчивый текст?

Вопрос этот был подсказан нам Миклухо-Маклаем. По его словам, папуасские песни — «это почти всегда импровизации, поводом для которых служат некоторые занятия, прибытие гостей и даже совершенно незначительные случаи»². Ученый приводил несколько текстов таких песен.

Между тем из более чем сорока песен, услышанных мною в деревне Бонгу, ни одна не была спета в порядке импровизации. У всех у них был традиционный текст, который певцам был хорошо знаком. В ходе исполнения текст не создавался, а воспроизводился.

Да иначе и быть не могло, если принять во внимание, что большая часть песен имела устойчивое традиционное назначение и была связана с повторяющимися типовыми ситуациями деревенского быта — обрядами, обычаями, производственными процессами.

По-видимому, указание Миклухо-Маклая на импровизационный характер бонгуанских песен может быть отнесено к определенной их части. Сам ученый привел один случай импровизации: когда он совершил выезд на островок Били-Били, жители встретили его песнями, в которые «часто вплетали» его имя³. В данном случае возникает вопрос, до какой степени эти песни были импровизациями. Вполне можно предположить, что в основе своей они были традиционными, но строились таким образом, что в них легко вплеталось имя гостя.

Очень сожалею, что в дни пребывания в Бонгу не догадался поставить эксперимент, который позволил бы прояснить вопрос о существовании песен-импровизаций в наше время. В работах этнографов по другим районам Новой Гвинеи есть некоторый материал, относящийся к проблеме импровизаций. Судя по приведенным там фактам, папуасы способны импровизировать песню не только в «нормальной» обстановке, но и подчас в самые напряженные и драматические моменты своей жизни и использовать импровизацию для выражения сильных эмоций.

Р. Берндту рассказывали, как одна женщина камано составила песню в тот момент, когда ее должны были убить за нарушение табу (она увидела музыкальный инструмент, который запрещено видеть женщинам). Пока мужчины волокли ее, она пела: «Я не видела флейты... Я не видела»⁴.

Не значит ли это, что в сознании папуасов существует представление об особом значении песенного слова?

Как видим, в данном случае текст импровизации до предела прост и прямо выражает конкретную ситуацию.

Но вот перед нами другой пример, когда мы имеем дело с достаточно усложненной формой импровизационного текста.

² Н. Н. Миклухо-Маклай, Собр. соч., т. III, ч. 1, М.-Л., 1951, стр. 110.

³ Там же, т. I, М.-Л., 1950, стр. 286.

⁴ R. M. Berndt, *Excess and restraint*, Chicago, 1962, p. 68. Аналогичные примеры см. стр. 276—278.

Мальчика племени яте, забравшегося в чужой огород, избили до крови. Он прибежал окровавленный в деревню, и старшая сестра, держа его голову, запела: «Смотрите на этого мальчика! Из Агиреаны, красный банановый лист, лист, с ослабленного [ползучего растения] он показывает вам. Смотрите!»⁵. Здесь текст построен на основе ассоциативного образа. Опираясь на пояснения информаторов, Р. Берндт толкует образ красного листа как метафору крови и дает следующий смысловой перевод песни: «Все вы, люди, смотрите на этого мальчика из Агиреаны. Он похож на красный банановый лист [т. е. окрашен кровью]. Этот красный лист [кровь] падает [с сухожилий его рук и ушных мочек]. Он показывает вам. Смотрите!».

Очевидно, что такая импровизация — результат настоящей поэтической работы, за нею стоят определенные знания, владение определенной техникой, искусство организации текста.

Как ни увлекательна задача изучения импровизации, все же она не является определяющей, поскольку основной и наиболее устойчивый и значимый массив новогвинейского фольклора составляют песни с традиционным текстом, песни, отзывающиеся не на единичные случаи и события текущей жизни, но на повторяющиеся, типовые ситуации, значимые прежде всего для коллектива, обусловленные его бытовым укладом, песни с устойчивыми бытовыми функциями.

2. Объем песенного репертуара. Жанровый и сюжетный состав песенного фольклора.

Более сорока песен, записанных в Бонгу, — много это или мало? Что еще важнее — какая это часть живого репертуара? Много ли еще осталось за пределами записи? Практически ответить на эти вопросы можно было бы, лишь продолжив работу в Бонгу. Теоретически к ответу можно подойти, стремясь понять структуру бонгуанского фольклора, очертить его функциональные, жанровые и тематические границы.

Структура песенного фольклора деревни Бонгу, равно как и других районов Новой Гвинеи, характеризуется прежде всего большой организованностью, упорядоченностью, отсутствием тех видимых признаков стихийности и относительной или полной свободы, какие свойственны фольклору на позднейших ступенях его развития.

Функционирование фольклора в быту папуасов, по-видимому, довольно строго ограничено определенными рамками. Ограничения эти подсказаны бытовой традицией и исторически сложившимся комплексом представлений папуасов о роли песни в их жизни. Ни о какой универсальности функционирования песенного фольклора у папуасов не может быть и речи. Привычные для нас мерки здесь неприменимы. Невозможно, например, представить поющими мужчин или женщин, возвращающихся с огородов. Вы не услышите, чтобы кто-нибудь в деревне пел «просто так». Папуасы не поют «для себя». Пения «по настроению» Бонгу не знает, точнее сказать — не знала до недавнего времени. Приведу один зафиксированный факт, который можно рассматривать как проявление определенной тенденции. О песне, в которой повторялись слова «рири jo рири jo» («дует, дует»), мне рассказали: «Эту песню „с ветром“ юноши и девушки поют, когда они на берегу, ощущают, как дует ветер, видят, как он колыхает траву и деревья». Полагаю, что такая ситуация для бонгуанского фольклора новая и пока еще редкая. Ее исключительность осознают, очевидно, и сами папуасы. Относительно одной песни, исполненной молодыми людьми, информаторы сообщили (цитирую запись, полученную от сотрудника миссии): «Это единственная песня, которую можно петь где угодно и в любом месте. Кажется, это просто детская игра или безвредная имитация песен, которые имеют силу (т. е. песен

⁵ Там же, стр. 373. К сожалению, в данном случае отсутствует пословесный перевод, что лишает нас возможности должным образом проанализировать структуру текста.

магического назначения.— Б. П.)». Все остальные песни, записанные мною от бонгуанцев (за исключением детских), четко и последовательно распределяются в функциональном плане на определенные группы: песни, входящие в состав ритуальных и церемониальных танцев; песни, исполняемые во время обряда инициации; песни-причитания похоронных обрядов; песни военных обрядов; песни трудовых обрядов и производственных действий; песни, связанные с некоторыми обычаями.

Непосредственное и органичное включение песни в определенный набор бытовых ситуаций, действий — характернейшая особенность папуасского фольклора. Отсюда возникает задача — учесть как можно полнее весь этот набор и тем самым представить возможно более широко вероятный состав песенного фольклора. Записи нашей экспедиции наглядно отразили сущность бонгуанского фольклора и зафиксировали ряд его типовых функциональных связей и жанровых форм. Но очевидно, что нам — по ряду причин — не удалось многие такие связи и формы уловить. Они, однако, прослеживаются на материале фольклора других районов Новой Гвинеи. Разумеется, совсем необязательно, чтобы функционально-жанровая система бонгуанского фольклора полностью повторяла не только типологию, но и реальное содержание других известных нам локальных фольклорных систем. Различия между ними неизбежны, они будут обуславливаться разницей как предшествующего исторического развития, так и современного состояния. Но все же бесполезно выявлять в этих смежных локальных системах элементы, наличие которых в бонгуанском фольклоре (в прошлом или настоящем) вполне вероятно и поиски которых, если бы к тому представились возможности, желательно провести.

Это в первую очередь относится к фольклору ритуальных празднеств и церемоний. Танцы, которые показали нам в Бонгу, видимо, связаны (во всяком случае генетически) с одним из таких традиционных празднеств. Заметки Н. Н. Миклухо-Маклая позволяют до некоторой степени представить многообразие ритуалов и связанных с ними танцев сто лет назад. Еще более определенно об этом многообразии, о периодической повторяемости ритуалов, о громадном значении их для жизни коллектива свидетельствуют богатые материалы, собранные этнографами в разных районах Новой Гвинеи в течение последних десятилетий. Ритуалы и церемонии различаются по временной протяженности (от нескольких дней и даже часов до многих месяцев), по степени сложности и насыщенности действиями, по широте охвата участников (от небольшой группы до жителей многих деревень), по интенсивности и размаху подготовки к ним. Все эти факторы безусловно влияли на музыкально-песенную часть ритуалов и церемоний, определяли ее объем и характер. Известны ритуалы, в которых главное празднество — с танцами и пиршеством — не только растягивалось на очень долгий период, но предварялось достаточно сложными действиями, в которых существенную роль играли специальные песни.

У маринд-аним перед большим праздником группы мужчин, разделенные по возрастному признаку, в течение нескольких ночей пели песни (каждая группа — свои), специально предназначенные для каждой ночи. По-видимому, в местном фольклоре существует некоторое число песен, исполняемых непосредственно перед тем или иным праздником, подготавливающих праздники⁶, причем за этими песнями закреплены жанровые названия.

Главные моменты ритуалов включают обязательное исполнение песен, которые сопровождают танцы, специальные действия, драматические представления либо поются независимо от них. Нет никаких сомнений,

⁶ J. Van Baal, *Dema. Description and analysis of Marind-Anim culture* (South New Guinea), The Hague, 1966, p. 849—851.

что все эти песни функционально, структурно, системой своих образов, своим содержанием связаны с ритуалом, с его внешним движением, с его сюжетикой и внутренним смыслом. Вне этой органической, весьма сложной и по-разному проявляющейся связи песня сама по себе не имеет смысла и не может существовать. Любая песня возникает, как правило, внутри ритуала, вместе с ним, в контексте ритуала и тех представлений, которые для него характерны. У песен есть всегда (или почти всегда) свои задачи в ритуале, которые осуществляются специфическими песенными средствами. Но все это — уже вопросы, которые будут рассматриваться в других разделах статьи.

На фоне богатейших материалов, показывающих место песни в системе ритуалов и празднеств в разных местах Новой Гвинеи, данные по деревне Бонгу могут получить более глубокое объяснение. Материалы эти, кроме того, подсказывают пути дальнейших разысканий; будучи систематизированы, они позволяют составить программу дальнейшего изучения бонгуанского ритуального фольклора.

То же самое можно сказать и о некоторых других видах песенного фольклора деревни Бонгу. Например, мы ничего не знаем об обрядах для девушек и о фольклоре, с этими обрядами связанном⁷. Несомненный интерес представили бы песни, связанные с колдовскими действиями и верованиями⁸, песни в составе мифов⁹.

В ряде случаев мы можем предполагать, что зафиксированные нами виды песен деревни Бонгу представляют собою лишь часть более обширных и значительных комплексов. Это относится к песням обряда инициации, к военно-обрядовым песням, к песням сельскохозяйственной обрядовой магии. Остановлюсь на последних. Мною записаны песни, которые исполнялись женщинами в лесу в то время, когда мужчины расчищали место под будущие огороды. В этнографических работах по другим районам Новой Гвинеи песни этого типа мне пока не попадались¹⁰. Производственно-магический смысл песни раскрывают информаторы, по словам которых цель пения — сделать деревья более мягкими, чтобы мужчи-

⁷ Ср., например: H. A u f e n a n g e r, *Women's lives in the Highlands of New Guinea*, «Anthropos», vol. 59, 1964, f. 1—2; M. R e a y, *The Kuma*, Melbourne, 1959, p. 175—177; E. A. C o o k, *Marriage among the Munga*, в кн.: «Pigs, pearls and women», London, 1969, p. 101—102; R. F. S a l i s b u r y, *The Siane of the Eastern Highlands*, в кн.: «Gods, ghosts and men in Melanesia», Melbourne, 1965, p. 65—66; J. W h i t e m a n, *Girl's puberty ceremonies amongst the Chimbu*, «Anthropos», vol. 60, 1965, p. 415—419; J. A. R o s s, *The puberty ceremony of the Chimbu girl in the Eastern Highlands of New Guinea*, там же, стр. 426—427; M. M e a d, *Growing up in New Guinea*, London, 1931, p. 141—143.

⁸ Ср., например: R. B e r n d t, Указ. раб., стр. 215; M. W i l l i a m s, *The Stone Age island. New Guinea today*, N. Y., 1964, p. 88; F. E. W i l l i a m s, *Natives of Lake Kutubu, Papua, Port Moresby, 1940—1941*, p. 9; его же *Orokaiva magic*, London, 1928, p. 28—29, 60—61, 130—149; G. L a n d t m a n, *The Kiwai Papuans of British New Guinea*, London, 1927, p. 76, 130—132, 145, 146, 325, 326 и др.; J. H o g b i n, *The island of the menstruating men*, London, 1970, p. 182—186; A. S t r a i t h e r n, *The rope of Moka*, Cambridge, 1971, p. 233, 234; D. J e n n e s s, A. B a l l a n t y n e, *The Northern D'Entrecasteaux*, Oxford, 1920, p. 105, 109, 123—144.

⁹ Ср., например: F. E. W i l l i a m s, *Natives of Lake Kutubu*, p. 109, 110, 149, 150, 153; И. Бьерре, *Встреча с каменным веком*, М., 1967, стр. 108—110, 116—119; R. B e r n d t, Указ. раб., стр. 44; G. L a n d t m a n, *The folk-tales of the Kiwai Papuans*, «Acta Societatis Scientiarum Fennicae», t. XLVII, Helsingfors, 1917, p. 3, 79, 80, 121, 141, 142, 153—158, 189, 195, 205—207, 314, 333, 334, 348; 360 и др.; его же, *The Kiwai Papuans of British New Guinea*, p. 73, 74, 423, 424, 436; «Oral traditions and written documents on the history and ethnography of the Northern Torres Strait islands...», vol. 1 (Collected and edited by W. Laade), Wiesbaden, 1971, p. 31, 32, 42, 45, 49—52, 72, 79, 99; T. E. D u t t o n, *The peopling of Central Papua*, Canberra, 1969, p. 101; J. V a n B a a l, Указ. раб., стр. 271, 272; B. T. B u t c h e r, *We lived with headhunters*, London, 1963, p. 131—136; M. M e a d, *The Mountain Arapesh*, t. V, N. Y., 1949, p. 345.

¹⁰ По сообщению Ф. Уильямса, у орокаива мужчины во время работы по расчистке леса издают особые звуки, «нечто среднее между возгласом и песней», показывая этим, что «работающие должны находиться в самом высоком состоянии духа» (F. E. W i l l i a m s, *Orokaiva society*, London, 1930, p. 22).

нам было легче их рубить. О другой песне этого же типа было сказано, что пение избавляет от злого духа внутри дерева, укрепляет топор и ослабляет само дерево.

В Бонгу удалось записать целый цикл песен, связанных с производственной магией: «чтобы обеспечить хороший урожай фруктов»; «чтобы предохранить спелые фрукты от птиц и зверей»; «чтобы обеспечить хороший урожай кокосовых орехов».

Несомненно, у бонгуанцев существовал (а может быть, сохраняется и до сих пор, хотя и не в полном виде) сложный и достаточно разветвленный комплекс магических действий, направленных на то, чтобы обеспечить успех во всех главных сферах хозяйственной деятельности — огородничестве, охоте, рыбной ловле.

Действия эти могли совершаться самостоятельно, как, по-видимому, это имело место в случаях, о которых нам сообщили информаторы, но могли входить в состав более сложных по своему характеру и задачам комплексов (некоторые ритуалы, обряд инициации и др.). Действия производственно-магического типа и песни, их сопровождавшие, обнаруживают особые связи с системой представлений, верований, с мифологией, причем связи эти многолинейные.

У племени хури во время большого обрядового праздника — *теге пулу*, главной темой которого является почитание предков, производились действия производственно-магического характера: выкрашенные охрой женщины, а вслед за ними мужчины бегали по огороду, вытаптывая его; при этом они пели песню, в которой, по словам исследователя, «звали бога солнца Ни, чтобы он явился посмотреть на них и принес их земле плодородие». Затем на вытоптанном огороде танцевали юноши, и «после этого... снова можно было сажать таро». Здесь же разыгрывалась сцена посадки¹¹. Даже этот простой пример показывает, что наряду с довольно ясными отношениями между действием (песней) и обрядовыми представлениями существуют отношения и связи гораздо более тонкие, включенные в сложный, полисемантический ритуальный и мифологический контекст.

Среди записей, сделанных мною на Берегу Маклая, неожиданно много песен, которые сами исполнители относили к обряду инициации. Неожиданно потому, что по опыту работы многих этнографов я ожидал здесь особых трудностей. Между тем лишь в одном случае исполнение было окружено секретностью: старик, совершающий во время обряда инициации обрезание, только после больших уговоров согласился спеть специальную песню, которой обычно сопровождается эта операция. Он увел нас на край деревни и, с опаской поглядывая по сторонам, тихо исполнил песню. В остальных случаях мужчины и юноши пели инициационные песни открыто и по собственному почину. Семь песен, записанных нами, все (или почти все — пояснения информаторов к ним не всегда ясны) относятся к моментам обряда, связанным с приходом посвящаемых из леса в деревню.

Песня, связанная с обрезанием, представляет особенный интерес. До сих пор было известно, что операция могла совершаться под звуки гуделок и флейт, указания на специальные песни мне не попадались.

Сведения из других районов Новой Гвинеи показывают, что пение специальных песен при возвращении из леса было обязательным¹². Смысл их неоднозначен. По данным, полученным от информаторов на Берегу Маклая, можно думать, что для песен особое значение имел именно мотив возвращения: по-видимому, песни содержали указание на «перерождение» прошедших инициацию и в то же время связывали их с прежним миром. Относительно одной песни объяснение было таково:

¹¹ И. Бьерре, Указ. раб., стр. 81, 88—89.

¹² R. M. Berndt, Указ. раб., стр. 101, 102, F. E. Williams, Orokaiva society, p. 190.

она выполняется, «чтобы умыть лица молодых людей, когда они около 5 часов утра выходят из специального дома. После этого они могут есть жирную пищу».

О двух других песнях сказано, что они связаны с любовной магией.

По-видимому, среди наших записей нет тех инициационных песен, которые пелись посвящаемыми, когда они в течение нескольких ночей оставались в мужском доме по возвращении из леса. Содержанием этих песен могла быть история мифических предков¹³. Смысл их также — в придании дополнительной силы посвящаемым¹⁴. Один из эпизодов обряда связан с приходом к посвящаемым мифического предка: это действие сопровождается соответствующей песней¹⁵.

Известно также, что во время обряда инициации происходит обучение песням, имеющим сакральный смысл и связанным с ритуалом и мифом. Песни эти составляют целую серию и имеют свои названия¹⁶.

Если когда-нибудь фольклорные работы на Берегу Маклая будут возобновлены, одной из первоочередных задач станет возможно более полная фиксация всего песенного цикла, входящего в обряд инициации. Пока же хорошим фоном для изучения записанных песен может послужить сравнительный новогвинейский материал.

Среди записей бонгуанского фольклора единственный образец военно-обрядовой песни. Папуас средних лет Абудь (Гулом), исполнивший ее, определил ее как песню, исполнявшуюся когда-то перед битвой. По-видимому, весь фольклорно-песенный пласт, связанный с войной, военными обрядами, походами и т. д., по-настоящему уже не живет, так как межплеменные войны, стычки между деревнями на Берегу Маклая довольно давно прекратились. Между тем имеющиеся материалы по другим районам Новой Гвинеи позволяют утверждать, что в те времена, когда межплеменные войны были частью папуасского быта, существовали специальные обряды и ритуалы, в состав которых непременно входили песни. Исполнение танцев и песен, особых заклинаний перед походом или перед началом сражения отмечено в разных местах Новой Гвинеи¹⁷.

Несомненно, почти обязательный характер носило исполнение песен при возвращении из победного похода¹⁸. Песни также пелись во время празднования военного успеха¹⁹. Над убитыми женщины племени ятмул исполняли причитания²⁰. Любопытная церемония с танцами и песнями совершалась при заключении мира²¹.

Мы видим, таким образом, что наши записи песен с Берега Маклая не есть нечто случайное и разрозненное. В сущности, за каждой из них

¹³ F. E. Williams, *Natives of Lake Kutubu*, p. 112.

¹⁴ R. M. Berndt, *Указ. раб.*, стр. 104.

¹⁵ J. Van Baal, *Указ. раб.*, стр. 523, 526.

¹⁶ Там же, стр. 577.

¹⁷ Там же, стр. 723, 724. Ср. также: R. W. Williamson, *The Mafubu Mountain people of British New Guinea*, London, 1912, p. 216, 217; G. Landtman, *The Kiwai Papuans*, p. 149—157; D. Jenness, A. Ballantyne, *Указ. раб.*, стр. 83, 84; J. F. Champion, *Across New Guinea from the Fly to the Sepik*, London, 1932, p. 101; T. Aufenanger, *The war-magic houses in the Waghi Valley and adjacent areas (New Guinea)*, «*Anthropos*», vol. 54, 1959, f. 1—2; R. A. Rapoport, *Pigs for the ancestors. Ritual in the ecology of a New Guinea people*, London, 1973, p. 119—138.

¹⁸ G. Landtman, *The Kiwai Papuans*, p. 162—164; W. N. Beaver, *Unexplored New Guinea*, London, 1920, p. 174; R. M. Berndt, *Указ. раб.*, стр. 236, 242, 243, 281, 282; F. E. Williams, *Orokaiva society*, p. 171, 172; M. Williams, *Указ. раб.*, стр. 130; D. Jenness, A. Ballantyne, *Указ. раб.*, стр. 165; G. I. Held, *The Papuans of Waropen*, The Hague, 1957, p. 207—209.

¹⁹ R. M. Berndt, *Указ. раб.*, стр. 114, 115; F. E. Williams, *Orokaiva society*, p. 173; M. Mead, *Sex and temperament in three primitive societies*, London, 1935, p. 186—188; J. Van Baal, *Указ. раб.*, стр. 749; G. Bateson, *Naven*, Cambridge, 1936, p. 19—21.

²⁰ G. Bateson, *Указ. раб.*, стр. 147; M. Williams, *Указ. раб.*, стр. 290, 291; G. Landtman, *The folk-tales of the Kiwai*, p. 409.

²¹ R. M. Berndt, *Указ. раб.*, стр. 235—236; R. A. Rapoport, *Указ. раб.*, стр. 147—151; K. F. Koch, *War and peace in Jalémó*, Cambridge, 1974, p. 83—86.

прослеживается определенная традиция, каждая является частью известной системы и должна рассматриваться в составе какого-либо комплекса с прочными функциональными и мировоззренческими связями.

Именно это обстоятельство позволяет подойти к изучению бонгуанского песенного фольклора вполне серьезно и глубоко, с применением современной проблематики и новейшей научной методики.

Один из вопросов, требующих специального рассмотрения, касается жанрового состава бонгуанского песенного фольклора.

Мы уже видели, что бонгуанские песни в функциональном плане отличаются определенностью и последовательной дифференциацией. Правда, здесь возникает одна сложная проблема. Дело в том, что относительно функционального значения некоторых песен характеристики, полученные мною во время записи от информаторов, разошлись с теми, которые полгода спустя были даны сотруднику миссии, работавшему с певцами по просьбе Крэга Саймонса. Например, песня, которую мне характеризовали как похоронную, определена в записях, присланных из миссии, как любовно-магическая. О песне, исполняемой при обряде инициации, здесь же сказано, что она пелась, чтобы дать силу ловушке для рыбы, при этом исполнитель держит в руках самое ловушку и красную землю (?).

Юноши так изложили мне смысл одной простой песни: «В этой песне поется о петухах, мы называем ее „о петухах“. Когда человек умирает, мы взволнованы его смертью, и тогда мы будем петь эту песню... будем плакать о нем». В объяснении, зафиксированном в записках сотрудника миссии, об этой же песне говорится другое: «Эта песня исполняется рано утром, в то время, когда лесной петух (лесная птица?) возле Бугати издает свои звуки. Песня исполняется втайне, чтобы кто-нибудь не лишил ее силы. Цель ее — освободить от любовной магии женщину, решившую уйти от мужа».

Откуда такой разницей? Можно, конечно, кое-что отнести на счет информаторов, не всегда точно знавших (или помнивших) смысл той или иной песни. Но можно также предположить, что некоторые песни не были однофункциональными, а следовательно и однозначными, имело место сочетание нескольких (по крайней мере двух) функций и значений. По-видимому, сознание коллектива, создавшего и хранившего эти песни, основываясь на определенном комплексе представлений о мире и об отношениях внутри него, устанавливало между некоторыми явлениями специфические связи, которые и получали реализацию в песнях.

О том, что одни и те же песни (т. е. песни одного типа) функционируют в разных по своему характеру и назначению ритуалах, обрядовых эпизодах и получают при этом разный смысл, можно заключить и на основании некоторых данных из других районов Новой Гвинеи.

При всем том мы вправе говорить о четкой функциональности папуасских песен, и признак этот надо отнести к числу жанрообразующих. По-видимому, именно по функциональной принадлежности песни чаще всего получают названия, которые можно трактовать как жанровые или видовые. К сожалению, в Бонгу мне удалось зафиксировать вполне определенно только одно такое название — *аран*. Характерно, что термин этот означает не только «причитание», «похоронная песня», но и «обычай оплакивания».

Никак не проясненным пока остается вопрос о том, насколько развиты в папуасском фольклоре другие характерные жанрообразующие и жанроразделительные признаки — структурные, тематические, образные, наконец, музыкальные. Дело в том, что исследование папуасской песни с этой стороны, кажется, еще по-настоящему не началось.

3. Песенный текст и его значение.

Знакомство с песенными текстами фольклора Новой Гвинеи позволяет в предварительном порядке определить некоторые их типовые особен-

ности. Во-первых, тексты эти кажутся весьма элементарными. Среди записанных бонгуанских песен нет ни одной, где текст не укладывался бы в одну-две коротких фразы. Несколько слов (три-четыре), иногда даже одно слово, повторяемые много раз — вот и все. Столь же простым кажется содержание текстов: какие-то имена, названия зверей, птиц или деревьев; сообщение о простых, хотя и не всегда понятных действиях; мотивы еды, иногда стрельбы, смерти, чьего-нибудь прихода или ухода; звукоподражания и т. д.

Например, в одной бонгуанской песне многократно повторяется «gilogilo gilogilo-o-o»: это воспроизведение в слове крика черного какаду. Элементарной представляется синтаксическая организация текста: слова, входящие в текст, для нас с трудом укладываются в законченное смысловое целое; при чтении текста обнаруживаются смысловые лакуны; чтобы понять текст (а тем более песню как нечто целое), необходимо эти последние заполнить другими словами — придать тексту определенную степень законченности, связности. Р. Берндт, чтобы раскрыть смысл песен, прибегает к двойной операции. Сначала он дает буквальный перевод, добавляя в скобках отдельные слова и тем самым придавая тексту относительную законченность; затем он дает полный смысловой перевод, опираясь, конечно, на толкования знающих информаторов.

Вот один показательный пример.

1-й перевод: «[Они] открывают нашу дверь, чтобы украсть. [Мы] приходим в Игамунтерампи. Раковины [они крадут]. [Из] Егунитамби. Раковины [они крадут].

[Мы] запираем наши двери крепко».

2-й перевод: «Люди Аванти Каса пришли к нашим дверям, открыли, вошли, чтобы украсть раковины; так они оставили нас. Теперь мы приходим, в то время как вы внутри своих домов. Мы запираем дверь, поджигаем дома, стреляем в вас»²².

Если исходить из того, что второй перевод — не досужая выдумка, а более или менее точная передача сообщения информаторов, то надо признать, что мы имеем дело с весьма своеобразной конструкцией текста. Напрашивается вывод, что в сознании людей, знающих данную песню, существует «полный» текст, в самой песне не воспроизводимый. В песне, оказывается, есть сюжет, есть реальные временные и пространственные отношения. Значит, повествовательность, сюжетность не передается прямым песенным текстом, но присутствует в нем скрыто. А раз это так, то элементарность текста лапуасской песни — только кажущаяся: малое число слов еще не означает малой содержательности.

В песенном тексте проглядывают — в разных формах выраженные — моменты композиционной организованности. Иногда песня может состоять из ряда фраз, симметрично построенных, либо из одинаковых фраз, где меняются лишь одно-два слова. По-видимому, именно повторяемость, по-разному организованная, и придает текстам видимую упорядоченность.

Одной из главных, наиболее принципиальных особенностей рассматриваемых нами песен является последовательная и весьма своеобразно выражаемая связь текста с его функцией. В конечном итоге именно эта связь определяет характер текста и придает значение его содержанию. Вне такой связи текст оказывается либо бессмысленным, либо в содержательном плане плоским. Связь эта оказывается достаточно сложной, поскольку она соотносит текст с функцией далеко не всегда прямо, в лоб, но чаще — в формах специфической образности и в обусловленности системой представлений, магических верований, мифологических знаний. Имеющийся в нашем распоряжении материал дает возможность подойти к рассмотрению характера этих связей и выявить некоторые их типы.

²² R. M. Berndt, Указ. раб., стр. 115.

Есть песни, содержание которых более или менее прямо связано с той типовой ситуацией, которой песня функционально адресована. Это характерно, например, для ряда военных песен — с постоянными мотивами нападения на врагов, готовности к сражению, стрельбы, убийств, захвата пленных²³. Песни здесь воспроизводят желаемое, то, к чему стремятся воины; песни как бы опережают ожидаемые события («Я убил врага в огороде... Там он лежит...»).

Нельзя, конечно, и в таких случаях считать, что все содержание песни исчерпывается прямым текстом. В бонгуанской песне, которую поют, когда готовят под огород участок в лесу, слова как будто вполне определены: «о куго о куго о куго gasim-o» («куго» — название дерева, «gasim» — личная форма глагола, означающего «подрубать вокруг»). Между тем текст не просто описывает реальное действие, он связан с некоторой серией магических задач — избавления дерева от злого духа, придания большей силы топору, ослабления самого дерева. Следовательно, «обычные» слова, которые не утрачивают своего прямого значения, в составе песни (и шире — всего действия) приобретают дополнительные значения, причем это происходит без их метафоризации, вообще без внесения моментов иносказательности. Новое значение возникает за счет магического контекста. В тексте есть одна подробность, которая все же выводит и его прямое значение за пределы обыденного: по словам информаторов, «куро» — название вида дерева, бонгуанцам неизвестного. С фактами использования в песне необыденных, экзотических слов и названий мы еще встретимся. Является ли «куро» просто экзотическим словом, или за ним нужно искать нечто более серьезное (тотемное имя, мифологическое имя) — сказать определенно нельзя. Исследователю всегда приходится быть настороже: любое песенное слово может таить загадку.

В принципе можно считать, что функциональные связи песен и их текстовые выражения более просты и не столь многозначны в жанрах, которые не входят в состав сложных ритуалов, церемоний, в меньшей степени соотносятся со сложным мифологическим контекстом. Мы это уже видели на примере одной трудовой песни — «куро». Другая песня, также сопровождающая вырубку участка леса, состоит из одного слова «gilogilo» (подражание крику черного какаду). По объяснению информаторов, «сила песни лежит в речи попугая», другими словами — магическая сила песни (текста прежде всего) обусловлена представлением об особой силе крика черного попугая и о возможности эту силу использовать, имитируя крик.

Песня рыбаков состоит из таких слов: «Kanai o Indor aso». Kanai — чайка; Indor — угорь, aso — личная форма от глагола «есть». Перевод песни: «Чайка ест угря». Смысл песни: «Помочь людям поймать рыбу. Эта песня дает чайке силу найти рыбу и показать людям, где рыба».

Перед нами магическое действие, в основе которого лежит вполне реальный мотив: чайки указывают рыбакам на скопление рыбы. Текст песни составлен по принципу «наведения», он описывает искомую ситуацию и тем самым вызывает ее.

Есть песни, тексты которых прямо накладываются на элементарные действия и вместе с ними производят соответствующий магический эффект. Повторение в песне названия цветка дает поющему некоторую силу. Когда он с песней подносит тот же цветок женщине, этого оказывается достаточно, чтобы она полюбила его. Здесь слово песни, предмет и действие слиты в едином магическом акте.

Слово обладает силой постольку, поскольку с предметом, им обозначаемым, ассоциируются магические представления. Из объяснений жителей деревни Бонгу явствует, в частности, что такого рода представле-

²³ R. M. Berndt, Указ. раб., стр. 115.

ния связаны с листьями. «Каждый вид листьев имеет различную силу. Например, длинный красный лист употреблялся как источник силы в битве. Другие помогали при изготовлении каноэ и т. д.».

Много раз повторяя слово тиго-тиго (означающее одну из разновидностей листа), поющий тем самым придает листу силу и с помощью его надеется овладеть женщиной. «О репји» («О победный лист») — это слова песни участников обряда инициации, и в данном случае текст не сводится к столь же однозначному смыслу и к некоему относительно простому акту, поскольку здесь он оказывается включенным в сложный ритуальный контекст.

С символикой листьев мы встречаемся в инициационных песнях и других районов Новой Гвинеи. Когда мужчины форе ведут юношей из леса, они поют: «Мы несем красные листья вареву!»²⁴.

В песне другого типа — тот же образ листьев: **мужчины орокаива**, возвращаясь после успешного похода, издавлекa предупреждают своих женщин звуками трубы и песней:

Лист еруга — приправа,

Лист исуга — приправа.

Песня одновременно сообщает о победе и напоминает женщинам о том, что они должны приступить к приготовлению пищи²⁵.

В песнях, сопровождающих у форе своеобразный обряд *авагли* (потения), женщины сообщают, что они несут участникам обряда «листья красных цветущих растений»²⁶.

Поскольку ритуалам свойственна символика выражения и поскольку любой элемент имеет символическое содержание, которое соотносится взаимно и вместе с тем с общим символическим значением, постольку и ритуальные песни пронизаны символикой. Р. Берндт, конечно, прав, говоря о том, что значение песенного символа определяет контекст, в котором он употребляется. При этом важна устойчивость того и другого. Специальный смысл песенной символики у папуасов обусловлен тем, что ее значения приняты и поняты коллективом²⁷. К этому можно добавить, что в такой обусловленности проявляются закономерности объективного порядка.

Обрядовая песня иногда буквально следует «шагам» обряда, повторяя некоторые действия его участников. Когда посвящаемых приводят из леса в деревню и вводят в мужской дом, родители украшают своих детей, при этом песня описывает, что происходит: «Мы привязываем перья попугая...»; «Красные перья птицы... Мы укладываем их вокруг вас»²⁸.

Очевидно, что само украшение здесь имеет символический смысл, а значит и песня символична.

Обрядовая песня может описывать события, которые частично воспроизводятся в символических ритуальных действиях, но в полной мере осуществляются лишь в воображении участников обряда соответственно комплексу известных представлений. Это отчетливее всего проявляется в похоронных песнях и причитаниях. Известно, что, по поверьям папуасов, умершие уходят в другой мир, совершая странствие на восток. Они сидят на ветвях и сучьях деревьев. По дороге у них происходят разнообразные встречи и приключения. Похоронные песнопения, в частности, описывают это путешествие умерших. Отсюда понятен смысл таких песенных фраз: «Зерна косабуру будут вашей пищей на востоке... Вы будете цепляться

²⁴ R. M. Berndt, Указ. раб., стр. 101.

²⁵ F. E. Williams, Orokaiva society, p. 171.

²⁶ R. M. Berndt, Указ. раб., стр. 77.

²⁷ Там же, стр. 59—60.

²⁸ Там же, стр. 102.

за ветви турифа и пальмы сенегани... Вы будете цепляться за банановые листья»²⁹.

Особый интерес представляют песни, тексты которых целиком или в значительной степени заполнены перечислением имен или топонимов. На первый взгляд может показаться, что такие песни лишены серьезного содержания. Однако почти наверняка можно предполагать, что в них мы имеем дело с мифологическими мотивами. Так, в песнях типа *ярут*, исполняемых у маринд-аним в честь умерших, строго соблюдается порядок упоминания топонимов, поскольку одна из функций песен — сопровождать умерших в их путешествии: называемые в песнях места отмечают пункты путешествия и фиксируют его последовательность. Наряду с топонимами реальными песня может называть места мифологические³⁰.

Текст песен, сопровождающих обряд, которым отмечается первый боевой успех молодого воина, построен на сериях тотемных имен³¹. В приводимом исследователем тексте перечисляются имена рыболовных ловушек, и о каждой говорится, что ее невозможно поразить выстрелом и копьем. Можно было бы подумать, что смысл такой песни производственно-магический. Между тем магия здесь не производственная, но сексуальная. Рыболовные ловушки являются символами, значение которых относится к женщинам. Когда в конце песни «герой», которому она адресуется, вопреки ее словам пронзает ловушку копьем, это означает его успех в сексуальной борьбе. Кроме того, тотемные имена рыболовных ловушек применяются к восточному ветру и употребляются шаманами в отношении женщины³².

Связи с мифологией всплывают в песнях самых различных функций. Например, песни типа *айасэ*, которые поются у маринд-аним перед военным походом и непосредственно во время похода, относятся к мифической старухе Собра. Ее имя может и не упоминаться, но в тексте есть связанные с нею мифологические мотивы и образы (например, дом солнца, мифический охотник за головами)³³.

В одном из эпизодов обряда инициации перед посвящаемыми появляется мифический предок. Он разыгрывает пантомиму, касается голов посвященных пучками травы, бросает на них комки глины и т. п. Весь этот эпизод относится к мифу, с которым знакомят посвящаемых. Повидимому, и песни, которые поет являющийся перед ними персонаж, заключают в себе мифологическое содержание, облеченное в ряд символических образов³⁴. Кроме того, всю ночь старики поют песни, адресованные этому мифическому лицу.

Словарь песенной символики папуасов известен нам очень плохо. Будучи естественной и органической частью знаний данного коллектива, эта символика чаще всего не замкнута в границы песни. Скорее всего, она приходит в песню извне — из обряда, ритуала, мифа. При этом нередко характер ассоциативных связей поражает своей причудливостью. Во время обряда *авагли*, который мужчины форс совершают в течение многих дней, матери поют песню о своих сыновьях: «Мой фибр орхидеи вырван, он приходит в известные места» (они названы поочередно в тексте). Символ этот относится к пуповине сына. В целом же песня описывает выход юноши из дома по совершении обряда³⁵.

²⁹ F. E. Williams, *Natives of Lake Kutubu*, p. 121—122. См. также: И. Бьерре, Указ. раб., стр. 123, 124.

³⁰ J. Van Baal, Указ. раб., стр. 797—799.

³¹ G. Bateson, Указ. раб., стр. 20, 21.

³² Там же, стр. 21.

³³ J. Van Baal, Указ. раб., стр. 723—724.

³⁴ Там же, стр. 523, 526.

³⁵ R. M. Berndt, Указ. раб., стр. 78

Из приведенных примеров (их можно было бы значительно умножить) явствует, что собственно фольклористическое изучение папуасских песен неотделимо от этнографического изучения. Прочесть папуасскую песню — значит понять ее функциональные связи, раскрыть ее производственно-магические, ритуально-обрядовые, мифологические, различные традиционно-бытовые отношения, выявить ее место в определенном контексте, понять ее символику.

Таким путем мы сможем приблизиться к уяснению новогвинейского песенного фольклора (в том числе и фольклора Берега Маклая) как своеобразной системы, в которой собственно художественное начало существует нераздельно с внехудожественными связями.

PROBLEMS IN THE STUDY OF SONG AND MUSIC FOLKLORE ON MACLAY COAST

The paper is based on a comparative analysis of song texts collected on Maclay Coast in the course of an expedition in 1971 and folklore materials from other regions of New Guinea published by ethnographers at various times.

Papuan song folklore is regarded by the author as one of the historically formed and largely surviving up to our own days variations of folklore characteristic of primitive tribal society. The chief specific feature of Papuan folklore is the direct and organic inclusion of songs into the structure of situations in everyday life having importance for the community; such are primarily ritual celebrations and ceremonies, various complexes of rites, magical actions having to do with production or domestic life. It is these functional links that primarily determine the genre features of the songs, their structure, the contents of the texts, the presence of mythological and magical meanings, etc.

А. А. Формозов

О РАБОТАХ А. Д. СТОЛЯРА ПО ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ И КРИТИКЕ ИХ Р. Я. ЖУРОВЫМ

В 1962—1972 гг. археолог А. Д. Столяр опубликовал серию статей о палеолитическом искусстве и его предыстории. В 1972 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Происхождение изобразительного искусства Евразии в историко-археологическом освещении». Эта работа, объемом до 30 печатных листов, сейчас готовится к изданию. Обсуждать «гипотезу Столяра» было бы целесообразно после выхода в свет его итогового труда. Нельзя признать удачным и то, что в основу начатой дискуссии положена критическая статья, не содержащая позитивных моментов, а о сути критикуемых работ читатели получают представление из вторых рук и притом не всегда точное.

В реферате диссертации А. Д. Столяра перечислено 17 его публикаций. Р. Я. Жуков использует 5, в том числе тезисы докладов 1963 и 1964 гг., оставляя без разбора и сам автореферат¹ и две большие — по 2—3 печатных листа статьи². Уже из-за одного этого, положения А. Д. Столяра передаются неполно, часто в первоначальных формулировках, позднее уточненных автором.

Основной пафос статьи Р. Я. Жукова³ заключен в том, что хотя «как всякая научная гипотеза концепция А. Д. Столяра имеет право на существование» (стр. 61), она «не может быть возведена в ранг научной теории» (стр. 56), ибо «необходима еще очень большая и кропотливая работа для доказательства ее истинности» (стр. 62). Вряд ли с этим кто-либо станет спорить. Ведь сам А. Д. Столяр ни о каких «рангах научной теории» не говорил, а писал о «попытке с неясным конечным исходом», о «гипотезе, требующей разработки и уточнения» (АСГЭ, стр. 28, 36). Удивляющие Р. Я. Жукова «положительные отклики в научной и популярной литературе» (стр. 51) вызваны не тем, что писавшие о статьях А. Д. Столяра увидели в них «качества твердо установленной теории» (стр. 54). 30 лет отделяют книгу А. С. Гущина «Происхождение искусства» (1937) от книги А. П. Окладникова «Утро искусства» (1967). За эти 30 лет у нас не появилось не только ни одной книги, но, пожалуй, и ни одной статьи по такой принципиально важной проблеме. Радостно, что сейчас положение коренным образом изменилось, и большой коллектив советских ученых целеустремленно занимается происхождением искусства. У нас вызывают удовлетворение публикации, всего лишь доб-

¹ А. Д. Столяр, Происхождение изобразительного искусства Евразии в историко-археологическом освещении, Автореферат докт. дис., Л., 1972 (далее в тексте — автореферат).

² А. Д. Столяр, О роли «натурального макета» как исходной формы изобразительного творчества, «Археологический сборник Гос. Эрмитажа», т. 6, Л., 1964, стр. 20—52 (далее в тексте — АСГЭ); его же, К вопросу о социально-исторической дешифровке женских знаков верхнего палеолита, «Материалы и исследования по археологии СССР», № 185, 1972, стр. 202—219 (далее в тексте — МИА).

³ Р. Я. Жуков, Об одной из гипотез происхождения искусства, «Сов. этнография», 1975, № 6, стр. 51—62 (далее цит. в тексте с указанием страниц).

росовестно излагающие материалы, выявленные за последние годы за рубежом. Тем более отраднo, что советский ученый разработал свою оригинальную гипотезу происхождения изобразительного искусства, основанную на внушительном числе фактов, строго логичную во всех своих звеньях. Гипотезу выдвинул археолог, сам исследовавший в поле ряд памятников каменного века, человек, работавший в Эрмитаже, общавшийся с ведущими нашими искусствоведами, многому научившийся у них.

Я считаю, что кое в чем должна порадовать нас и статья Р. Я. Жuroва. Автор ее — философ, но он внимательно следит за археологической литературой. В отличие от своих коллег Л. Б. Переверзева, А. Ф. Еремеева, Л. Г. Юлдашева, выпустивших за последнее десятилетие книги по искусству⁴ не познакомившись с азами археологии, он в курсе новых публикаций об искусстве палеолита. Но есть в статье Р. Я. Жuroва некий атавизм — пережиток той ушедшей эпохи, когда обсуждать проблемы первобытного искусства было трудно из-за обвинений в тех или иных идеологических ошибках. Это страница, где Р. Я. Жuroв утверждает, будто «А. Д. Столяр ищет источник искусства в религии», что те, кто разделяют его гипотезу «становятся защитниками религии», тогда как «стоя на атеистических позициях..., мы должны исходить из того, что по своей природе религия и искусство не могут быть генетически связаны, ибо первая... отражает действительность искаженно, вторая — правильно» (стр. 61). О происхождении искусства от религии А. Д. Столяр ни в одной статье, конечно, не говорит. Он пишет о другом: «обращаясь к древнейшей истории сознания, постоянно следует иметь в виду положение об его общем синкретизме и нерасчлененности..., подтверждаемое материалами этнографии» (автореферат, стр. 48, 49). Прочитированные слова Р. Я. Жuroва искажают исходные позиции А. Д. Столяра. Такой прием в споре не способствует серьезной разработке сложных проблем.

Не точен Р. Я. Жuroв и в ряде других мест. Статья его названа «Об одной из гипотез происхождения искусства». Между тем А. Д. Столяр всюду говорит не об искусстве вообще (включая танец, музыку, пение, театр, архитектуру), а об «изобразительной деятельности» и видит свою задачу в выявлении конкретных археологических данных в этой области, а не в решении общеполософской проблемы (см. название его диссертации). От произведенной Р. Я. Жuroвым перестановки акцентов многое меняется.

Немало внимания уделяет Р. Я. Жuroв хронологии памятников палеолитического искусства. Ему кажется, что разысканные им в литературе даты с легкостью опровергают построения А. Д. Столяра. И здесь он не прав. Неверно, что А. Д. Столяр относит фигуру медведя из Монтэспана к мадленскому времени (стр. 54). Он как раз приводит веские аргументы в пользу ее ориньякского возраста (АСГЭ, стр. 35, 36). Но суть дела не в этом. Читатели «Советской этнографии» лучше, чем кто-либо, должны знать, что описание австралийских обычаев, сделанное в XIX в. н. э., может отражать неизмеримо более древнюю стадию культуры, чем клинописные документы III тысячелетия до н. э. из Передней Азии. Так же и с произведениями искусства. Церкви в Кихах построены в 1714 и 1764 гг. — позже Петропавловского собора, зданий Кунсткамеры, 12 коллегий и Зимнего дворца в Петербурге. Но совершенно очевидно, что в курсе истории искусства место Кижей не после архитектуры барокко в Петербурге, а в главе о древнерусском зодчестве, причем скорее до глав о каменном строительстве XI—XVII вв., чем после них. Скульптура Мон-

⁴ Л. Б. Переверзев, Искусство и кибернетика, М., 1966; Л. Г. Юлдашев, Эстетическое чувство и произведение искусства, М., 1969; А. Ф. Еремеев, Происхождение искусства, М., 1970.

тэспана может быть и мадленской, но это не помешает использовать ее для характеристики начальных этапов пластики.

Что же касается дат палеолитических изображений вообще, то, к сожалению, они в целом не очень точны. В подавляющем большинстве пещер с росписями и гравировками нет культурных слоев. Это не стоянки, а святилища. Там, где слои есть, они обычно не перекрывают рисунки и, следовательно, не могут их твердо датировать. Сопоставления находок на стоянках и наскальных изображений возможны, но выводы из таких сопоставлений отнюдь не бесспорны. А. Брейль, на чью схему опирается Р. Я. Жуков, дал на протяжении своей работы три весьма отличающиеся друг от друга периодизации палеолитического искусства. Сейчас выдвигаются новые схемы (А. Леруа-Гурана и др.)⁵. Таким образом, все рассуждения Р. Я. Жукова о хронологии, на взгляд археолога, быют мимо цели.

Не прав он, и набрасывая тень сомнения на материалы о «медвежьих пещерах» эпохи мустье, говоря о «недоброкачественности сообщений Бехлера», о том, что проверки их «сделано не было» (стр. 53). А. Д. Столяр достаточно критически относится к материалам Э. Бехлера (автореферат, стр. 26, 27) и привлекает помимо их аналогичные данные из недавних раскопок во Франции, Италии, Югославии, Венгрии, Польше и в СССР (Кударо III, Ахштырь, Навалишено, Ильинка). Это и есть проверка старых материалов, давшая положительный результат.

Означает ли это, что гипотеза А. Д. Столяра удовлетворяет меня и с фактической стороны, и в своих исходных позициях? Нет, на мой взгляд, в ней можно найти несколько слабых звеньев.

1) Автор рассматривает палеолитическую культуру как нечто единое в рамках всей Евразии. Археологи сейчас все больше отходят от такого взгляда. Развитие культуры во Франции и в Сибири, в Италии и на Среднем Дону шло разными путями. Монументальное искусство эпохи палеолита связано с территорией Испании и Западной Франции. Мустье Швейцарии может и не иметь отношения к возникновению скульптуры на крайнем западе Европы. Тем более это касается мустье Кавказа. Показательно, что даже произведений искусства малых форм в позднем палеолите Швейцарии очень немного, а на Кавказе их почти нет.

2) История возникновения палеолитического искусства строится А. Д. Столяром вокруг образа пещерного медведя («медвежьих пещеры» мустье, изображения Монтэспана, Долних Вестониц, Коломбьера), но образ медведя мало характерен для палеолитического творчества. По подсчетам А. Леруа-Гурана, изображений медведя всего 3% от общего числа (ср. бизон — 15%, лошадь — 24%). Если «натуральный макет медведя» легко себе представить, да и «макеты» лошади и бизона как-то возможны, то уже трудно вообразить себе «макет мамонта». А этот зверь был основной охотничьей добычей в Восточной Европе и чаще всего запечатлен в искусстве этой области. И так ли обязателен был всюду «этап макета»? Даже по А. Д. Столяру изображения женщин возникли без стадии макета.

3) Не все приведенные А. Д. Столяром факты могут иметь отношение к зарождению изобразительной деятельности, скажем расчленение туш животных в глубочайшей древности Олдувая (автореферат, стр. 28). Туши расчленяют и хищные звери. Для лучшего понимания «медвежьих пещер» было бы важно проанализировать размещение костей в отложениях пещер, заселенных не человеком, а только хищниками. Такие пещеры с многочисленными костями медведя раскапывались на Урале. Есть они и на Кавказе.

⁵ Обзоры литературы см.: H. Breuil, *Quatre cents siècles d'art pariétal*, Montignac, 1952; H. Kühn, *Eiszeitkunst. Die Geschichte ihrer Erforschung*, Göttingen — Berlin — Frankfurt — Zürich, 1965; A. Leroi-Gourhan, *Préhistoire de l'art occidental*, Paris, 1965.

4) А. Д. Столяр не уделил должного внимания знакам, занимающим заметное место среди палеолитических гравировок и росписей (15% по А. Леруа-Гурану). По мнению А. Д. Столяра, едва ли не всякий знак — результат упрощения какого-либо изображения: крест — изображение обвязанного камня — кистеня, ямки и углы — изображения ран (автореферат, стр. 23. Ср. МИА стр. 202—219). Между тем у всех охотничьих народов существуют такие знаки, как затески и зарубки на деревьях. В них вкладывается определенный смысл, но ничего конкретного они не изображают: В мустьерскую эпоху уже были знаки — крест на камне из Таты, ямки на плите из Ля Ферраси, ритмические нарезки на костях. Вряд ли это результат упрощения изображений, которых тогда и не было. «Знак старше образа», — правильно говорит вслед за Гегелем А. Леруа-Гуран. Отпечатки намазанных краской рук на стенах пещер, связанные с началом верхнего палеолита, тоже не изображения в прямом смысле слова, а знаки. Из этого следует, конечно, не то, что изобразительное искусство развилось из знаков, но во всяком случае то, что с очень раннего времени наряду с предельно реальным «натуральным макетом» существовали и абстракции. А это отнюдь не безразлично для понимания интересующей нас проблемы.

5) А. Д. Столяр прошел мимо новых направлений в изучении палеолитического искусства, отраженных в работах А. Леруа-Гурана, А. Ляминг-Амперер и др., мимоходом сказав лишь о «тенденциозности» Леруа-Гурана (автореферат, стр. 19). Действительно, в его книгах немало фантазий, навеянных, в частности, фрейдизмом, но там есть и ценные данные, говорящие против магической теории С. Рейнака, безусловно повлиявшей на построения А. Д. Столяра (здесь прав Р. Я. Жуков). Есть у Леруа-Гурана и интересные аргументы в пользу мифологической интерпретации палеолитических изображений: повторяющиеся в разных пещерах сложные композиции, размещение определенных изображений в определенных частях пещер. С этим совпадают наблюдения А. Д. Столяра, отметившего повторяющиеся композиции Ляско, Пиндаля, Рок дю Сер и Виллара⁶, но эти наблюдения не развиты им. А. Д. Столяр выходит в этом, как и в некоторых других важных вопросах, немного архистом. Критикуя археологов-эволюционистов XIX в., не признававших палеолитическое искусство, он сам строит чисто эволюционистскую схему медленного развития от этапа к этапу. Но в процессе возникновения искусства возможны и быстрые скачки, подобные тем, какие наблюдаются в развитии обработки кремня от мустье к верхнему палеолиту.

Можно привести и другие возражения против гипотезы А. Д. Столяра, но они не изменяют главного. Перед нами сложнейшая проблема, имеющая много аспектов. Решение ее не может быть результатом работы одного археолога или философа. Над нею будут думать еще поколения ученых — специалистов в разных областях гуманитарных наук. Заслуга А. Д. Столяра в том, что он наметил новые направления поисков, сгруппировал известные факты по-новому — в строго продуманный эволюционный ряд. Над поставленными им вопросами надо еще долго работать и ему, и другим. В этой работе должны участвовать не только археологи, но и этнографы, психологи, лингвисты. Важная роль принадлежит в этом деле и философам. Хорошо, что среди них появились люди, следящие за археологической литературой. Но одного этого мало. Им надо проявить больше объективности в оценке сделанного, больше понимания встающих перед археологами и специальных частных вопросов, и общих весьма трудных для осмысления проблем.

⁶ А. Д. Столяр, О женском образе верхнего палеолита, «Тезисы докладов сессии, посвященной итогам научной работы Гос. Эрмитажа за 1963 год», Л., 1964, стр. 9.

МНОГОПЛАНОВОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
ГЕНЕЗИСА ИСКУССТВА

Проблема путей возникновения такого феномена, как изобразительное искусство, не только сложна, но и существенно затемнена теми идеалистическими, а порой и просто мистическими спекуляциями, которые продолжаются вокруг нее в буржуазной науке. Поэтому понятно, какую большую ценность имеют все конструктивные, основанные на материалистической базе поиски обстоятельств и факторов, способствовавших не только появлению самого феномена искусства в законченном виде, но и предпосылок к его возникновению, их постепенной эволюции. В этой связи следует сказать, что получившая довольно широкое признание в советской науке в последние годы гипотеза А. Д. Столяра ценна прежде всего уже тем, что направлена на изучение именно таких пластов человеческой деятельности, которые более ранними исследователями не были распознаны как имеющие значение для данной проблемы и которые датируются временем несравненно более давним, чем сами памятники палеолитического искусства, а именно, эпохами ашель и мустье.

В опубликованной недавно дискуссионной статье Р. Я. Журова¹ эта гипотеза подверглась критическому разбору. Наиболее конструктивным моментом этой статьи нам представляется данная в ней формулировка задач дальнейшего исследования: необходимость выяснить, как и почему в обществе появляется потребность в отражении мира в форме художественного образа, и на каком уровне развития появляется возможность удовлетворения этой потребности. Правильно и утверждение статьи о том, что решение этих вопросов возможно лишь при комплексном приложении усилий ряда наук, в том числе археологии и этнографии.

Что же касается собственно критической части статьи, то следует заметить, что ряд последних работ А. Д. Столяра остался в ней неучтенным, и сама концепция его изложена лишь в самой общей форме. Поэтому следует напомнить ее сущность читателю в более точных формулировках. Согласно А. Д. Столяру, почву для возникновения изобразительного искусства эпохи верхнего палеолита следует искать в прослеживаемой еще в памятниках нижнего палеолита «натуральной изобразительной деятельности». Предлагаемый А. Д. Столяром эволюционный ряд, хронологически датируемый временем от ашеля до шатльперрона, схематически выглядит так: а) экспонирование значительной части туши зверя, б) экспонирование отдельных символических частей зверя, в) создание хранилищ для этих частей, г) использование естественной фигурной основы для создания натурального макета с дополнением символических частей, таких как голова, шкура, д) создание такого макета с основой из камней, е) создание лепной основы натурального макета, ж) создание лепной основы, передающей всю фигуру, кроме головы, з) создание полнообъемной скульптуры, и) превращение последней в профильный барельеф, к) переход от барельефа к профильно-контурному рисунку на глине². Дальнейшее развитие рисунка как в отношении формы (техники), так и в отношении все большей содержательности имеет отношение уже не к генезису, а к путям дальнейшей эволюции уже возникшего феномена изобразительного искусства.

¹ Р. Я. Журов, Об одной из гипотез происхождения искусства, «Сов. этнография», 1975, № 6.

² А. Д. Столяр, Происхождение изобразительного искусства Евразии в историко-археологическом освещении, Автореферат докт. дисс., Л., 1972, стр. 45.

Работы А. Д. Столяра целенаправленно ограничены: как он сам это неоднократно подчеркивает, они посвящены не всестороннему рассмотрению развития искусства вообще, а главным образом генезису палеолитического искусства Евразии и рассматривают его конкретно опять-таки прежде всего в одном аспекте, а именно историко-археологическом. Как указывает А. Д. Столяр, проблема имеет и другие аспекты — философский, психологический, этнографический, которые все еще ждут своей специальной разработки³. С историко-археологической точки зрения гипотеза А. Д. Столяра выглядит достаточно стройно и убедительно. Ее слабым местом является не столько несоответствие предложенных стадий хронологии археологических фактов, как это считает Р. Я. Жуков (в основном как раз эти факты укладываются в предложенную схему достаточно последовательно), а отсутствие достаточных фактических подтверждений только одному из конструируемых этапов, но этапу весьма важному, можно сказать, ключевому: науке почти неизвестны лепные глиняные барельефы палеолитического времени (стадия «и» по А. Д. Столяру). В связи с этим вопрос о том, является ли макетотворческая деятельность исходной по отношению к появлению древнейших контурных рисунков или последние имеют какие-то другие истоки, остается пока открытым. Если же мы обратимся к тем этнографическим источникам, которые, в сочетании с данными археологии, могут быть привлечены для освещения проблем генезиса и эволюции первобытного искусства, то найдем в них некоторые данные и в пользу других гипотез происхождения изобразительного искусства, а именно так называемой «гипотезы макарон» А. Брейля и «гипотезы простого этапа», первоначально выдвинутой еще Буше де Пертом и далее развивавшейся многими исследователями вплоть до самых последних лет, когда она вновь получила поддержку в работах Л. Р. Нуже⁴.

Хотя онтогенетические процессы не всегда способны дать вполне адекватную модель процессов филогенетических, все-таки показательно, что развитие детского творчества в лепке и в рисунке идет параллельно, что тенденций к развитию рисунка из уплощения скульптуры в нем не наблюдается. Не менее показательно, что на доизобразительном уровне стремление к «чирканию карандашом», к нанесению на плоскость сетки линий, притом подчиненной определенной ритмической, композиционной последовательности, присуще не только детям в раннем возрасте, но и высшим обезьянам, когда в их руки попадает любой пригодный для рисования предмет. Подсознательное, автоматическое стремление к рисованию присуще и большинству взрослых людей, причем опять-таки создаваемые ими композиции имеют определенные общие структурные черты.

Хотя бесспорно, что прямая экстраполяция данных современных этнографических наблюдений при истолковании археологических фактов неправомерна, все же данные об образе жизни и поведении современных охотников и собирателей во многом могут нам помочь при осмыслении этих фактов. Долгое время общаясь с современными охотниками-эскимосами, автор этих строк нередко бывал поражен их умением и явно выраженным стремлением увидеть в неживых предметах окружающего мира черты, напоминающие облик каких-либо живых существ. Отдельные скалы, их детали, цветные натеки на скалах, даже контуры целого мыса или группы холмов постоянно отождествляются с моржами, китами, рыбами и другими живыми существами. Отождествление это не произвольно, не носит характера индивидуальной фантазии, а чаще всего общепринято и традиционно. Можно полагать, что оно играет немало-

³ А. Д. Столяр, Указ. раб., стр. 45.

⁴ Boucher de Perthes, *Antiquités celtiques et antédiluviennes*, t. I—II, Paris, 1857; его же, *De l'Homme antédiluvien et ses oeuvres*, Paris, 1860; L. R. Nougier, *L'Art préhistorique*, Paris, 1966.

важную роль как мнемоническое средство при ориентировке, описании маршрута, во время охоты, а также обучения молодого поколения.

Если попытаться как-то развить и синтезировать гипотезы «макарон» и «простого этапа», то можно предположить, что переход от неизобразительного рисования к изобразительному мог иметь место первоначально в виде дорисовывания, дополнения отдельных черт и линий, завершающих образ «узнанного» в контурах естественных предметов животного. В плане хронологии при этом вряд ли имело значение то, какое именно естественное изображение служило объектом доработки: был ли то плоскостной натек — естественный «рисунок» или скальный «барельеф», или же какой-то отдельный объемный предмет — круглая «скульптура». Принципиально верное, цитируемое Р. Я. Журовым замечание А. Ламенг-Амперер, что любой трехмерный объект все равно первично воспринимается как контур, может получить конкретное подтверждение, если мы обратимся непосредственно к уже известным нам памятникам палеолитического искусства. Сейчас можно считать доказанным, что как для многих древнейших образцов палеолитической круглой скульптуры, так и для ряда более поздних образцов первобытного искусства в некоторых охотничье-собираТЕЛЬСКИХ обществах весьма характерен такой специфический изобразительный прием, как полиэikonизм. Между тем ясно, что полиэikonическая так называемая круглая скульптура по самой своей природе не может восприниматься как круглая, напротив, она воспринимается только как совмещенный в одном предмете набор контуров, двух или более, каждый из которых реализуется поочередно при повороте предмета под определенным ракурсом. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что на самих полиэikonических изображениях нередко можно видеть сочетание подмеченных художником естественных териоморфных черт камня с завершающими облик животного доделками⁵.

Хотя на фоне изобилия памятников разных этапов палеолитического искусства Европы сопоставимые с ними стадийно и хронологически материалы из Нового Света выглядят более чем скудно, тем не менее они имеют для нас особую ценность, так как могут быть расценены как свидетельства параллельных, конвергентных, независимо протекавших процессов и тем самым позволяют постулировать некоторые общечеловеческие закономерности в тенденциях развития ранних форм культуры. Примечательно, что среди немногих известных здесь образцов искусства палеолитического времени древнейшим является волк из Текишкьяка. Это слегка доработанная крестцовая кость вымершего вида ламы, которая и сама по себе очень напоминает голову волка, но сходство это в данном случае усилено путем небольшой доработки⁶.

Другие памятники палеолитического искусства Нового Света — это по преимуществу контурные изображения тапиров, мастодонтов и других животных, иногда очень близко сходные с контурными гравировками на кости из палеолита Западной Европы.

На наш взгляд, нет в принципе надобности оспаривать возможность того, что в далеком прошлом человечества, равно как в ряде случаев и в этнографической современности, могли иметь место такие формы деятельности, когда «натуральный макет», например глыба камня, размерами и очертаниями напоминающая зверя, в культовых или каких-либо иных целях дополнялась натуральной головой зверя, его шкурой или черепом. Точно так же и в тех же целях мог сооружаться глиняный или

⁵ Э. Е. Фрадкин, Полиэikonическая скульптура из верхнепалеолитической стоянки Костенки I, «Сов. этнография», 1969, № 1, стр. 137.

⁶ М. Барсена, Descripción de un Hueso Labrado de Llama Fossil, encontrado en los Terrenos Postcarios de Tequiquias, «Anales del Museo Nacional de Mexico», vol. 2, 1882, p. 439; L. A. A. de Anda, The Pleistocene carved bone from Tequiquias, Mexico: a reappraisal, «American Antiquity», 1965, vol. 30, № 2, p. 261.

какой-либо иной макет. Чучело или весьма натуралистически похожий макет животного или рыбы может создаваться, как это хорошо известно из многочисленных этнографических, а также археологических (неолитических) источников, и в чисто производственных целях, ничего общего не имеющих ни с культом, ни с искусством — это блесны, приманки, подсадные макеты, маскировочные чучела и пр. Как в позднейшие, так и в древнейшие эпохи такая деятельность могла быть не первичной, а вторичной по отношению к изобразительному искусству и вообще мало с ним связанной. При этом надо еще помнить об одном очень важном различии между макетом и изображением: макет обязательно должен быть в натуральную величину, а для изображения это несущественно.

Что же касается магических обрядов, совершаемых над предметом, символизирующим животное, то, по данным этнографии, здесь уже несущественны ни размеры, ни сходство очертаний. Австралийские аборигены в магических целях бросают палки в скалу, отождествленную с дюгоном, но не ищут в ней внешнего сходства с животным и не видят надобности это сходство создавать⁷. Лесные ненцы и ханты, у которых довелось работать автору, придают большое культовое значение району озера Нумто (по-ненецки Божье озеро), символически отождествляют разные элементы рельефа местности с частями тела животного (олени), опять-таки исходя не из внешнего сходства, а из отождествления структурного расположения отдельных деталей. Конечно, нельзя переносить представления современных охотников на людей палеолита, тем более нижнего, но это относится и к магии вообще.

Все эти отдельные, довольно отрывочные этнографические примеры приведены здесь для того, чтобы показать, что этнографические, да и археологические данные могут быть истолкованы в поддержку разных гипотез генезиса искусства, притом вовсе не обязательно исключаящих одна другую. И создание макетов, и доработка естественных форм, и все более сложное осознание каких-то ритмических и структурных возможностей организации пространства могли происходить, развиваться, эволюционировать параллельно и в сложной взаимной связи. Для того, чтобы возможно более полно оценить эти связи и относительную роль различных факторов в возникновении искусства, необходимо привлечение данных ряда дисциплин. При этом на долю этнографии падает прежде всего задача разработки генетической классификации всего многообразия форм живого творчества в первобытном обществе. Реконструкция структурной эволюции этих форм по эпохальным слоям может дать ценные показатели в отношении стадиальных закономерностей формирования творческой деятельности как части общественного сознания. До тех же пор, пока — в силу недостаточной изученности источников и неразработанности многих аспектов генезиса искусства — вся эта проблема продолжает оставаться в высшей степени дискуссионной, надо согласиться с заключительным замечанием Р. Я. Журова и сказать, что, наряду с другими гипотезами, и гипотеза А. Д. Столяра имеет полное право на существование. Более того, представляется, что положенный в ее основу ход рассуждений имеет несомненную ценность и заслуживает как дальнейшей разработки, так и возможно более полного отражения в печати. Это будет иметь позитивное значение, по крайней мере для изучения изобразительной деятельности палеолитических охотников Евразии, а возможно, и в плане общих закономерностей развития искусства. Хотелось бы еще раз подчеркнуть насущную необходимость разработки не только историко-археологических, но и всех других аспектов многогранной проблемы происхождения искусства. Такой сложный исторический процесс, как генезис художественного творчества, имеет много

⁷ B. Spencer, F. Gillen, *The northern tribes of Central Australia*, London, 1904, p. 309—319.

аспектов, каждый из которых нуждается в исследовании для решения проблемы в целом. Любой позитивный поиск в этой актуальной области имеет определенную ценность, и исследовательская инициатива А. Д. Столяра, приведшая к известным положительным результатам, должна рассматриваться как начало выделения этих аспектов, ждущих своих исследователей — философов, психологов, этнографов. Хочется надеяться, что начатая журналом дискуссия побудит специалистов разных наук вновь обратить внимание на данную проблему. Лишь в синтетическом взаимном осмыслении их усилия могут дать возможность подхода не только к широкому теоретическому решению проблемы происхождения искусства, но по существу и всей проблемы генезиса человеческого сознания.

Ю. В. Кнорозов

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Палеолитические изображения, обнаруженные в довольно большом количестве в Старом Свете, особенно в Европе, представлены в Америке отдельными находками. Это объясняется несколькими причинами. В густонаселенных странах Европы, естественно, сделано много открытий, тогда как в Америке их можно ожидать только в дальнейшем. В Европе палеолитические охотники жили много тысяч лет в одних и тех же местностях. В Америке древнейшие охотники на крупных животных, пройдя Берингию, сравнительно быстро продвигались на юг, видимо, не задерживаясь долго в одной местности. В Америке крупные промысловые животные были истреблены около 11 тысяч лет назад. Движение на юг, очевидно, было вызвано главным образом поиском новых охотничьих угодий.

Уникальный характер палеолитических изображений в Америке делает их особо важными. В целях предположительного воссоздания отсутствующих звеньев и для определения местной специфики необходимо сопоставить палеолитические изображения Старого и Нового Света.

Для этих целей особенно важны работы А. Д. Столяра¹, в которых прослеживается древнейший генезис палеолитических изображений на европейских материалах.

А. Д. Столяр в своих работах уделяет особое внимание памятникам нижнего палеолита, предшествующим изображениям и символам верхнего палеолита. Толкования А. Д. Столяра основаны на широком сопоставлении имеющихся памятников (для нижнего палеолита, естественно, весьма скудных), с учетом всех существующих гипотез.

Округлые углубления на известной каменной плите из пещеры Ла-Ферраси мустьерского времени А. Д. Столяр сопоставляет с ямками на верхнепалеолитических изображениях животных и толкует (обосновывая одну из имевшихся гипотез) как имитацию ран.

Красные пятна на каменных плитках (пещера Ле Мустье) объясняются как имитация крови, т. е. тоже ран. Красная и желтая охра найдена в ряде мустьерских стоянок. Красную охру широко применяли и предки индейцев (например, лагерь клувисских охотников Муррей

¹ Библиографию публикаций А. Д. Столяра см. в автореферате его докторской диссертации «Происхождение изобразительного искусства Евразии в историко-археологическом освещении», Л., 1972.

Спрингс). Вероятно, в частности, краску примешивали к жиру, которым смазывали кожу для защиты от холода.

Особенно интересна интерпретация параллельных полос (нарезок) на мустьерских памятниках, которые обычно толковались как нумерация, охотничьи метки или орнамент. А. Д. Столяр убедительно обосновал одну из гипотез, согласно которой полосы имитируют следы когтей (гриффады) медведя. Такие следы медвежьих когтей найдены на стенах пещеры. Известное еще со ступени архантропов заселение пещер приобрело в мустьерскую эпоху очень интенсивный характер, вероятно, в связи с неустойчивым и сырым климатом начавшегося вюрмского оледенения. Поэтому неудивительно, что пещерный медведь, с которым мустьерским охотникам приходилось вести долгую и упорную борьбу за «жилплощадь», попал в центр внимания. Следы когтей, очевидно, оставались изредка и на костях убитых медведями охотников. У медведей встречается маркировка своего охотничьего участка следами когтей на стволах деревьев. Зверь при этом становился на задние лапы, и по гриффаде можно было определить его величину. Такие метки, понятные другим медведям, были, конечно, прекрасно известны мустьерским охотникам. Они означали, что участок занят медведем такого-то роста. Медвежья гриффада была для охотников весьма важным знаком. Неудивительно, что появились ее имитации, получившие дальнейшее изобразительное развитие в верхнем палеолите.

Очевидно, в связи с борьбой за пещеры медведь для мустьерских охотников занял особое положение среди других зверей. Известны специальные «медвежьи пещеры» с набором определенных частей скелетов медведей, которые, по А. Д. Столяру, являются наиболее выразительным образцом древнейшего «натурального творчества». В их числе нежилые пещеры, удаленные от стоянок и недоступные в голодное зимнее время. Поэтому интерпретировать их как склады провианта невозможно. Очевидно, в таких пещерах периодически совершались при свете факелов определенные совместные действия, имевшие общей целью сплочение членов охотничьего объединения, по А. Д. Столяру — коллективные охотничьи пантомимы, имитировавшие охоту. Охарактеризовать эти действия, конечно, очень трудно из-за недостатка данных. Но во всяком случае они не сводились к «религиозно-магическому обряду», как считали многие авторы. Речь шла, видимо, в первую очередь о поддержании определенных охотничьих традиций, соблюдении дисциплины и порядка, преодолении страха перед грозным хозяином пещеры, что было особенно важно для начинающих охотников.

Согласно А. Д. Столяру, важнейшим компонентом уже развитых охотничьих пантомим на рубеже мустье и верхнего палеолита стал «натуральный макет» — накрытое шкурой естественное, а затем искусственное возвышение, вплоть до вылепливания из глины безголового тела зверя. Эта точка зрения аргументирована разнообразными данными. Как показывает А. Д. Столяр, и в верхнем палеолите в ряде случаев зверь изображался реликтивно тем же способом «натурального макета» или его составными элементами — головой и безголовым туловищем. Отдельные изображения голов зверей, достаточно широко известные в европейском верхнем палеолите, представлены и в Америке.

В 65 км от г. Мехико в слое вулканического туфа плейстоценового возраста на глубине 12 м рядом со щитком глиптодонта был найден крестец ламы, оформленный в виде головы волка. Показаны ноздри, слегка раскрытая пасть, глаза, уши. Возраст находки определяется не менее чем в 10 тысяч лет, а вероятно, значительно больше.

По А. Д. Столяру, традиции «натурального макета» своеобразно прослеживаются в верхнепалеолитических изображениях зверей, у которых голова отделена от туловища линией. Особенно убедительным доказательством наличия подобной традиции являются верхнепалео-

литические изображения животных с «попоной». Такой «зверь, одетый во вторую шкуру», раньше не имел ясного истолкования.

В этой связи большой интерес представляет обломок тазовой кости крупного плейстоценового слона с вырезанными изображениями нескольких животных, найденный в штате Пуэбла (Мексика) на стоянке Вальсекильо. В культурном слое этой стоянки обнаружен массивный резец и много раздробленных костей, в том числе двух мастодонтов.

Обломок покрыт изображениями, нанесенными на кость недавно убитого животного. Рисунки распадаются на две группы. В верхней части вырезаны фигуры тапира и лошади или бизона, перечеркнутые прямыми линиями, очевидно, изображающими копыта. В нижней группе показаны три слона. Один из них изображен почти полностью, включая глаз и большое ухо. Из-за первого слона выглядывает фигура второго (голова, хобот и передняя часть туловища), а затем третьего (голова с хоботом).

Нижний контур фигуры первого слона показан зигзагообразной линией, которая толковалась как условное изображение ног. Однако эта линия идет на уровне живота, а кроме того, ног оказывается слишком много. Следуя схеме А. Д. Столяра, можно считать, что зигзагообразная линия, как и в европейских верхнепалеолитических изображениях, показывает нижний неровный край «попоны», т. е. следует изобразительной традиции «натурального макета». Такая же зигзагообразная линия вырезана ниже трех слонов, где, как полагают исследователи, художник намеревался вырезать еще одну фигуру. Обращает на себя внимание, что первый слон изображен как бы поднявшимся на дыбы под углом в 45° , что непонятно при общем реализме изображений, но вполне соответствует некоторым частным традициям «натурального макета» (крепление символа на наклонном шесте). Таким образом, очевидно, «натуральный макет» был известен не только европейским, но и американским палеолитическим охотникам.

Значительный интерес представляют интерпретации А. Д. Столяром верхнепалеолитических символов женщин и композиций, включающих раненого бизона, падающего охотника и птицы или группы женщин.

В дискуссионной статье Р. Я. Журова «Об одной из гипотез происхождения искусства» работы А. Д. Столяра, представляющие большой интерес и являющиеся ценным вкладом в науку, к сожалению, не рассматриваются с должной основательностью и объективностью на всем фоне действительного состояния наших знаний в этой области. Р. В. Журов почему-то не использует более двух третей публикаций А. Д. Столяра, в том числе таких, где его исследования изложены в наиболее развернутом виде.

Изучение происхождения палеолитических изображений представляет большие трудности в силу сложности явления, фрагментарности материала, громадной отдаленности во времени и многих других причин. К палеолитическим изображениям (зачисляемым по традиции в довольно неясную рубрику «первобытное искусство», включающую также знаки, символику, пиктографию и т. п.) вряд ли можно подходить с теми же критериями, как к современному искусству.

Заслугой А. Д. Столяра является прежде всего последовательное рассмотрение происхождения палеолитических изображений как самостоятельной проблемы. При этом А. Д. Столяр оправданно ограничился историко-археологическим (в основе — источниковедческим) аспектом проблемы, детально проанализировав имеющиеся памятники и обширную литературу вопроса. В результате им дана серьезная критическая оценка существующих гипотез в свете фактов и теории. Особая ценность исследований А. Д. Столяра состоит в их историзме и конкретно-доказательном характере, не только уже давшем ощутимые положительные результаты, но и открывающем значительные перспективы

для дальнейшего изучения одной из наиболее сложных проблем становления духовной культуры человечества. В дискуссионной статье Р. Я. Журо́ва, наоборот, преобладают общие рассуждения, что вряд ли может способствовать дальнейшему изучению «первобытного искусства».

TOWARDS THE DISCUSSION ON THE ORIGIN OF IMITATIVE ART

The responses by A. A. Formozov, S. A. Arutyunov and Yu. V. Knorozov to the paper by R. Ya. Zhurov («Sovetskaya Etnografia», 1975, № 6) are at one in stressing the importance of the problem of the origin of imitative art. The authors, while recognizing certain drawbacks in A. D. Stoliar's concepts and the possibility of different approaches to this problem, evaluate very highly his contribution to its solution. At the same time, though agreeing with R. Ya. Zhurov as to the necessity of joint research into this problem by archaeologists, ethnographers, philosophers, etc., the participants in the discussion draw attention to the fact that R. Ya. Zhurov has in his argument made use only of a small part of A. D. Stoliar's works on the genesis of imitative art, and moreover that it is the most important of these works that have remained outside his sphere of notice. This makes his conclusions excessively categorical and not always well-founded.

А. Л. Никитин

НАСЕЛЕНИЕ ЮГО-ВОСТОКА КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА В ПОЗДНЕМ НЕОЛИТЕ

Основной целью разнообразных этнографических, археологических, палеогеографических, геоморфологических исследований, объединяемых некогда общим и точным термином «палеоэтнология», является изучение и реконструкция взаимоотношений человека с окружающей его природной средой во всем их многообразии. Однако на пути этих исследований встает много трудностей, причина которых заключается в разобщенности исследований перечисленных выше направлений науки, решающих всякий раз свои, частные вопросы, в отсутствии разработанной хронологии и невозможности ее корреляции с хронологией природных процессов. Поэтому особенное значение приобретает каждый новый опыт подобного обобщения, дающий основу для дальнейших разработок таких исследований на той или иной территории. В настоящей статье, предлагаемой в первую очередь вниманию исследователей Севера, суммируются результаты археологических, этнографических и геоморфологических наблюдений автора в районе, еще недавно являвшемся «белым пятном» на археологической карте Северной Европы¹. Это — узкая, собственно береговая полоса юго-востока Кольского полуострова, непосредственно примыкающая к горлу Белого моря и заключенная между устьями р. Стрельна на западе и р. Пулоньга на востоке.

Археологическое изучение побережья Белого моря Кольского полуострова началось сравнительно давно, но систематический характер приобрело лишь в последнее время. Поэтому для приполярного Севера до сих пор не существует удовлетворительной культурно-хронологической классификации археологического материала, а обобщающие ра-

¹ А. Л. Никитин, Отчет о новых археологических находках на Терском берегу Кольского полуострова в 1969—1970 годах, Архив Института археологии АН СССР (далее — Архив ИА), Р-1-4171, материал хранится в Ленинградском отделении Ин-та археологии АН СССР (ср. Н. Н. Гурина, Отчет о работе Кольской археологической экспедиции в 1970 г., Архив ИА); А. Л. Никитин, Отчет об археологических работах 1971 года на Терском берегу Белого моря, Архив ИА, Р-1-4401 (материал находится в Архангельском областном краеведческом музее). В статье не рассматриваются стоянки низовьев р. Пялицы, обследованные Кольской археологической экспедицией в 1970 г., как относящиеся к более раннему времени (по Н. Н. Гуриной — 1800—2750 лет до н. э., источник датировки неизвестен). См.: Н. Н. Гурина, Древние памятники Кольского полуострова, в кн.: «Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита», «Материалы и исследования по археологии СССР» (далее — МИА), № 172, Л., 1973, стр. 53; Н. Н. Гурина, Б. И. Кошечкин, С. А. Стрелков, Первобытные культуры и эволюция экологической обстановки в верхнем плейстоцене и голоцене на побережье Европейской Арктики, в кн.: «Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене», М., 1974, стр. 233.

боты М. Е. Фосс и А. Я. Брюсова для южных берегов Белого моря, равно как Н. Н. Гуриной для севера Кольского полуострова, лишь в малой степени восполняют этот пробел². Между тем особенности геологической истории этой территории в голоцене, равно как геоморфология берегов Белого и Баренцева морей, дают в руки исследователя естественную хронологическую шкалу, использование которой ставит его в совершенно исключительное положение по сравнению, скажем, с исследователями Среднерусской равнины. Не приходится доказывать, что при отсутствии для этих районов не только серий, но даже отдельных радиоуглеродных датировок, вообще мало надежных ввиду природных особенностей Заполярья, коррелирование археологических находок с историей формирования прибрежных террас и почвообразовательными процессами на них оказывается задачей исключительной важности.

Последовательные поднятия и опускания суши в голоцене отмечены серией морских террас, наиболее полно изученных на северо-западе полуострова. Отсутствие специальных исследований подобного рода для юго-востока заставляет пользоваться общей схемой М. А. Лавровой, согласно которой береговой уступ, достигающий в районе рек Чакома и Пялица 7—10 м высоты над приливом, соответствует террасе триа³. Со стороны моря к этому уступу непосредственно примыкает терраса, которую можно идентифицировать с террасой остреа I (3,5—5,0 м), перекрытая тремя грядами низких дюн, следующих параллельно берегу. Как правило, поверхность дюн задернована, однако многочисленные котловины выдувания на третьей от моря внутренней гряде обнажают в обресе слой погребенной почвы, представленный мощным горизонтом темно-бурого песка с прослойками более плотного, цементированного окислами железа (ортзанды). Обычно культурные остатки приурочены к слоям ортзандов, находящихся в толще погребенной почвы (стоянка Смольная Корга возле р. Малая Кумжевая) или на некоторой глубине под ней. В ряде случаев эти остатки совпадают с верхним уровнем погребенной почвы (стоянки восточного склона Адамовой горы, стоянки у тони Скакун). Из этого следует, что в первом случае жилище располагалось на дюне в период формирования почвенного покрова; во втором случае — в период формирования самой дюны. Наконец, в третьем случае — на поверхности дюны, полностью сформированной и закрепленной развитым дерновым покровом.

Описывая геологические условия залегания археологического материала, следует остановиться еще на одной немаловажной детали. Так, исследование современных котловин выдувания убеждает, что открывают они, как правило, не древнюю погребенную почву, а лишь разрушенные еще в древности ее участки, связанные с деятельностью человека и хранящие остатки этой деятельности. Наоборот, все попытки выйти за пределы древних котловин открывают нетронутую погребенную почву, почти не содержащую находок. Ниже я покажу, какое значение для исследований имеет подобное наблюдение.

Сравнение современной и древней почв приводит к заключению, что цементированные окислами железа прослойки песка (ортзанды) в толще третьей гряды дюн отмечают уровни временной ее стабилизации, а сам процесс дюнообразования и формирования погребенной почвы

² М. Е. Фосс, Древнейшая история севера Европейской части СССР, МИА, № 29, М., 1952; А. Я. Брюсов, История древней Карелии, М., 1940; его же, Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху, М., 1952; Н. Н. Гурина, Неолитические поселения северного побережья Кольского полуострова, МИА, № 20, М.—Л., 1951.

³ М. А. Лаврова, Четвертичная геология Кольского полуострова, М.—Л., 1960, стр. 142 (обширная библиография вопроса охватывает все важнейшие работы предшественников).

происходил при несколько более высокой температуре и повышенном количестве осадков, после чего можно предполагать постепенное уменьшение общей увлажненности вместе с падением среднегодовых температур. Обилие крупных древесных углей (сосна, ель) в древних очагах в сопоставлении с горизонтом деградированного подзола на вышележащих террасах (тапес I и II, тривиа) указывают на существование в прошлом обширных хвойных лесов, полностью вытесненных теперь лесотундрой и мокрой тундрой.

Все изложенное выше позволяет датировать образование слоя погребенной почвы и связанные с ним археологические памятники на внутренней (третьей) гряде террасы острей I, которые и являются предметом настоящей статьи, серединой II — началом и первой половиной I тысячелетия до н. э.⁴



Рис. 1. Один из древних разрушенных очагов близ мыса Востра; на переднем плане — шлифовальная плита

Остатки древних поселений предстают перед исследователем в котловинах выдувания россыпью кварцевых орудий и отщепов вместе с кальцинированными костями морских животных (нерпа, морской заяц), сухопутных млекопитающих (олень, песец) и птиц (глухарь, куропатка, гага). Кости рыб, как правило, не сохраняются⁵. Находки концентрируются вокруг остатков каменных очагов, некогда углубленных в землю, а теперь предстающих в виде каменных линз, заключающих в себе более или менее толстый слой древесного угля (рис. 1). Общая пло-

⁴ За исключением стоянки у тони «Большая Кумжевая», залегающей в восьмом сверху горизонте ортандов под погребенной почвой первоначальной дюны и отличающейся от других памятников по материалу, носящему более ранний облик (см. А. Л. Никитин, Отчет об археологических работах 1971 г.).

⁵ Древние орудия труда, кухонные отбросы и каменные очаги находятся или в развивающихся котловинах выдувания, или уже на полностью обнаженных галечниках террас. В последнем случае возникающий галечный панцирь, на котором располагаются остатки деятельности древнего человека, является основой для укореняющейся растительности (концентрация влаги вокруг камней) тундрового типа и может снова аккумулировать песок. Если для собственно береговой полосы характерна первая стадия такого процесса, то его вторую стадию можно наблюдать на вышележащих террасах (тривиа, тапес). Соответственно и камни разрушенных очагов оказываются представлены в «обратной» проекции — не углубленными в землю, а наоборот, «вывернутыми», поднятыми над землей линзой песка, сохраненной ими от раздувания.

щадь подобных поселений составляет несколько десятков, редко несколько сотен квадратных метров, тогда как пространство, занятое находками возле одного очага, не превышает 5—6 м², что должно соответствовать реальной площади жилища. Этим расчетам — площади, форме жилища, конструкции очага — наиболее соответствует саамская вежа⁶. Исходя из количества очагов, можно подсчитать, что на каждой стоянке было от 2 до 7 жилищ, редко больше, в среднем же 3—5, что при максимальном числе обитателей каждого жилища в 4—6 человек (по этнографическим материалам⁷) дает среднее число обитателей каждого поселения в 20—30 человек.

Устройство, численность, местоположение стоянок позволяют видеть в них сезонные поселения рода, что соответствует наблюдениям В. В. Чарнолуского над бытом саамов еще в недавнем прошлом, когда охотничья территория рода ограничивалась течением какой-либо реки, а места охоты на морского зверя не были регламентированы⁸.

Обследованные стоянки занимают на местности одно из трех положений: 1 — под юго-восточным обрывом «коренного» берега (терраса тривиа), 2 — у восточного склона останца, где внутренняя дюна налегает на суглинки «коренника», 3 — возле древнего (или современного) ручья или небольшой речки, прорвавших внутреннюю грядку, но обязательно с восточной ее стороны. На юго-западном, наиболее теплом, защищенном от преобладающих ветров склоне берега не удалось найти ни одной стоянки. Это прямо указывает на то, что обитатели этих мест жили здесь в июле-августе, когда холодный и сильный норд-ост оказывается единственной защитой на берегу от многочисленного гнуса. Следовательно, стоянки второй и третьей группы были летними поселениями, тогда как стоянки первой группы, защищенные от северного ветра, наиболее удобны в сентябре-октябре, когда температура воздуха резко падает, начинаются туманы и штормы, а устойчивый «полуночник» приносит дождь и «заряды» снега.

За исключением мелких кальцинированных костей, собранных на стоянках вокруг очагов и в хозяйственных ямах, мы не располагаем прямыми данными о хозяйстве и объектах охоты людей, обитавших здесь в изучаемое время. Возможность привлечения материалов по жизни и быту саамов, населявших эту же территорию и совершавших такие же сезонные перекочевки с выходом к морю на летне-осенний период, значительно увеличивает наши возможности, тем более что для данного сезона совпадают и места поселений, и устройство жилищ (постоянные очаги). Так, список промысловых рыб, птиц и зверей, используемых саамами в прошлом веке, составленный В. В. Чарнолуским⁹, можно думать, немногим отличается от своего древнего прототипа. Существование морского промысла доказывают кости объектов охоты¹⁰, а форма и материал древних орудий, употреблявшихся обитателями береговых стоянок, вряд ли были иными, чем случайно сохранившиеся гарпуны и рыболовные крючки могильника на Большом

⁶ В. В. Чарнолуский, Материалы по быту лопарей, Л., 1930, стр. 42, 43, 130, 131. Каменные очаги — постоянные очаги временных жилищ, подобно тем, что бытовали у саамов на местах сезонных поселений и даже на местах ночевки традиционного кочевого маршрута (стр. 127).

⁷ Ср. Н. Харузин, Русские лопари. (Очерки прошлого и современного быта), «Изв. императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Императорском московском университете», т. 66, М., 1890, стр. 98.

⁸ Там же, стр. 112; В. В. Чарнолуский, Пастьба и организация стада у лопарей, «Кольский сборник», «Материалы комиссии экспедиционных исследований», (далее — МКЭИ), вып. 23, Л., 1930, стр. 39.

⁹ В. В. Чарнолуский, Материалы по быту лопарей, стр. 22.

¹⁰ Нерпы (*Phoca foetida*) и морского зайца (*Phoca barbata*), что еще раз указывает на летне-осенний характер поселений, когда только и возможна охота на эти виды морских животных.

Оленьем острове в Кольской губе¹¹. Наконечники стрел, по-видимому, в большинстве своем изготавливались также из кости, так как здесь представлены лишь тремя обломками, типичными для поселений южного побережья Белого моря как по своей форме, так и по материалу — бело-розовому яшмовидному кремню северодвинских месторождений. Рубящие орудия стоянок нам известны тоже лишь по осколкам шлифованных топоров из сланца и роговика, причем их принадлежность автохтонному населению, равно как и указанных стрел, вызывает сомнение.

Осушавшиеся при отливе эстуарии небольших рек и многочисленные ручьи, впадающие непосредственно в море, открывали широкие возможности для пассивных форм рыболовства (заколы, заборы, ловушки, ёзы), служивших весьма эффективным средством обеспечения пищи. Зная особенности этих мест, почти беспрерывный ход в реки в течение всего лета мигрирующих видов рыб (семга, кумжа, сиг), можно не сомневаться, что приморско-речное рыболовство в летне-осенний период наряду с собирательством (морозка, брусника, черника, клюква, грибы, некоторые виды корней) было основным средством получения сытной и богатой витаминами пищи. С наступлением осени, наряду с охотой на водоплавающую и боровую дичь, на первое место выдвигалась охота на диких оленей с помощью «маньщика» — ручного оленя, как это практиковалось еще недавно саамами¹², и обитатели стоянок покидали морской берег до следующего лета.

Утверждать наличие домашнего оленя в хозяйстве позднего неолита юго-востока Кольского полуострова можно, на мой взгляд, даже с большей достоверностью, чем, скажем, рыболовства. Наблюдая современный механизм разрушения почвы в тундре и последующие процессы эоловой эрозии, приходишь к выводу, что одним из главных агентов, нарушающих целостность почвенного покрова тундры, является домашний олень при содержании его на привязи или в изгороди, как то было характерно для саамов «вежного» времени¹³. Как я уже указывал, изучение стратиграфии стоянок убеждает, что культурные остатки сосредоточены исключительно в котловинах выдувания вокруг очагов, тогда как окружающая их площадь, сохранившая погребенную почву, обычно полностью лишена продуктов человеческой деятельности. Это означает, что возникновение первичного очага ветровой эрозии на дюне происходило в результате разрушения почвенно-дернового покрова не столько даже внутри жилища, сколько вокруг него. Последнее могло произойти, по моему мнению, лишь от копыт домашнего оленя, содержавшегося рядом с жилищем по 1—1,5 месяца. Сами обитатели стойбища, учитывая их мягкую обувь, вряд ли могли вытоптать дерновый покров в такой степени. Наконец, само сезонное передвижение — на озера, в тундру, к морю — диктовалось, в первую очередь, экологией домашнего лапландского оленя, с которым саамы образовывали единственный в своем роде симбиоз. При этом следует отметить, что саамский олень сильно отличается по расе от сменившего его почти целиком в наши дни большеземельского оленя, так что, вероятнее всего, domestикация их предковых форм происходила независимо и одновременно.

Переходя к вещественному материалу памятников, мы сталкиваемся с загадкой керамики, встающей перед каждым исследователем первобытного Севера. Встреченные в слое некоторых стоянок черепки свидетельствуют, что отсутствие подобных находок в других пунктах не может быть объяснено лишь несовершенным обжигом сосудов и неблагоприятными климатическими условиями. Наличие, причем в значитель-

¹¹ А. В. Шмидт, Древний могильник на Кольском заливе, «Кольский сборник», МКЭИ, вып. 23, Л., 1930, табл. II—III.

¹² В. В. Чарнолуский, Материалы по быту лопарей, стр. 26; его же, Пастьба и организация стада у лопарей, стр. 57.

¹³ В. В. Чарнолуский, Пастьба и организация стада у лопарей, стр. 29, 41.

ных количествах, керамики на озерных (зимних?) поселениях¹⁴ приводит к заключению, что древние обитатели Кольского полуострова сравнительно мало пользовались глиняной посудой, подобно саамам предпочитая деревянную¹⁵, а имевшуюся глиняную берегли и не брали в летнее кочевье.

По составу глиняного теста, внешнему виду и способу украшения три десятка черепков, собранных с четырех стоянок (Стрельна, Ручьи, восточный склон Адамовой горы, Смольная Корга), можно разделить на четыре группы, отличавшиеся по изготовлению: 1) из чистой глины без примесей, 2) с примесью органики, 3) с примесью крупнозернистого песка, украшенные ямочно-гребенчатым орнаментом, 4) с примесью асбеста. Последняя группа в свою очередь имеет два вида: а) с примесью мягкого длиноволокнистого асбеста и б) с крупными зернами игольчато-волокнистых кристаллов (актинолит?).

Восстановить формы сосудов ни одной из групп не удалось, а их распределение (территориальное) позволяет предположить, что различные примесей соответствует какому-то членению неолитического населения этих мест. Так, все находки керамики с асбестом, крупных шлифованных орудий и шлифовальных плит из розового песчаника располагаются к западу от Никодимского мыса в низовьях рек Стрельна и Чапомы. Наоборот, к востоку от Никодимского мыса и от р. Пялицы увеличивается количество кремневых орудий на стоянках, появляются отщепы и изделия из привозного северодвинского кремня и найдена керамика первой и третьей групп.

Вопрос о месте и роли керамики в хозяйстве людей позднего арктического неолита тесно связан с другим вопросом — контактами между племенами различных культур и использованием природных материалов. Исследуемый район особенно интересен, так как здесь обитатели Кольского полуострова, выходявшие летом к морю, должны были встречаться с морскими охотниками, двигавшимися на судах вдоль побережья за стадами морского зверя¹⁶, и с пересекавшими пролив обитателями Зимнего берега, доставлявшими сюда изделия из северодвинского кремня, а возможно и керамику. Они появлялись на стоянках аборигенов, теряли, выбрасывали или променивали испорченные орудия из сланца и кремня, которыми местные жители пользовались в качестве сырья для поделок. Доказательством служат найденные на стоянках сколы, куски оббитых (а прежде шлифованных) сланцевых орудий или вторично обработанные сколами предметы, сохранившие местами былую полировку. Хотя вторичное использование поврежденных орудий обычно и в областях, богатых сырьем, но здесь свидетельством контакта культуры примитивной с более высокой культурой пришельцев является смена технических приемов, отсутствие следов шлифовальных плит, а также использование готового орудия в качестве сырья для орудия менее совершенного.

Культура морских охотников, не связанных, по-видимому, с аборигенами юго-востока Кольского полуострова, но посещавших Терский берег, известна по находкам на мысе Востра между реками Стрельной и Чапомой¹⁷. Здесь в двух пунктах — Востра I и Востра II, расположенных неподалеку друг от друга по обеим сторонам пересохшего в древ-

¹⁴ А. В. Анпилов, Раскопки в Мурманской области, в сб.: «Археологические открытия 1970 года», М., 1971.

¹⁵ В. В. Чарюлуский, Материалы по быту лопарей, стр. 97.

¹⁶ Их обширные стада, по местному «юрово», насчитывающие тысячи голов, и теперь можно увидеть в летнее время с высокого берега между Пялицей и Пулонгой в горле Белого моря и даже услышать их рев.

¹⁷ Подробнее см. А. Л. Никитин, Памятники позднего неолита на юго-востоке Кольского полуострова, в кн. «Памятники древнейшей истории Евразии», М., 1975, стр. 124.

ности ручья, находятся остатки множества каменных очагов, достигающих 1,0—1,5 м в диаметре: более 70 очагов в пункте Востра I и около 40 очагов в пункте Востра II. Пространство между очагами усыпано осколками кварца из месторождений р. Стрельны (хорошо определяемых по характерной слабозональной окраске кристаллов) и орудиями. Среди последних скребки различных типов, скребла, нуклеусы, отбойники, шлифовальные плиты из розового песчаника, а главное — серии орудий из шифера и сланца, характернейшими из которых являются плоскочерешковые шлифованные наконечники (рис. 2, 2—4), коленчатые ножи и вкладышевые топорики.

Различная степень сохранности очагов и дифференциация некоторых типов находок возле них убеждает, что не все очаги одновременны друг другу, а сооружались по мере необходимости, причем самые ранние, наиболее разрушенные, около которых почти совсем отсутствуют орудия труда, расположены в наибольшем отдалении от берега, а самые поздние, сопровождаемые в изобилии находками, — у внешней кромки террасы. По-видимому, посещения мыса Востра совершались с известными интервалами, во время которых старые очаги оказывались разрушенными и засыпанными песком. Это подтверждается окатанностью орудий и их распределением на местности. Так, обломки шлифовальных плит, шиферные и сланцевые орудия найдены исключительно в пределах двух крайних (к морю) линий очагов и не встречены возле дальних. Примечательна и другая закономерность: возле очага ни разу не приходилось находить больше одного целого шиферного наконечника. Последние являются, вероятно, не наконечниками стрел, а концевыми копьейцами поворотного гарпуна, столь типичного орудия циркумполярной культуры морских охотников. В пользу такого предположения свидетельствуют их размеры, асимметричный профиль (плоско-выпуклый), а в особенности широкий плоский черешок, не соответствующий толщине древка стрелы. Кроме сланцевых, в употреблении были кремневые копьейца (рис. 2, 1) подобно известным по могильнику Большого Оленьего острова.

Принимая каждый наконечник у очага за гарпун, а каждый очаг — за возможное жилище экипажа одной промысловой байдары (производственный коллектив), составившего 5—7 человек, при одновременном функционировании 20—25 очагов в каждом из двух пунктов мы получим внушительное число охотников, изображения которых, можно думать, известны нам по петроглифам низовьев р. Выг¹⁸. Что касается датировки памятников на мысе Востра, то разрушающиеся очаги пункта Востра II лежат на погребенной почве вполне сформировавшейся дюны и, вероятнее всего, датируются концом II — началом I тысячелетия до н. э.

Изучение инвентаря стоянок юго-востока Кольского полуострова позволяет заключить, что контакты с окружающими культурами лишь в малой степени повлияли на облик орудий и на быт аборигенов¹⁹. Ис-

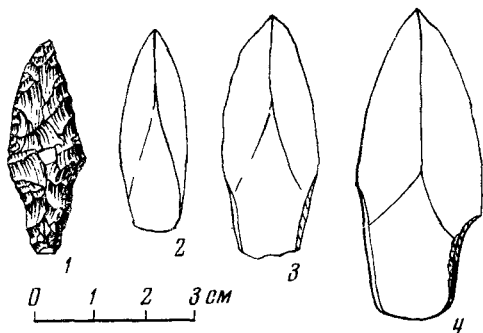


Рис. 2. Концевые копьейца поворотных гарпунов: 1 — кремнь, 2—4 — шифер

¹⁸ В. И. Равдоникас, Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря, ч. II — Наскальные изображения Белого моря, М.—Л., 1938; Ю. А. Савватеев, Залавруга. Археологические памятники низовья реки Выг, ч. 1, Л., 1970.

¹⁹ Возможно, одним из таких свидетельств являются типичные Krummeiseln (когтевидные скребки), найденные на стоянке у тони «Скаун».

пользуя местные породы кварца — полупрозрачного, зернистого, молочно-белого и стекловидного (горный хрусталь), имеющиеся в достаточном количестве как в жильных проявлениях, так в виде галек и валунов, люди «арктического неолита», как по праву можно называть эту область циркумполярной культуры с кварцевой индустрией, перенесли на кремь и роговик те же приемы обработки, которые они применяли к кварцу. Особенно хорошо это видно на двух типах изделий, специфических для арктического неолита и не встречаемых за пределами его распространения. В первую очередь это плоскопризматические нуклеусы, в сработанном состоянии имеющие как бы долотовидные подтески на концах от ударов отбойника, что позволило некоторым исследователям определить их как «рубящие орудия»²⁰. Они существуют и в кремневом варианте, где подобная техника не оправдана материалом (например, нуклеусы из 8-го слоя ортандов, глубина 2,32 м, на стоянке у тони «Большая Кумжевая»), относящемся, как можно думать, к концу III тысячелетия до н. э. Вторым столь же специфическим изделием являются боковые скребки из расколотого нуклеуса с обязательной подтеской брюшка сбоку для удаления ударного бугорка. Необходимый при обработке кварца прием оказывается механически перенесенным на кремь и роговик.



Рис. 3. Половина каменной формы для отливки кинжала (?) со стоянки близ устья р. Стрельная

Подобные наблюдения приводят к мысли, что возникновение кварцевой индустрии на территории Фенноскандии датируется гораздо более ранним временем, чем иногда принято считать²¹, с одной стороны, а с другой — указывают на крайнюю малочисленность первопоселенцев, потомки которых столь поздно познакомились с кремнем и его свойствами, что техника обработки кварца уже не могла существенно измениться, и прежние приемы обработки были перенесены на новый материал. Последнее может объяснить

и малое использование кремня в быту, хотя его небольшие месторождения все же имеются на Кольском полуострове (известняки Кислой губы, Варзуги, Имандры). Наконец, наиболее важным событием рассматриваемого времени для аборигенов этого района явилось знакомство с металлом и его обработкой, свидетельством чему служат обломки

²⁰ Н. Н. Гурин, Неолитические поселения северного побережья Кольского полуострова, стр. 152.

²¹ Это еще раз заставляет вспомнить старую гипотезу о происхождении первых обитателей северной и восточной части Фенноскандии непосредственно от верхнепалеолитических охотников на мамонта и северного оленя, успевших пройти на эту территорию вслед за отступающим ледником до прорыва Балтийского ледникового озера (конец IX тысячелетия до н. э.). Вынужденная изоляция первопоселенцев привела к созданию своеобразной кварцевой индустрии и доместикации лапландского оленя, так отличающегося от оленя Большеземельской тундры. Однако теперь представляется более вероятным, что переход этот произошел несколько позднее, в VIII тысячелетии до н. э., перед прорывом Анцилового озера (VII тысячелетие до н. э.), излившегося не в Северное море, как предполагали ранее, а в Белое море, на длительное время прервав все связи Фенноскандии с Восточной Европой. И действительно, наиболее ранние памятники кварцевой индустрии (культура аскола) датируются как раз VIII тысячелетием до н. э. (V. L u h o, Die Askola-Kultur, SMYA, 57, Helsinki, 1956, S. 146—149).

формы для отливки кинжала (?), найденные на стоянке близ устья р. Стрельны (рис. 3).

Находка литейной формы в совместном залегании с «асбестовой» керамикой обоих типов возвращает нас к одной из серьезных проблем не только палеоэтнологии, но и современной геологии Европейского Севера. Присутствие асбеста в тесте сосудов на этой территории вызывает исключительный интерес, поскольку до сих пор на Кольском полуострове асбест геологам неизвестен²². Его присутствие в сосудах на стоянках Терского берега могло бы быть объяснено импортом их из Карелии — скорее сосудов, чем самого минерала. Однако открытие в большом количестве керамики с асбестом на внутренних озерах²³ вновь ставит вопрос о его источниках и транспортировке²⁴.

Проанализировав имеющийся в нашем распоряжении материал по летним поселениям юго-востока Кольского полуострова, можно утверждать, что к позднему (финальному) неолиту Севера, датируемому второй половиной II — началом I тысячелетия до н. э., в этих краях полностью сложился экологически сбалансированный тип хозяйства и быта аборигенов, в которых с достаточным основанием можно видеть непосредственных предков «терской лопи» русских писцовых книг²⁵. Изучение техники обработки камня, в первую очередь кварца, делает весьма вероятным вывод о происхождении аборигенов от первопоселенцев Фенноскандии со всеми вытекающими отсюда заключениями. Подтвердить это смогут исследования более ранних памятников, чьи остатки залегают на высоких террасах трансгрессий фолас, тапес I и II, датировка которых для восточной части Кольского полуострова требует значительного уточнения по сравнению с имеющейся сейчас схемой. Не следует забывать также, что материал береговых стоянок дает представление лишь об 1/3 полного сезонного цикла кочевой жизни²⁶, и дальнейшие успехи изучения древней истории Севера зависят от того, насколько точно удастся определить традиционные пути передвижения отдельных родов и их сезонные поселения на реках и озерах полуострова.

²² Личное сообщение научного сотрудника Геологического ин-та Кольского филиала АН СССР Г. Ю. Пушкина.

²³ Н. Н. Гурин, О работе Кольской археологической экспедиции, в кн.: «Археологические открытия 1970 года», М., 1971; Ю. В. Титов, П. Э. Песонен, Новые памятники на Кольском полуострове, в кн.: «Археологические открытия 1971 года», М., 1972.

²⁴ Если стоянки Кольского полуострова указывают на северный предел экспорта асбеста из Карелии, то южный предел пока определяется свайным поселением на р. Модлоне в Вологодской области, раскопанным и частично опубликованным А. Я. Брюсовым (см. С. В. Ошибкина, Стоянка Модлона, ее происхождение и отношение к каргопольской культуре, «Сов. археология», 1966, № 4).

²⁵ Н. Харузин, Указ. раб.

²⁶ В. В. Чарнолуцкий, Материалы по быту лопарей.

Г. А. Меновщиков

**О НАЗВАНИЯХ И ФУНКЦИЯХ ЛОДОК ТИПА
УМИАК', АН'ИАК', К'АЙАК'
У ЭСКИМОСОВ И АЛЕУТОВ**

Происхождение и первоначальное назначение того или иного предмета материальной культуры раскрывается часто при помощи лингвистического анализа его названия. Лингвистический аспект в исследовании древнейших этапов развития материальной и духовной культуры того или иного народа имеет не менее важное значение, чем аспекты этнографический, археологический и антропологический.

В этом отношении несомненный интерес представляют названия эскимосских лодок, которые в известной степени дают сведения о времени их происхождения, материале, из которого они изготовлялись, о функциях разных типов указанных средств водного транспорта.

Современные территориально-диалектные подразделения эскимосов и алеутов образовались в результате отделения от протоэскимосского этнического массива сначала протоалеутов, а затем, через несколько тысячелетий, двух тесно взаимодействовавших эскимосских диалектных групп — йупик и инупик. Все эти протоэскоалеутские диалектные образования находились в постоянном языковом контакте, что обуславливало общность развития основных черт грамматического строя. В то же время в каждом диалектном подразделении развивались и свои лексические и фоно-структурные черты. Значительное сходство языка диалектных групп йупик и инупик, имеющего развитую грамматическую систему именных и глагольных форм, и существенное отличие его по этим признакам от алеутского языка — свидетельство того, что отделение протоалеутов от протоэскимосов произошло не ранее 4000—5000 лет назад и что алеутский язык представляет собой древнейшую ветвь протоэскимосского¹.

Создание и применение протоэскимосами лодок типа *qajaq* (к'аяк') и *umiak* (умиак'), наряду с изобретением и совершенствованием различных типов гарпунов, явилось необходимым условием развития уникальной культуры арктических охотников на крупного морского зверя.

Для того чтобы попасть на острова, протоэскоалеутам необходимы были специальные плавучие средства. Ими могли быть лодки, похожие по конструкции на умиак', на сходном с умиаком каркасе, обтянутом досками. В новых экологических условиях, на островах, где древесный материал (за исключением случайного плавника) отсутствовал, деревянный каркас лодки вместо досок стал обтягиваться звериными шкурами. Умиак' претерпевал при этом известную реконструкцию: облегчались детали каркаса, изменялись размеры, форма. Новый тип лодки

¹ Г. А. Меновщиков, Эскимосско-алеутские языки и их отношение к другим языковым семьям, «Вопросы языкознания», 1974, № 1, стр. 46—50 (там же указание на труды по этой проблеме М. Сладеша, Д. Е. Дюмона, К. Бергсланда, К. Биркет-Смитта и других зарубежных авторов); Л. Файнберг, Общественный строй эскимосов и алеутов, М., 1964, стр. 9—21 (указаны источники по проблеме); Р. Г. Ляпунова, Очерки по этнографии алеутов, Л., 1975, стр. 22—68.

приспосабливали к плаванию в ледовых условиях арктических морей. Модернизированная лодка получила и новое название.

Эскимосы группы инутик (Гренландия, Канада) кожаную лодку называли *умиак* / *умийак* (*umiaq* / *umiyaq*), эскимосы Берингова пролива (имакликско-уэльский диалект), являющиеся одной из ветвей той же группы инутик, лодке этого типа дали название *умёк* (*umēq*). Слово *умек* на этих диалектах означает «оленья шкура» и соответствует слову *амёк* (*ameq*) — «оленья шкура» на диалектах группы йутик (азиатские, лаурентьевские и некоторые материковые группы аляскинских эскимосов). Таким образом, в основе слова *умиак* / *умийак* лежит производящая корневая морфема *уми-* (от *умёк* — «оленья шкура», «шкура», «кожа», где конечный гласный *-и* переходит в *-е* под влиянием последующего увулярного *-к*: гласные звуки *е, и* в эскимосско-алеутских языках представляют собой аллофоны одной фонемы). В варианте *умиак* сочетание гласных *-иа* является, возможно, дифтонгом гласного *ē* перед увулярным *-к*. Такой вывод подтверждается тем, что в диалекте эскимосов Берингова пролива (имакликско-уэльский диалект) в названии байдары — *умёк* отсутствует дифтонгизация звука *ē*, и это слово на центральных (канадских) диалектах инутик означает, как было сказано выше, «шкура». Трудность морфологического анализа слова *умиак* / *умийак* в его латинской транскрипции заключается в том, что в англо-американской лингвистической практике сочетаниями гласных *-ia* при написании эскимосских слов принято обозначать звук *-а* после мягких согласных *s, l* (*-sia* вместо *-sa*, *-lia* вместо *-la*) или же сочетание звуков *-j, -a* (*-ja*) в суффиксальном значении (суфф. *-ja*); ср.: в гренландском: *umiaqiaq* — «необычный kayak». Это слово в точной фонетической транскрипции должно иметь написание *umi̥jaɾjaq*. Если слово *umiaq* на диалектах инутик произносится как *umi̥jaq*, то оно разделится на морфемы *umi-*, *-ja* — словопроизводный суффикс со значениями: а) предназначенности предмета для чего-либо (*-ja*/*-sa*), б) средоточия однородных предметов в чем-либо (*-jaq*)².

Так или иначе, название байдары у эскимосов инутик было связано со словом *умёк* — «шкура», а *умийак* могло означать и средоточие шкур в одном месте (обшивка, покрытие байдары из нескольких шкур), и предназначенность предмета для чего-либо. От этой же основы образовался глагол, характеризующий действие (*умийа-*, «плыть на байдаре»; ср. *умийах'пок* — «плывет на байдаре», «охотится на байдаре»).

Вполне допустимо, что лодки типа *умиак* / *умийак* с приходом эско-алеутов на север обтягивались только шкурами дикого оленя (карибу) и применялись первоначально для переездов через реки, озера и проливы к местам скопления оленных стад, а с освоением морского промысла в качестве покрышек для умиаков стали применяться уже шкуры морского зверя — лахтак и моржа, обладающие большей прочностью.

В словаре канадских эскимосов диалектной группы Унгава, составленном Л. Шнейдером³, обнаруживаем следующую серию производных слов от основы **umeq* — «шкура», «кожа»: *umiaq* — «большая семейная лодка, вмещающая до 20 персон, весельно-парусная», также «шкура тюленя»; *umiagaaluk* — «большая лодка»; *umiagaq* — «малая лодка»; *umiardluk* — «плот», «паром»; от этой же основы другие производные слова: *umialikmaq* — «капитан корабля» от *umilik* — «владелец лодки» (в других диалектах *umilik* означает «хозяин», «старшина», «си-лач», «богач»); *umiartutoq* — «едет на умиаке»; *umingmaq* — «мускусный бык»; *umilrayaq* — «плетение из шерсти» и другие производные слова.

² Г. А. Меновщиков, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. I, Л., 1962, стр. 98; ч. II, Л., 1967, стр. 35—37.

³ L. Schneider, Dictionnaire esquimau-français du parler de l'Ungava, Quebec, 1970, p. 207.

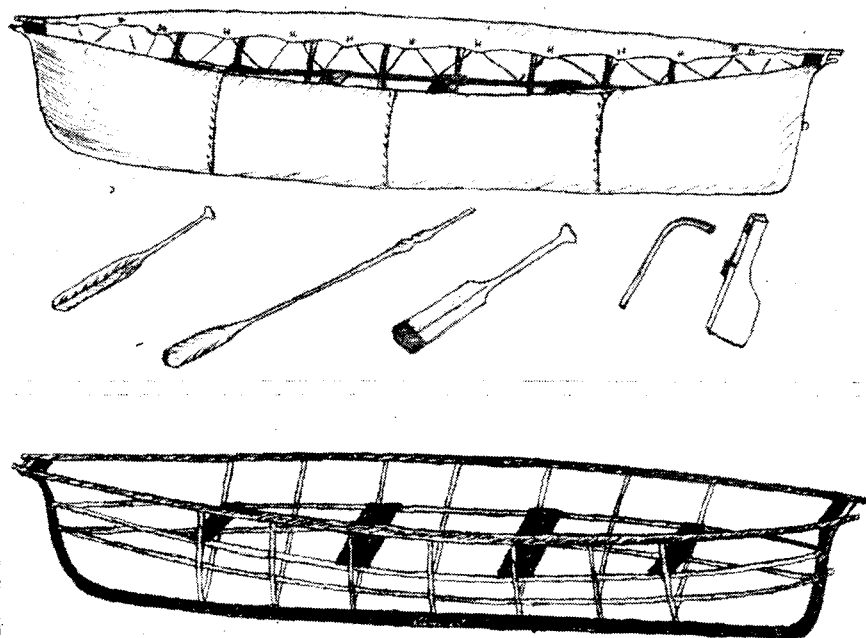


Рис. 1. Байдара (апјақ) и части ее снаряжения; каркас байдары. Этот и следующий рисунок выполнены науканским эскимосом Хухутаном в 1948 г.

В языке гренландских эскимосов слово *ишеқ* в значении «шкура» отсутствует. Там, как и в диалектах языка азиатских эскимосов, в этом значении употребляется слово *атеқ*, что является диалектным вариантом первого. Между тем название лодки у гренландцев то же, что и у канадских эскимосов — *ишјақ*. К. В. Шульц-Лоренцен в словаре гренландских эскимосов дает следующие производные слова от основы *иш- /-ишиаг-*: *ишјақ* — «женская лодка», «лодка с людьми»; *ишиаријақ* — «легендарная лодка»; *ишиашијақ* — «деревянная лодка»; *ишивик* — «место для лодок»; *ишиагроқ* — «плывет на лодке»⁴ и многие другие производные от этой основы слова.

У островных эскимосов Берингова пролива и побережья Аляски в районе мыса Принца Уэльского (уэльско-имакликский диалект) слова «оленья шкура», как у гренландских и азиатских эскимосов, выражены диалектным вариантом *амёк'*; между тем название лодки (байдары) восходит к основе *умёк'*, которая в центральных (канадских) диалектах и означает «шкура», «кожа».

В имакликско-уэльском диалекте имеем: *умёк'* — «байдара», *умёпик* — «байдара средняя», *умёйуак'* — «байдара малая», *умйшрак'* — «лодка деревянная», *умёйурак'* — «вельбот», *умёк'пак* — «корабль», *умёк'павак* — «большой корабль», *умёк'пасу́к* — «очень большой корабль», *умёг'вик* — «место байдар», *умйрук* — «вельбот», *умёк'туры* — «охотник байдарный», *умёлык* — «владелец байдары», «хозяин», «старшина», «си-лач», «начальник» и другие производные от этой основы слова⁵.

⁴ C. W. Schultz-Lorentzen, Dictionary of the West Greenland Eskimo language, København, 1967, p. 264, 265.

⁵ Материал по имакликско-уэльскому диалекту (язык эскимосов Берингова пролива) заимствован из полевых записей автора и его книги «Язык сиреникских эскимосов», Л., 1964, стр. 210. (Приложение: «Сравнительный тематический словарь»).

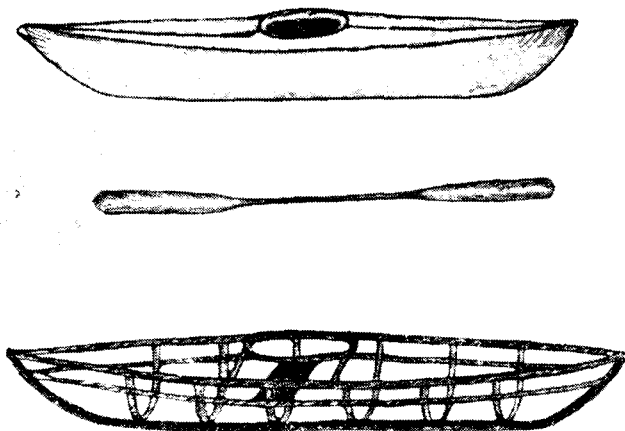


Рис. 2. Каяк (qajaq) с веслом и каркас каяка

Слово *умёлык/умйлык* в значении «старшина», «начальник», «силач» распространено во всех эскимосских диалектах, а в значении «владелец байдары» — только в диалектах инупик. В азиатских и американских диалектах йупик понятие «владелец байдары» соответственно выражается словом *ан'йалык/анйалык*. Суффикс *-лык* означает обладание чем-либо и является общим для всех диалектов эскимосского языка.

Кожаная многоместная байдара с легким и прочным деревянным каркасом типа *умиак'/анйак'* в качестве морского транспортного средства применялась всеми приморскими эскимосами. Однако функции байдары были различными у разных территориальных групп. Гренландские и канадские эскимосы многоместные байдары использовали преимущественно для семейных и других групповых переездов морем из одного пункта в другой, на места охотничьих угодий или новых поселений. В качестве же транспортного средства при охоте на морского зверя, в том числе и на кита, у этих групп эскимосов применялся главным образом *к'аяк'* (qajaq). Лодки типа каяк для промысла морского зверя использовались также и на Алеутских островах.

Между тем эскимосы Аляски и азиатского побережья Берингова моря в качестве транспортного средства на морской охоте применяли многоместные кожаные байдары типа *умиак'* (преимущественно восьмиместные), которые назывались *ан'йак'* или *анйак'*. В этом слове четко выделяются морфемы *ан'-/ан-*, *-йа* и *-к'*. Корневая морфема *ан'-/ан-* по диалектам означает «выходить», «выход». Суффикс *-йа* мог иметь при образовании слова *ан'айк'/анйак'* одно из двух упомянутых выше значений (стр. 113). Термин *умиак'* (*умийак'*) «байдара» у эскимосов Берингова пролива сохранился только в языке имакликско-уэльской группы.

У азиатских эскимосов от основы *ан'-/ан-* образовались следующие слова, относящиеся к названиям судов различного типа и производных от них понятий:

Чаплинский диалект	Наукавский диалект	
<i>ан'йак'</i>	<i>анйак'</i>	байдара (общее название)
<i>ан'йалик</i>	<i>анйалик</i>	байдара большая
<i>ан'йавак</i>	—	байдара немного больше, чем <i>ан'йалик</i>
<i>ан'йын'ыстак'</i>	(<i>пылык'ик'</i>)	байдара малая
<i>ан'йаг'шак'</i>	(<i>к'этх'у</i>)	вельбот, деревянная лодка
<i>ан'йах'пак</i>	<i>анйах'лук</i>	корабль
<i>ан'йаг'вик</i>	<i>анйаг'вик</i>	причал, место байдар
<i>ан'йаг'ак'ук'</i>	<i>анйаг'ак'ук'</i>	плывет на байдаре и т. д.

Байдара у эскимосов йурик получила не только иное название, но и стала основным транспортным средством для охоты на крупного морского зверя в отличие от каяка у эскимосов инурик и алеутов.

У чаплинских и сиренинских эскимосов, кроме перечисленных типов байдар, вплоть до начала 1930-х годов в употреблении были большие грузовые байдары на 20 и более персон, применявшиеся для переездов вдоль побережья (перекочевки из одного пункта в другой, поездки к американским эскимосам через Берингов пролив и к дальним чукотским оленеводам в целях совершения обмена продуктов морского промысла на продукты оленеводства). Один из типов таких байдар на чаплинском диалекте назывался *ан'йах' лъак* — «огромная байдара».

Самым распространенным видом лодок у эскимосов Канады и Гренландии, а также у алеутов были однолючные каяки (эск. *qajaq*, алеут. *uluXtaX*, *iqjaX*). Как отмечено выше, каяки отличались от байдар не только размером, но и конструкцией. Каяк обтягивался кожей со всех сторон. Специальный люк на его крышке служил местом, где сидел охотник. Последний так «зашнуровывался» в люке, что составлял как бы единое целое с каяком⁶.

Слово каяк (*к'айак'*) восходит, как можно предполагать, ко времени гипотетической эскимосско-алеутской языковой общности. Именно на это обстоятельство указывает лингвистический анализ. Первичной производящей основой слова *к'айак'* является корневая морфема *к'а(х')* — «рыба», «еда», обнаруживаемая в диалектах алеутского языка. Формант *-йа* — словопроизводный, формант *-к'* — показатель единичности предмета. Понятия «еда», «рыба», «мясо» обозначались, как мы ранее установили, в протоэскоалеутском языке словом **к'а*, которое в алеутском закрепились в форме *к'ах'* — «еда», «рыба», а в эскимосском — *нык'а* — «еда», «мясо», «рыба» же — *ык'алъук/ык'алук* (форманты *ны-*, *ы-* в начале слов представляются факультативными)⁷. Слово *к'айах'* — «лодка» могло обозначать первоначально (еще до появления протоэскоалеутов на современных территориях) «средство добычи рыбы», «средство добычи еды». Можно предполагать также, что древнейший («доарктический») каяк имел иную конструкцию, приспособленную для ловли рыбы или охоты на мелкую дичь, а затем в условиях охоты на крупного зверя в северных морях, покрытых значительную часть года льдами, она изменилась: закрытый каяк был более приспособлен для плавания среди льдов во время штормов в открытом море. Таким образом, каяк в условиях арктических морей был создан заново, обретая новые формы и функции, но сохранив старое название⁸.

Надо полагать, что охотничьи лодки типа каяк с самого начала развития протоэскоалеутской этнической общности сосуществовали с другими типами лодок, которые применяли для переездов при перекочевках больших групп людей. Название каяк (*к'айак'*), возникнув от корневой морфемы **к'а-* в протоэскоалеутском языке, не сохранилось в современном алеутском, хотя в последнем от этой же корневой морфемы образовалась серия производных слов, что и позволяет этимологизировать

⁶ О типах и устройстве байдар у азиатских эскимосов см. Г. А. Меновщиков, Эскимосы, Магадан, 1959, стр. 52—55; об алеутских байдарах см. Р. Г. Ляпунова, Указ. раб., стр. 88—100.

⁷ Г. А. Меновщиков, Эскимосско-алеутские языки и их отношение к другим языковым семьям, стр. 47, 48.

⁸ У аборигенов азиатского и американского побережья Берингова моря в начале XX в. каяк применялся только при охоте на пернатую дичь и мелкого тюленя (нерпу) вблизи побережья. Охота же на крупного морского зверя в этих широтах осуществлялась на многоместных байдарах. В начале 1930-х годов плавание на каяках можно было еще наблюдать в приморских эскимосско-чукотских поселках на азиатском побережье. С организацией коллективных промысловых хозяйств и началом применения моторного флота надобность в каяках утратилась и постепенно забылось искусство их изготовления.

эскимосское слово на основе алеутского языка. Сер. алеутск.: *к'а-: *к'ах'* — «рыба», «еда» (мн. ч. *к'ас*), *к'акух'* — «ест», *к'адах'* — «голец» (рыба), *к'акидах'* — «кижуч» (рыба) и т. д. В эскимосском языке обнаруживаем такие слова, как *к'айук* — «мясной отвар», *к'айутак'* — «деревянное блюдо для мяса, рыбы», *к'алу* — «сачок для рыбы» *к'алэ́та* — «рыбья чешуя».

Названия лодок в алеутском языке образовались от корневых морфем *улух'* — «мясо», «тело», «зерно», «люк в каяке»; *ик'и-/иг'и-* — «двигаться», «ехать с целью»; *айг'а-* — «уходить», «продвигаться куда-либо», ср.: 1) *улух'*: *улух'тах'* — «байдара трехлючная» «каяк» (в диалекте о. Беринга), *улух'тадах'* — «байдара двухлючная», *улух'-такух'* — «едет на байдарке»; 2) *ик'и-/иг'и-*: *ик'йах'* — «каяк», *иг'илах'* — «байдара», *иг'иг'их'такух'* — «едет на байдаре», *ик'йах'та'кух'* — «едет на байдарке», *ик'йаг'ихтадах'* — «ездок на байдаре»; 3) *айх'а/айг'а-*: *айх'асих'* — «лодка», «шлюпка»; *айх'ах'* — «езда», «едущий»; *айх'асикух'* — «едет на лодке» и т. д.

Названия алеутских лодок от производящих основ «тело», «мясо», «уезжать», «уходить», «возить» указывают на функциональную основу наименований средств водного транспорта. Представляется вероятным, что названия от производящих основ «*улух'* — «тело», «мясо» (эта же основа входит в название люка в каяке) возникли в алеутском языке в условиях жизни алеутов на морском побережье и охоты на морского зверя, когда речную или озерную лодку приспособили для охоты в открытом море. Название лодки каяк в диалектах алеутского языка было заменено словами *улух'тах'* и *ик'йах'*, а в эскимосском, как уже говорилось, оно сохранилось от эпохи гипотетической протоэскоалеутской общности.

Предложенные этимологии названий эскимосско-алеутских лодок не претендуют на абсолютную точность. Трудность подобных этимологий состоит в том, что исследователю приходится производить лингвистический анализ эскимосско-алеутских языков в их современном срезе, поскольку древних письменных памятников на этих языках нет. Между тем сравнительный анализ лексики этих родственных языков далеко отстоящих во времени и территориально изолированных позволяет установить те изменения в их строе, особенно в лексико-семантических значениях анализируемых названий предметов материальной культуры (в нашем случае — названия лодок), которые могли возникнуть в ходе продвижения протоэскоалеутов с востока на север и создания ими во многом сходных и параллельно развивавшихся культур морских зверобоев⁹.

⁹ Материалы по алеутскому языку заимствованы автором из следующих источников: Е. И. Вениаминов, Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка, СПб., М., 1846; Яков Нецветов, Русско-алеутский словарь (ахтинский диалект), 1860 (фотокопия рукописи, подлинник хранится в Аляскинском университете); Г. А. Меньшиков, Алеутско-русский словарь, 1967 (рукопись); составлен на основе полевых записей автора по двум диалектам алеутского языка на Командорских островах в 1963 г.

Э. В. Шавкунов, В. И. Болдин

ОРУДИЯ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА И СПОСОБЫ ЕГО ХРАНЕНИЯ У ЧЖУРЧЖЭНЕЙ

Во время раскопок в 1973 г. на Шайгинском городище, которое датируется XII — началом XIII в., наше внимание привлекла одна интересная деталь: в некоторых жилищах вблизи вырытых в земляной пол каменных ступ на определенном расстоянии от них иногда удавалось проследить две расположенные рядом ямки диаметром в 10—15 см и глубиной в 30—40 см. Позади них нередко можно было встретить овальное углубление диаметром от 30 до 50 см и глубиной 5—15 см (рис. 1). Ранее считалось, что подобного типа парные ямки с овальным углублением вблизи них являются остатками крепежного устройства от воздуходушных мехов, так как аналогичные ямки встречались также вблизи горнодувных и очажных ям.

Мы решили заново просмотреть планы раскопанных за 10 лет на Шайгинском городище жилищ, чтобы выяснить, является ли сочетание каменной ступы с крепежным устройством случайностью или закономерностью.

В результате произведенных подсчетов выяснилось, что в 49 из 103 вскрытых на Шайгинском городище жилищ имелись каменные ступы. При этом в 17 случаях не было никаких признаков крепежного устройства вблизи ступ. В 32 наблюдалась следующая картина: в 18 жилищах перед ступами имелись парные ямки от крепежных столбиков и овальное углубление позади них; в 7 — такие же парные ямки, но без овальных углублений, и в 7 — только овальные углубления без парных ямок. Поскольку происхождение овальных углублений в последних семи жилищах не совсем ясно, то в итоге получается, что только в 25 жилищах из 49 ступы были с крепежным устройством. Кроме того, оказалось, что в восьми жилищах имелись аналогичные устройства, но не было ступ. Вместо них были вырыты глубокие ямы, часть которых, судя по характеру их заполнения, можно определить как горновые. Вместе с тем не исключено, что на месте некоторых ям когда-то находились каменные ступы, которые при переселении могли быть перевезены хозяевами на новое место жительства.

Как показали результаты замеров, расстояние между центром резервуара ступы и центрами расположенных позади нее парных ямок колеблется от 125 до 225 см, причем в 13 из 25 жилищ оно равно 150 см.

Все это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что ступы и встречающиеся вблизи них следы крепежного устройства в чжурчжэньских жилищах составляют единый комплекс.

Что же он собой представлял и каково было его назначение? Ответ на этот вопрос помогает найти этнографический материал. Оказывается, в Корее для крупного размола зерна до сих пор широко используются ножные крупорушки *палбанжа*¹ (рис. 2), состоящие из каменной ступы, аналогичной чжурчжэньским, и горизонтально расположенного деревян-

¹ «Народы Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М.—Л., 1965, стр. 804—806, рис. 143, 9.

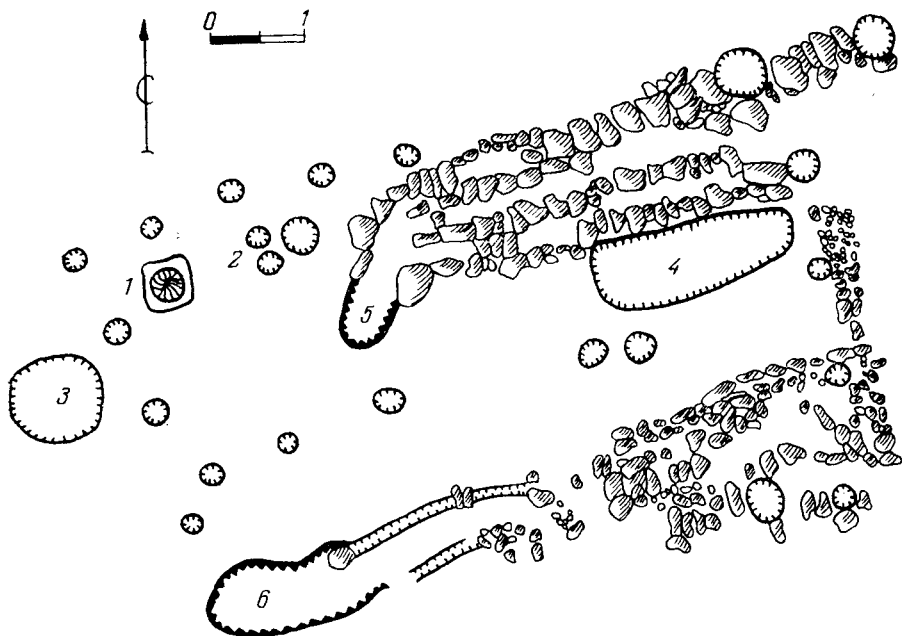


Рис. 1. План жилища № 100 Шайгинского городища: 1 — ступа; 2 — ямки от крепежного устройства перед ступой; 3 — хозяйственная яма перед жилищем; 4 — хозяйственная яма внутри жилища, вырытая вдоль левой секции кана; 5 и 6 — очажные ямы перед левой и правой секциями кана. Вдоль западной и частично северной сторон жилища расположены ямки от опорных столбов стен жилища

ного рычага длиной 2,5—3 м, укрепленного между двумя врытыми в землю невысокими столбиками. Более длинное и массивное плечо рычага, нависающее над ступой, снабжено тяжелым деревянным пестом, который в результате последовательного нажатия ног на конец противоположного, меньшего плеча рычага, то с силой опускался в ступу, то подымался из нее². Естественно, что в процессе работы ножной крупорушки от многократных ударов конца малого плеча рычага в земле постепенно выбивалось овальное углубление, которое часто прослеживается в чжурчжэньских жилищах позади парных ямок, оставшихся от крепежных столбиков.

О широком распространении в прошлом подобного типа ножных крупорушек свидетельствуют не только выявленные при раскопках чжурчжэньских жилищ на Шайгинском городище каменные ступы со следами крепежных устройств рядом с ними, но и обнаруженная в провинции Ляонин вблизи деревни Давопу (Северо-Восточный Китай) настенная роспись в могильном склепе № 1, где, очевидно, был погребен какой-то киданьский вельможа. В левом верхнем углу одного из настенных рисунков изображен человек, толкущий в ступе зерно с помощью ножной крупорушки³. Как видно из рисунка, человек стоит, опершись руками о деревянную перекладину, прибитую к двум врытым в землю высоким стойкам. Правой ногой он нажимает на конец короткого плеча рычага ножной крупорушки. Рычаг представляет собой длинную жердь, прикрепленную примерно в средней своей части к двум вбитым в землю столбикам. На конце длинного плеча рычага, нависающего над ступой, виден массивный пест.

² «Народы Восточной Азии», стр. 804—806.

³ Янь Юй, Цзиньси Давопу Ляо Цзинь шидай хуасян ши му (Каменные могилы с росписью периода Ляо Цзинь в деревне Давопу уезда Цзиньси), «Каогу», 1960, № 2, стр. 32, рис. 3 (1).

Высота изображенной на рисунке фигурки человека равна 16 мм, а длина видимой части рычага крупорушки 13 мм. Если предположить, что рост человека равен 170 см, то можно установить и длину видимой части рычага киданьской ножной крупорушки. Она будет равна 140 см, а если учесть скрытую под ступней ноги часть рычага, то и все 150—160 см. Эта длина совпадает с расстоянием между центром резервуара ступы и центром овального углубления позади парных ямок в большинстве чжурчжэньских жилищ. Последнее обстоятельство дает основание утверждать, что длина рычага у киданьских и чжурчжэньских ножных крупорушек в подавляющем большинстве была 150 см, т. е. несколько

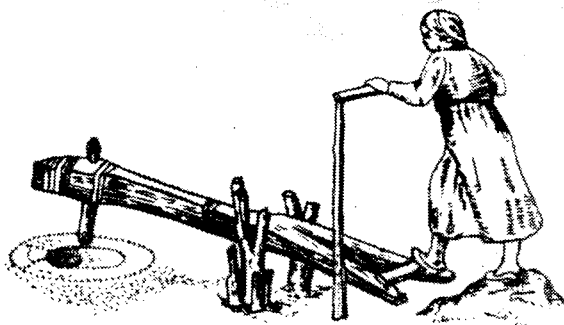


Рис. 2. Ножная крупорушка палбанъа («Народы Восточной Азии», серия «Народы мира. Этнографические очерки») М.—Л., 1956, рис. 143, 9

меньше, чем у современных корейских. В конструктивном же отношении киданьские и чжурчжэньские ножные крупорушки практически ничем не отличались от корейских.

Каменные ступы были обнаружены чуть ли не в каждом втором жилище Шайгинского городища. Многие из них к тому же являлись составной частью ножных крупорушек, рассчитанных на размол большого количества зерна. Это свидетельствует о том, что крупа в пищевом рационе чжурчжэней занимала заметное место.

Об интенсивности работы на ножных крупорушках свидетельствует тот факт, что дно и стенки резервуара ступы сильно зашлифованы. Ступы Шайгинского городища изготовлены преимущественно из гранитных, реже базальтовых или песчаниковых глыб, причем, судя по ряду признаков, поверхность резервуаров у них первоначально была покрыта веерообразно расходящимися от центра дна мелко выбитыми желобками. Такие желобки значительно увеличивали силу сцепления зерен со стенками резервуара ступы, что намного облегчало и ускоряло процесс их размола. Однако в результате длительной работы стенки нижней части резервуара большинства ступ, в том числе и гранитных, отличающихся особой прочностью, стали совершенно гладкими. Чтобы, работая деревянными пестами, так их отшлифовать, нужно было перемолоть не одну тонну зерна.

Об интенсивной эксплуатации ножных крупорушек свидетельствует и тот факт, что на Шайгинском городище нередко встречаются ступы, которые в результате многократных ударов тяжелым пестом оказались как бы вбитыми в глубь земляного пола. Обычно резервуар таких ступ по краям обкладывался небольшими каменными плитками. Это делалось для того, чтобы предотвратить попадание внутрь ступы комков земли и мусора с пола.

Мука и изделия из нее играли в пищевом рационе чжурчжэней, по всей вероятности, не столь важную роль, как крупа. На такую мысль наводят крайне редкие находки обломков каменных ручных мельниц, или жерновов на Шайгинском городище. Здесь только в семи из 103 раскопанных жилищ были обнаружены обломки или отдельные части жерновов, дающие возможность полностью реконструировать ручную мельницу чжурчжэней.

При реконструкции верхнего жернова, или верховода ручной мельницы за основу взяты обломки, обнаруженные в жилищах № 60, 82, 88 и 93. Лучшее всего сохранился верховод из жилища № 88. Он представляет собой гранитную чашу диаметром 35,5 см и высотой 9,3 см. Высота стенок чаши от внутренней поверхности дна равна 5,5 см, толщина в верхней части 2,5 см. В жилище № 93 обнаружен обломок части верховода, где стенки имеют специальное утолщение в виде выступа, в котором выдолблен небольшой паз диаметром 2,5 см и глубиной 4,5 см, куда вставлялась ручка из дерева (рис. 3). В центре чаши имеется сквозное отверстие диаметром 3,5 см, в которое проходил штырь, закрепленный в центре нижнего жернова, или постова. На дне верховода, недалеко от центрального отверстия, имеется еще одно такого же диаметра. Через него зерно сыпалось между трущимися поверхностями верховода и постова, а чтобы оно распределялось там более равномерно, на трущейся поверхности верховода был выдолблен кольцеобразно расположенный (против часовой стрелки) желобок. Более широкий и глубокий вначале, к концу он постепенно суживался. Судя по направлению желобка, верховод вращался против часовой стрелки. Чтобы размол зерна проходил более интенсивно, на трущихся поверхностях верхнего и нижнего жерновов делались группы насечек, расположенные под определенным углом друг к другу. Таким же образом была обработана и внутренняя поверхность чаши верховода, но уже, скорее всего, по эстетическим, а не по утилитарным соображениям.

Обнаруженный в жилище № 99 расколотый на две половины постов представляет собой массивный гранитный круг диаметром 33,5 см и высотой 9,5 см. Его трущаяся поверхность слегка повышается от краев к центру, где имеется квадратное отверстие с шириной сторон 4,5 см и такой же глубиной. В отверстии крепился деревянный или, возможно, железный штырь, на который насаживался верхний жернов.

Следует отметить, что помимо Шайгинского городища, ручная мельница с чашевидным верховодом пока обнаружена только на Абрикосовском поселении бохайского времени (VIII — нач. X в.) в Уссурийском

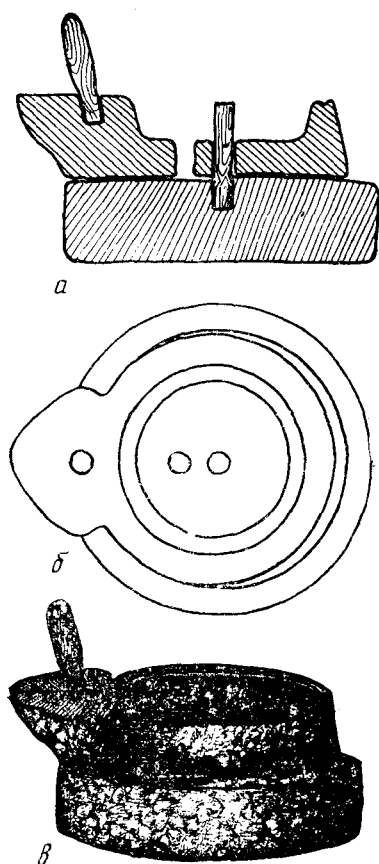


Рис. 3. Чжурчжэньская ручная мельница шайгинского типа (реконструкция): а — мельница в разрезе; б — схематический вид сверху; в — общий вид мельницы

районе Приморского края. Правда, в захоронении танского времени (VII—X вв.) вблизи г. Тяньцзиня в КНР оказалась миниатюрная модель ручной мельницы⁴, которая отличается от шайгинских лишь тем, что на верховоде не одна, а две диаметрально расположенные по отношению друг к другу ручки. Отсутствие же у киданей — соседей бохайцев и чжурчжэней — жерновов шайгинского типа позволяет высказать предположение о том, что жернова этого типа, впервые появившись в Китае, затем, по-видимому, распространяются в древнекорейском государстве Когурё, а от когуресцев они, вероятно, становятся известными уже бохайцам и чжурчжэням.

Во время раскопок на Шайгинском городище во многих жилищах довольно часто попадались обуглившиеся зерна, благодаря чему мы имеем теперь возможность судить о составе зерновых культур, выращивавшихся в XII в. чжурчжэнями в юго-восточной части Приморского края. В число этих культур входят пшеница, ячмень, рис, чумиза, пайза и соя. Естественно, что собранный урожай зерновых должен был где-то храниться. Ответ на вопрос о том, как и где хранили чжурчжэни запасы зерна, опять-таки дают материалы археологических раскопок на Шайгинском городище.

В настоящее время можно говорить о двух основных способах хранения зерна у чжурчжэней. При первом, наиболее распространенном, зерно, ссыпанное в большие керамические корчаги и вазовидные сосуды, а также, возможно, в кожаные мешки, хранилось внутри свайных амбаров, которые сооружались вблизи большинства чжурчжэньских жилищ⁵. О хранении его именно таким способом свидетельствует то, что неподалеку от амбаров почти всегда находят фрагменты нескольких корчаг и вазовидных сосудов, которые в жилищах встречаются сравнительно редко. Здесь же можно обнаружить и обуглившиеся зерна пшеницы, чумизы и т. д.

При втором способе хранения зерно ссыпали в специально сооруженные для этой цели ямы — своего рода подземные закрома. Чаше всего такого рода ямы выкапывали в полу жилища. Об их размерах и конструкции можно судить на примере жилища № 88, где обнаружена овальная в плане яма 70 см диаметром и 50 см глубиной. Она вырыта вблизи средней части боковой стены, выходящей на юго-восток. При зачистке ямы выяснилось, что ее стенки и дно тщательно обмазаны толстым слоем глины, перемешанной с рубленой соломой. Глиняная обмазка как на дне ямы, так и на ее стенках оказалась равномерно обожженной, что, очевидно, было сделано преднамеренно с помощью разведенного в яме костра. Обожженная глиняная обмазка не только укрепляла стенки ямы, но и препятствовала проникновению в нее почвенной влаги и, возможно, грызунов. Верхний слой содержимого ямы состоял из темно-серого суглинка с большим количеством отвалившейся от стенок глиняной обмазки и древесного угля, иногда даже в виде небольших плашек. Внутри этой ямы в верхнем ее слое обнаружены железный замок и бронзовое зеркало. Замки и куски обуглившихся плашек были найдены также в хозяйственных ямах, расположенных под свайными амбарами жилищ № 82 и 87. Последнее обстоятельство дает основание полагать, что хозяйственные ямы имели сверху деревянную крышку, которая запиралась на замок. В яме жилища № 88 под поверхностным слоем шел также темно-серый суглинок, но здесь уже стали

⁴ Юнь Си-чжэнь, Тяньцзинь Цзюняньчэнь фсяньды Тан дай муцзан (Захоронение танского времени, обнаруженное в Цзюняньчэне вблизи Тяньцзиня), «Каогу», 1963, № 3, стр. 147, 148, табл. IX, рис. 10.

⁵ Э. В. Шавкунов, К характеристике жилищ чжурчжэней по материалам археологических исследований 1963—1966 гг., «Материалы по истории Дальнего Востока (история, археология, этнография, филология)», Владивосток, 1973, стр. 79, 80, рис. 8, 9.

встречаться в большом количестве обуглившиеся и полуистлевшие зерна чумизы. На дне ямы лежали ножницы, огромные железные двухзубые вилы, четыре долотовидных наконечника стрел и нож.

Несколько необычная по форме хозяйственная яма выявлена в жилище № 100. В отличие от других ям, овальных в плане, она имела вид эллипса и достигала в длину 230 см, в ширину 80 см и в глубину 90 см. Нижняя треть этой ямы была выдолблена в скальном выходе. Пока это самая большая из всех известных на Шайгинском городище хозяйственных ям. Верхняя ее часть на 40 см заполнена темной гумусированной почвой с высоким содержанием кусков древесного угля. Очевидно, это остатки деревянного каркаса, крышки и обожженной глиняной обмазки. Нижняя же часть ямы заполнена мощным (до 50 см) слоем обуглившихся зерен пшеницы и проса. Кроме того, в яме обнаружены железные гвозди, долотовидные наконечники стрел, наконечник арбалетной стрелы, железное массивное зубило, костыль, с помощью которого долбили скалу, когда делали эту яму. В яме были также обнаружены фрагменты двух керамических корчаг и небольшого горшочка, а также половинка бронзового браслета в виде согнутого в кольцо бамбукового стебля. Рассматриваемая хозяйственная яма расположена вдоль левой секции кана, благодаря чему в ней, по всей вероятности, было относительно тепло и сухо, что создавало вполне благоприятные условия для длительного хранения больших запасов зерна.

Интересно отметить, что в хозяйственных ямах, вырытых за пределами жилищ (чаще всего под амбарами), состав находок имеет уже несколько иной характер. Правда, и здесь можно нередко встретить зеркала, замки, древесный уголь, куски глиняной обмазки, острые предметы из железа и круглые кольцеобразные вещи из бронзы или железа. Однако зерна, за редким исключением, в таких ямах отсутствуют, зато всегда встречаются кости крупных животных и фрагменты огромных керамических корчаг. По-видимому, эти ямы использовались в зимнее время в качестве своеобразных холодильников для хранения запасов мясной пищи.

Рассматривая содержимое хозяйственных ям, нельзя не обратить внимания на то, что среди находок преобладают изделия с колющими или режущими рабочими частями. Чаще всего это наконечники стрел, ножницы, ножи, топоры, гвозди и т. д. Изредка встречаются зеркала, а также бронзовые кольца, чугунные втулки от ступицы колеса и прочие предметы, представляющие собой замкнутое кольцо. Назначение большинства предметов нетрудно определить, если обратиться к этнографическим параллелям. Так, согласно представлениям нивхов, острые предметы (например, наконечники стрел и копий, топоры), а также деревянные обручи представляют непреодолимое препятствие для злых духов, которые не могут проникнуть туда, где находятся перечисленные вещи⁶. Такими же охранными свойствами обладали, по представлению нанайцев, и медные диски *толи*, которые шаманы надевали на грудь⁷. Интересно отметить, что у монголов слово *толи* означает «зеркало». Если же принять во внимание, что нанайские шаманы очень часто вместо медных дисков вешали себе на грудь бронзовые зеркала, то все это вместе взятое может свидетельствовать лишь о том, что зеркала у нанайцев приписывались такие же охранные свойства, как и шаманским нагрудным медным дискам. Но в таком случае находки зеркал в хозяйственных ямах (жилища № 87 и 88) или около амбара (жилища № 94 и 97) не следует рассматривать как простую случайность. Скорее всего, они были

⁶ Е. А. Крейнович, Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура, М., 1973, стр. 341, 354.

⁷ П. П. Шимкевич, Материалы для изучения шаманства у гольдов, «Записки Приамурского отдела имп. Русского Географического общества», т. I, вып. 2, Хабаровск, 1896, стр. 12.

помещены сюда преднамеренно в качестве своеобразных оберегов продуктов от злых духов. В пользу такого предположения свидетельствует и статистика: из восьми обнаруженных на Шайгинском городище зеркал половина найдена непосредственно в хозяйственных ямах и у амбаров.

Для охраны продуктов от злых духов чжурчжэни довольно часто пользовались, как это в свое время уже было показано, определенными тамгообразными знаками и некоторыми видами орнаментики, имевшими определенные магические свойства. Знаки наносились на тарную керамическую посуду и символизировали собой небесную сферу, небесный, или солнечный, огонь⁸.

Таким образом, наряду с рациональными способами хранения пищевых продуктов чжурчжэни широко практиковали и иррациональные, обусловленные бытовавшими у них анимистическими представлениями и связанными с ними магическими действиями. Именно вера в существование всевозможных духов, в том числе зловредных для человека, и стремление хоть как-то уберечь от их порчи пищевые запасы побуждало чжурчжэней прибегать к помощи магии, различного рода оберегов, а также помещать вместе с продуктами предметы, представляющие якобы опасность для злых духов.

⁸ Э. В. Шавкун о в, О семантике тамгообразных знаков и некоторых видов орнамента на керамике с Шайгинского городища, «Сов. этнография», 1972, № 3, стр. 128—133.

Е. Д. Турсунов

**ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ МОТИВОВ
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ СКАЗОК**

Происхождение сказок-небылиц, рассказываемых «для смеху» и построенных на заведомо нелепом вымысле, необычайно интересных в историко-генетическом и этнографическом планах, все еще не получило достаточного освещения в нашей фольклористике. В работах фольклористов возникновение небылиц как разновидности сказочного жанра связывается с развитием исполнительского мастерства сказочников. Обоснования же этого тезиса, как правило, отсутствуют¹. Более подробно интересующая нас тема рассматривается лишь в статье Д. Зеленина², но в ней о генезисе жанра сказок-небылиц говорится вскользь.

Основываясь на поверьях ряда народов мира о том, что духи произносят и понимают слова людей в противоположном смысле, Д. Зеленин делает предположение, что именно такое поверье и лежит в основе сказок-небылиц. Эта гипотеза Д. Зеленина страдает односторонностью; она не находит обоснования ни в содержании сказок-небылиц, ни в принципах их построения. Свой вывод исследователь делает исходя из того, что определяющей в таких сказках является форма (язык, произнесение слов в обратном смысле), в то время как на самом деле главенствующим, вероятно, были определенные представления, лежащие в их основе.

Поверья, подобные тем, которые привел в своей работе Д. Зеленин, бытовали и у тюркских народов. Например, казахский баксы (лекарь-шаман) Байсакал еще несколько лет назад, начиная призывать духов предков, заставлял джигитов надевать ему на голову кружочек диаметром около 10 см, предупреждая юношей, чтобы они при этом повторяли слова «Не вдевается». Если кто-либо из них нечаянно скажет «Вдевается», то, как говорил баксы, кружочек ни за что на голову не надеется³. Таким образом, произнося слово в противоположном значении, джигиты тем самым как бы оповещали духов-помощников баксы о том, что все идет именно так, как того желает баксы.

¹ См., например: А. Самойлович, Сказка «40 небылиц» по туркменскому, узбекскому и киргизскому вариантам, «Живая старина», вып. II—IV, СПб., 1912, стр. 478; М. Эуезов, Е. Ысмайылов, Қазақ ертегілері, «Қазақ ертегілері жинағында», т. I, бег. XXVI, Алматы, 1957; Н. Шарақшинова, Бурятский фольклор, Иркутск, 1959, стр. 152; У. Далгат, Вопросы юмора и сатиры в народном творчестве (на материалах дагестанского фольклора), «Вопросы народно-поэтического творчества. Проблемы соотношения фольклора и действительности», М., 1960, стр. 99; Т. Ғозибоев, Сунг сўз, «Гулпари. Наманган эртақлари», Тошкент, 1969; И. Стеблева, Туркменская сказка. «Проданный сон. Туркменские народные сказки», М., 1969, стр. 13.

² Д. К. Зеленин, Религиозно-магическая функция фольклорных сказок, в сб.: «С. Ф. Ольденбургу», Л., 1934, стр. 228.

³ Эти сведения сообщены научным сотрудником Института языкознания АН Казахской ССР Т. Ариновым.

Казахи считали при этом, что не только язык, но и весь быт в целом и поведение духов прямо противоположны человеческим. Так, если во сне смеешься, то наяву будешь плакать, и наоборот — если во сне плачешь, то наяву тебя ждет радость. Это поверье бытовало у тюрок еще в XI в.⁴ Точно так же якуты полагали, что демоны-абаасы ходят в отличие от людей задом наперед⁵. Отсюда становится понятно, почему казахи, каракалпаки и киргизы не позволяли детям пугаться. Наконец, на тех же представлениях основывается турецкое поверье, будто золото, вынесенное человеком из страны джинов, превращается в уголь⁶.

Подобные представления отразились, однако, не в сказках-небылицах, как предполагал Д. Зеленин, а в волшебных сказках и легендах. Например, в казахских и туркменских волшебных сказках героиня становится красавицей, если в ответ на предложение старухи вырвать у нее волосы, разбить посуду и разбросать вещи в ее доме причесывает старухе волосы, моет посуду и прибирает в юрте. Ее же сестра, дословно исполнившая приказание старухи-чародейки, превращается в урод. Джейран, в теле которого находится душа дэва, спит с открытыми глазами, а бодрствует с закрытыми⁷. В турецкой волшебной сказке один из братьев, отправившись во владения чудовища-дэва, встретил два моста (железный и деревянный), две яблони (со сладкими и кислыми плодами), он пошел по железному мосту и стал есть сладкие яблоки. Следивший за ним дэв, обрадовавшись, что ему в лапы идет легкая добыча, съел юношу; второй же брат пошел не по железному, а по деревянному мосту, и ел он не сладкие, а кислые плоды. Дэв, увидев это, пришел в ужас и начал спешно готовиться к бою⁸. Избрав худшее, юноша тем самым обнаружил свою причастность к магической силе, которой был лишен первый брат. Поэтому неправа М. Сакали, которая видит здесь только художественный прием⁹.

Реминисценцию древнего представления о том, что поведение духов прямо противоположно поведению людей, можно проследить в каракалпакской легенде «Гора Ток». Люди в ней просят великана-дау открыть реку, чтобы вода текла в низовья, великан же перегораживает русло своим телом. Когда же его просят перегородить реку, он, наоборот, открывает русло¹⁰.

Видимо, согласно тем же представлениям, герой выбирает не золото и драгоценности, а самую некрасивую и старую вещь из тех подарков, что предлагает ему чудовище (дух предка и т. д.). На самом деле эта вещь оказывается наиболее драгоценной, так же как выбранная героем безобразная и горбатая жена оказывается писаной красавицей¹¹.

Таким образом, древнее представление о том, что язык и поведение духов прямо противоположны языку и поведению людей, вошло в волшебную сказку и в легенду, породив в них ряд сходных мотивов: произнесение и понимание слов в противоположном значении; избрание худшего пути и худших вещей, встречающихся по дороге; выбор самого плохого из предлагаемых подарков. В сказках-небылицах этого нет.

Каково же содержание сказок-небылиц? Рассмотрим этот вопрос на примере сказки о ловком мальчике (юноше), солгавшем сорок (семь-

⁴ «Древнетюркский словарь», Л., 1969, стр. 2.

⁵ И. А. Худяков, Краткое описание Верхоянского округа, Л., 1969, стр. 293.

⁶ В. А. Гордлевский, Из османской демонологии, «Избранные сочинения», т. III, М., 1962, стр. 315.

⁷ «Екі жетім», «Қазақ ертегілері», бет. 305—306; «Падчерица», «Туркменские сказки», Ашхабад, 1956, стр. 137; М. А. Сакали, Туркменский сказочный эпос, Ашхабад, 1956, стр. 30, 31.

⁸ «Трехлапый дэв», «Турецкие народные сказки», М., 1967, стр. 40—42.

⁹ М. А. Сакали, Указ. раб., стр. 30.

¹⁰ «Тоқ тауы», Каракалпак халқ легендалары хамь анекдотлары», Нөкіс — Самарканд, 1962, бет. 104.

¹¹ Н. Ф. Катанов, Хакассский фольклор, Абакан, 1963, стр. 141; Э. Р. Тенишев, Саларские тексты, М., 1964, стр. 112.

десять и т. д.) раз подряд и получившем за это в жены ханскую дочь. Эта сказка в различных вариантах бытует в устном творчестве казахов¹², каракалпаков¹³, татар¹⁴, туркмен¹⁵, узбеков¹⁶, якутов¹⁷, хакасов¹⁸, бурят¹⁹, монголов²⁰ и калмыков²¹. Во всех указанных вариантах повествование строится не на нарочитом употреблении слов в противоположном значении, а на *показе действий и ситуаций, явно невозможных в реальной жизни из-за своей нелепости и несуразности*. Герой сказки родится раньше своих родителей; рубит лед головой; головой же забивает в землю иглу; ходит, засунув обе ноги в один сапог; ткёт ковер из паутины и т. д. Ест он мясо мух, саранчи; охотится на змей, как на лисиц; ездит на кузнечиках, жуках, черепахах, мышах, мухах. Эти несуразности и нелепицы составляют основу сказки.

Вид героя сказок-небылиц необычен: он слепой или безрукий, ходит без головы или носит ее под мышкой и т. д. Подобные параллели обнаруживаются в представлениях тюрко-монгольских народов об обитателях мира мертвых.

По архаическим поверьям, внешний вид некоторых духов, а также окружающих их существ отличается от внешности земных людей именно нелепостью и несуразностью. Подобные представления сохранялись у тюрко-монгольских народов до недавнего времени. Духи эти населяли потусторонний мир, подземное царство мертвых. Недаром казахи, например, считали, что обитатели подземного мира повязывают поясной ремень не на талию, а на ноги²², а хорезмские узбеки верили, что демонические существа-пари — это люди без носа, без ушей или без глаз²³. По мнению якутов, в мире мертвых, в нижнем мире, рыбы имеют рот на шее, а глаза на затылке²⁴. Столь же нелеп вид демонов-абаасы, населяющих подземный мир («половина рожа, половина туша, в дохе из жертвенной шкуры, наколенники из шкуры павшего скота»); духов «холодного ветряного неба», у которых рот на кадыке; якутских богатырей-абаасы, живущих в нижнем мире, одноногих или одноглазых, косоглазых, безглазых, порою на груди у них растет ладонь²⁵. Столь же

¹² «Старик и 12-летняя дочь его», см. А. А. Диваев, Этнографические материалы, вып. I, 1891, стр. 2—5; «Қырық өтірік», «Труды Общества изучения Киргизского края», вып. III, 1922, «Суайт тазша», «Казахская народная поэзия», Алма-Ата, 1964, стр. 60—64; «Сорок небылиц», «Казахские и ойротские сказки», Алма-Ата, 1936, стр. 46, 47; «Сексен өтірік», Алматы, 1937; «Хан мен өтірікші тазша бала», «Қазақ ертегілері», Алматы, 1937; бет. 11—12; «Сорок небылиц», «Песни степей. Антология казахской литературы», М., 1940, стр. 162—164; «Ташшаның қырық ауыз отірігі», «Қырық отірік» кітабында, Алматы, 1953; «Ташшаның қырық өтірігі», «Қазақ ертегілері», Алматы, 1959, т. I, бет. 342—356, «Vierzig Lügen», «Der fliegende Teppich. Märchen aus Kasachstan und Usbekistan, Prague, 1968, S. 46—50.

¹³ «Пастух, солгавший сто раз подряд», «Каракалпакские народные сказки», Нукус, 1959, стр. 91—95.

¹⁴ «Өч капчык суз», «Татар халык әкиятләре», Казан, 1964, бит. 336—338, «Ике ялганчы», там же, стр. 370—372.

¹⁵ «Қырк ялан», «Емаклар хем дегишмелер», Ашгабат, 1964, сах. 240—244; «Сорок небылиц», «Проданный сон. Туркменские народные сказки», стр. 128—133; «40 небылиц», Рукописный фонд Ин-та языка и литературы им. Махтумкули АН Туркменской ССР, ф. 908, л. 198—204.

¹⁶ «Подшоининг қизини олган кал», «Гулпари. Наманган эртақлари», бет. 254—256.

¹⁷ «Заблудившиеся лари», «Сказки народов Севера», М., 1959, стр. 574, 575.

¹⁸ «Шестьдесят небылиц», Н. Ф. Катанов, Хакассский фольклор, стр. 124—126.

¹⁹ «Бедняк Тархас», Н. Шаракшинова, Бурятский фольклор, стр. 148;

«Сплошная небылица», Там же, стр. 152.

²⁰ «Небылицы», в сб. «Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика», М., 1960, стр. 247—252.

²¹ «Семьдесят две небылицы», Элиста, 1969.

²² Ч. Ч. Валиханов, Следы шаманства у киргизов, «Сочинения», т. I, Алма-Ата, 1961, стр. 480.

²³ Г. П. Снесарев, Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма, М., 1969, стр. 60.

²⁴ «Якутский фольклор», М., 1936, стр. 112.

²⁵ И. А. Худяков, Указ. раб., стр. 292, 325, 340.

уродливы духи — обитатели мира мертвых в бурятском эпосе: их голоса отвратительны, носы подобны старым колодцам. Эти уроды не имеют тени, унты у них без подошв, а шапки без тульи²⁶.

Представления о нелепом виде обитателей потустороннего мира распространены не только у тюрко-монгольских народов. Можно предположить, что подобные представления отразились в петроглифах Карелии III—II тысячелетия до н. э., где встречаются изображения странных безруких и одноногих, кривобоких, толстогубых, большеухих, безголовых антропоморфных существ, «потустороннее» происхождение которых подтверждается тем, что в центре рисунка дано реалистическое изображение пляшущего человека с жезлами в руках (вероятно, шамана), вокруг которого цепочкой расположены солярные знаки — обереги²⁷.

Столь же уродливо-отвратительным представляется и скот обитателей мира мертвых. Герой киргизского эпоса «Эр-Тоштюк», попав в нижний мир, встречает коров, которые «лохматы, имеют ветвистые рога, отвратительно пахнут»²⁸, в бурятском эпосе духи ездят на бесхвостых горбатых конях²⁹, а у якутских абаасы в качестве скота выступают различные пресмыкающиеся и насекомые³⁰. Необычен и скот героя сказок-небылиц: это оводы, комары, вши, мухи, мыши и т. д.; он ездит верхом на клещах, навозных жуках, кузнечиках, улитках.

Как уже отмечалось выше, также необычной была пища героев сказок-небылиц. Это — мухи, саранча, оводы, змеи, мыши, дохлая рыба и т. д.

Странной и безобразной считалась и пища обитателей мира мертвых. Это представление широко отражено в различных жанрах тюрко-монгольского фольклора. Например, шулмусы в бурятских поверьях, сказках и эпосе питаются гнилью, тухлым мясом и всякой прочей гадостью³¹, посланцы владыки мира мертвых Эрлика в алтайском эпосе едят требуху «поганных змей и лягушек»³², якутские абаасы употребляют в пищу падаль, тухлятину, червей, насекомых и пр. Герой якутской сказки следующим образом кормит абаасы: «Сперва пошел из лягушечьего озера набрал лягушек, из озера с водяными жуками набрал жуков, из ящеричных трясин набрал ящерич, из червистых кочек набрал червей, собрал всех гадов земли, принес на спине, сварил в большом котле»³³.

Характерно, что герой небылиц варит свою необычную пищу не в целой, а в дырявой посуде: «Положив в дырявый котел, стал я растапливать масло; о хан мой, бывают же такие чудеса: ни капли не пролилось»³⁴. Или: «Нашел три котла. Два-то были разбиты, а у третьего не было дна. Я опрокинул котлы... и сварил такую пересоленную уху, что просто объедение»³⁵. Все это еще раз говорит о связи рассматриваемого мотива сказок-небылиц с древними представлениями о мире мертвых и его обитателях. У ряда тюрко-монгольских народов до недавнего времени сохранялся обычай ломать те вещи, которые оставляют на могиле или кладут в нее. «...Нарта или челнок, принесенные на могилу, обязательно ломались там, надламывался кончик ножа, ломалось древко копья, обязательно разрезалась кожа шаманского бубна, подвешенного на дереве у могилы его владельца... У западного конца

²⁶ «Гэсэр. Бурятский героический эпос», М., 1968, стр. 114.

²⁷ Ю. А. Савватеев, Залавруга. Археологические памятники низовья реки Выг, ч. I, Л., 1970, стр. 150, 151, 412.

²⁸ «Эр-Тоштюк. Киргизский народный эпос», Фрунзе, 1958, стр. 128, 129.

²⁹ «Гэсэр», стр. 114.

³⁰ И. В. Пухов, Якутский героический эпос олонго. Основные образы, М., 1962, стр. 137—139, 142.

³¹ «Гэсэр», стр. 110.

³² «Малчи-Мерген. Алтайский героический эпос», Ойрот-Тура, 1947, стр. 69—72.

³³ И. А. Худяков, Указ. раб., стр. 292.

³⁴ «Кырык өтірік», бет. 7.

³⁵ «Пастух, солгавший сто раз подряд», стр. 93.

каждой могилы хакаса... всегда лежит небольшая песчаниковая плитка, а около нее небольшое кострище — остатки „поминаний“ покойника, отправления ему в загробный мир пищи. Здесь обязательно лежит та или иная поломанная или разбитая посуда — эмалированные мисочки, фарфоровые тарелки, разбитые бутылки из-под водки; раньше оставляли кожаные фляги, обязательно со значительным надрезом их стенки... Разбивается и ломается посуда... для того, чтобы выдворить из нарты, челнока, миски, ножа... душу предмета для следования их в загробный мир... вместе с душой покойника»³⁶.

Герой сказок-небылиц необычным образом ест пищу. Он весьма вольно обращается со своей головой: сняв с плеч, прорубает ею лед, чтобы напиться; без головы ест: «...Взял кусок в руку, ко рту поднес и вспомнил: „Ведь я свою голову забыл там, где давешний лед прорубал... Протолкнул я зайчиху через горло, набил утробу...“»³⁷. И пьет он без головы: «Воду я выпустил обратно, а рыбу съел. Наевшись и напившись, я пошел бодро домой. Гляжу — встречные смеются: „Эй, дорогой, а где же твоя голова?“ Я удивился такому вопросу. Тихонько нащупал — нет головы. Вспомнил: забыл ее у озера»³⁸. И без головы же он курит: «Затем, решив закурить, взял трубку и огниво, стал закуривать, но не понимал, куда же уходит дым... Оказалось, нет не только моей шапки, но и головы моей нет»³⁹.

Нетрудно заметить, что рассмотренные выше представления о внешней безобразности и несуразности обитателей потустороннего мира стали переносить и на их поведение, что и получило отражение в рассматриваемом мотиве сказок-небылиц. И действительно, якутский шаман, изображая духов, производит нелепые движения. Когда он призывает «вздёрнутого кверху» духа со ртом на кадыке, то берет трубку и курит ее, приставив к кадыку; когда призывает духов, имеющих рот на затылке, то курит трубку, приставив ее к затылку. Сами духи («дьяволы») едят столь же сгранным образом: они отрезают себе головы, вспарывают ножом животы и поедают собственный жир из брюха, вкладывая пищу прямо в гортань, обнажающуюся после снятия головы⁴⁰.

Общим для шаманских верований также является то, что во время камлания духи-помощники шамана будто бы вселяются в его тело, и он в соответствии с обстоятельствами действует то в образе духов, то с их помощью⁴¹. В связи с этим становится понятным, почему во время сеанса камлания шаман начинает конвульсивно дергаться, дико закатывать глаза, иступленно, словно помешанный, вскрикивать, доходя до состояния протрации, и т. д. Примечательно, что эта манера поведения шамана во время камлания проявляется только в двух случаях: когда он выступает в образе духов-помощников и когда по ходу обряда он якобы пребывает в мире мертвых. Как только шаман «покидает» пределы того мира и «вступает» в мир живых, странности в его поведении исчезают. Шаман как бы перенимает поведение обитателей загробного мира, кажущееся присутствующим странным и нелепым.

Таким образом, в представлениях далеких предков тюрко-монгольских народов мир мертвых выступал весьма своеобразно и был в корне непохожим на мир живых. Именно качественное различие этих миров обусловило в сознании людей представление о необычном внешнем облике и поведении обитателей мира мёртвых.

Все это вместе взятое вызывает аналогии с изображением героя и его поступков в сказках-небылицах. По ходу рассмотрения представлений

³⁶ А. Н. Липский, К вопросу об использовании этнографии для интерпретации археологических материалов, «Сов. этнография», 1966, № 1, стр. 113.

³⁷ «Суайт тазша», стр. 63.

³⁸ «Пастух, солгавший сто раз подряд», стр. 93.

³⁹ И. А. Худяков, Указ. раб., стр. 328, 346.

⁴⁰ «Небылицы», стр. 249.

⁴¹ А. Ф. Анисимов, Этапы развития первобытной религии, М.—Л., 1967, стр. 128.

о мире мертвых мы старались указать на такие соответствия. Это не единичные, разрозненные факты; они предстают в сказках-небылицах в определенной системе, соответствующей представлениям предков тюрко-монгольских народов о мире мертвых. Значит ли это, что подобные сказки генетически связаны с рассказами древних о потустороннем мире и его обитателях? По-видимому, дело обстоит именно так.

Особенно интересны туркменские варианты сказок-небылиц⁴². В них небылицам предшествует повествование о том, как герой сказки попадает к колдуну (или дэву). Падишах объясняет, что выдаст дочь только за того, кто выучится у дэва магическому искусству. Отец героя отводит мальчика к дэву. Чудовище запирает его на сорок дней в сундук и оставляет без пищи и воды. За это время мальчик каким-то образом перенимает магическое искусство оборотничества: теперь он может превращаться в различных животных и птиц. Однако падишах и после этого не соглашается выдать за героя свою дочь. Он ставит другое условие: юноша должен рассказать сорок небылиц, и герой получает руку девушки лишь после того, как выдумывает рассказ о своих невероятных приключениях, невозможных с точки зрения здравого смысла.

Такое построение сказочного повествования не случайно, как не случайно и то, что цель обучения магическому искусству и умению сочинять небылицы — женитьба героя. Весьма примечательно то обстоятельство, что во всех указанных выше вариантах сказки у всех тюрко-монгольских народов героем выступает не взрослый человек, а мальчик или юноша. Тут, видимо, отражен древний обряд инициаций, когда подростка подвергали обряду посвящения во взрослые.

Инициация рассматривалась как социальное перерождение мужчины. Неофит, измученный физическими истязаниями, голодом и всей обстановкой обряда, подавляюще действовавшей на его психику, впадал в состояние гипнотического транса, возвращение из которого воспринималось им и окружающими как воскресение после временной смерти. Душа посвящаемого в представлении древних совершала путешествие в страну предков, т. е. в потусторонний мир, и возвращалась в тело уже в новом качестве⁴³. Лишь после прохождения обряда инициации юноша получал право на брак, и женитьба посвященного была свидетельством его духовного и физического перерождения⁴⁴. Инициации включали в себя и своеобразный экзамен на знание мифологии, обрядов, тайного языка мифов, а также на владение трудовыми навыками.

Сказка-небылица отразила древнее воспоминание об обряде инициации, об испытаниях, которым подвергался юноша, и странном, необычном и несуразном внешнем облике и поведении обитателей мира мертвых, с которыми его душа встречалась во время своего путешествия в потусторонний мир. По всей видимости, в основе подобных сказок лежат рассказы посвящаемых о «путешествии их душ в нижний мир». Недаром повествование обычно ведется здесь от первого лица, т. е. от лица героя сказки, а не от третьего, как в других разновидностях сказочного жанра. Герой обычно молодой человек — мальчик или юноша. Рассказывание небылиц всегда носит характер испытания. Каждая сказка-небылица предваряется прологом, в котором говорится, что это испытание, причем испытание жестокое; не выдержавший его расплачивается головой. Примечательно и то, что в подавляющем большинстве случаев прямо указывается, что испытанием хотят установить, готов ли юноша к браку. Приведем несколько типичных примеров: «У этого злого хана была младшая черноглазая дочь... Он решил отдать свою

⁴² См. сноску 15.

⁴³ А. Ф. Анисимов, Указ. раб., стр. 56—63; Ю. И. Семенов, Как возникло человечество, М., 1966, стр. 303.

⁴⁴ См., например, В. Р. Кабо, Первобытная община охотников и собирателей, «Проблемы истории докапиталистических обществ», кн. 1, М., 1968, стр. 234.

младшую черноглазую дочь замуж за того, кто сумеет сразу рассказать 72 небылицы и убедить всех. Тому, кто не сумеет их рассказать, хан снесет его черную голову»⁴⁵; «В давние времена один хан объявил: „Если кто придет, расскажет мне сорок небылиц, пусть женится на моей дочери и станет моим вазиром. Если же в сказанном будет хоть слово правды,—голову срублю“»⁴⁶. Наконец, человек, подвергающий испытанию героя сказки, всегда стар. Обрядом инициации также руководили люди старшего поколения.

Тюрко-монгольские варианты и версии сказки донесли до нас смягченную форму обрядовых испытаний. Рассказы об обряде инициации постепенно теряли свою идеологическую основу и все более переходили в область художественного творчества. Содержание их эволюционировало из утилитарно-производственной плоскости в плоскость эстетическую; необычность поведения и внешнего вида персонажей стала восприниматься как результат нарочитого художественного приема, а это в свою очередь обусловило широкое вхождение в ткань повествования новых деталей.

⁴⁵ «Семьдесят две небылицы», стр. 3.

⁴⁶ «Суайт тазша», стр. 60.

В. Е. Гусев

**ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В «СЕРБСКИХ ЛЕТОПИСЯХ» (1825—1830)**

(К 150-летию Матицы Сербской и ее «Летописа»)

В 1825 г. появился первый номер «Летописа» — старейшего из ныне существующих журналов на сербскохорватском языке¹. Вскоре его приняла под свою эгиду основанная в 1826 г. просветительно-издательская организация Матица Сербская².

Первый период в истории «Летописа» связан с именем выдающегося деятеля сербской культуры начала XIX в. — учителя красноречия Новосадской гимназии Георгия Магарашевича, ставшего редактором нового журнала. За сравнительно небольшой срок — всего пять лет — Г. Магарашевич и его ближайший сотрудник, словацкий этнограф П. Шафарик, который в те годы также был учителем Новосадской гимназии, придали журналу литературный и научно-популярный характер с широкой славистической историко-культурной и патриотической программой. В предисловии, написанном Г. Магарашевичем в мае 1824 г., было сказано: «Все что относится к Славянскому народу вообще — от Адриатического до Ледовитого, от Балтийского до Черного морей, и особенно — что касается нас, сербов<...> — все это есть предмет «Сербской летописи»; а ее характер пусть будет таков: никого не обидеть, но всем как можно больше пользы принести»³.

Со смертью Г. Магарашевича (1830) и с отъездом из Нови-Сада П. Шафарика (1833) «Летопис» в значительной мере утратил свой универсальный культурологический и славистический облик. Это побуждает провести специальный анализ фольклорно-этнографических материалов журнала за первые годы его существования. Рассматривая «Летопис» лишь в плане историко-литературном или в связи с реформой литературного сербскохорватского языка, как это обычно делалось, невозможно объективно оценить роль журнала в общем процессе становления национальной сербской культуры и в истории славяноведения в целом. Наконец, представляет интерес и то обстоятельство, что, по свидетельству современного историографа Матицы Сербской Ж. Милисавца, «„Летопис“ при Магарашевиче проникнут любовью к русским как никогда после того»⁴.

¹ Издание было предпринято по инициативе Г. Магарашевича, П. Шафарика и Л. Мушицкого. В 1825—1830 (ч. 1—20) за журналом удерживалось двойное название: «Сербске летописи» как общее, и для каждой книги — «Сербска летопись» (ч. 1, 2) либо «Сербский летопис» (ч. 3), либо чаще — «Летопис».

² См.: Ж. Милисавец, Матица Српска, Београд, 1965, стр. 27—35.

³ «Сербске летописи за год 1825». Прва частица. У Будиму, 1824, стр. V (далее — СЛ).

⁴ Ж. Милисавец, Указ. раб., стр. 43.

Прежде всего необходимо рассмотреть взаимоотношения между В. Караджичем и «Летописом», которые могут быть объективно освещены лишь с учетом всех материалов журнала, а не только его позиции в спорах о реформе правописания⁵. Недостаточно ограничиться выяснением тех обстоятельств, которые разделяли Караджича и Магарашевича. Несправедливо было бы рассматривать «Летопис» и «Даницу» Караджича лишь как соперничающие издания.

Караджич был, безусловно, центральной фигурой в культурной жизни Сербии первой половины XIX в., а отношение к его деятельности — пробным камнем для оценки его современников. Смысл и значение его деятельности нельзя свести лишь к языковой реформе. Поле его деятельности оказалось настолько велико, что у него должны были появиться единомышленники и в других областях — прежде всего в области этнографии и фольклора. Именно этому способствовал «Летопис» Матицы Сербской в первые годы его существования.

Выход в свет первой части «Сербских летописей» был задержан митрополитом Ст. Стратимировичем, ярым противником Караджича. Непосредственным поводом для такого действия Стратимировича послужило то обстоятельство, что в календаре на 1825 г., открывающем новое издание, некоторые праздники давались не по церковному канону, а на народном сербском языке и в «вуковской» орфографии. Сам Магарашевич жаловался Караджичу в письме от 5 декабря 1824 г., что неприятности возникли вследствие того, что «календарь напечатан *по-сербски*»⁶. На экземпляре первой части, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Шедрина в Ленинграде, имеются рукописные заметки и примечания на чешском языке, принадлежащие П. Шафарiku. На обороте первого листа «Календаря» он сделал следующее примечание об этом конфликте:

«На этот Календарь его превосходительство архиепископ и митрополит Карловацкий Стеф. Стратимирович <...> через местный (Новосадский.— В. Г.) магистрат *sequestum* наложил за то, что имена святых посербены <...> Однако <...> Будимская рада <...> *sequestum* отменила и разрешила продавать Летопис с Календарем. Бедняга-издатель <...> впал в немилость у архиепископа»⁷.

Именно это столкновение и зависимое положение Г. Магарашевича заставили его отказаться от «вуковской» орфографии и даже перепечатать в «Летописе» отрицательный отзыв об азбуке Караджича, появившийся в русском консервативном журнале «Сын Отечества»⁸.

Вместе с тем на страницах «Летописа» высоко оценивалась деятельность Караджича. В третьей части за 1826 г. опубликована (в «вуковской» орфографии!) пространная «Ода Вуку Стефановичу Караджичу», написанная молодым поэтом С. Стефановичем, где, в частности, была высказана уверенность, что Караджича «ждет награда вечно строгого

⁵ обстоятельную характеристику позиции журнала и в связи с этим взаимоотношений между В. Караджичем и Г. Магарашевичем дал Ж. Младенович. См. Ж. Младенович, Вук Караџић и Матица Српска, Београд, 1965.

⁶ «Вукова преписка», кн. II, Београд, 1908, стр. 504.

⁷ СЛ, 1825, ч. 1, экз. ГПБ им. Салтыкова-Шедрина, шифр С.45.5.1/1, заглавный лист «Мсяцеслов за лѣто 1825» (без нумерации). Заметки П. Шафарика в этой части, а также во второй части СЛ (шифр — С. 45. 5. 1/1) представляют большой интерес и сами по себе, и потому, что Шафарик раскрывает авторство большинства опубликованных здесь статей, а также художественных произведений. В дальнейшем мы будем пользоваться указаниями Шафарика, не ссылаясь на него.

⁸ СЛ, 1825, ч. 2, стр. 132. Ср.: Г. <Н. И. Греч>, Известие о новой книге, «Сын Отечества», 1824, № 36, стр. 241—249. Сам Караджич опубликовал в «Данице» резкий «Отговор русскому рецензенту» и противопоставил точке зрения консервативного журнала другой, благожелательный отзыв В. И. Кеппена — редактора «Библиографических листов». (См. «Даница. Забавник за годину 1826», стр. 95—106).

судьи — потомства» и выражено сочувствие молодежи к борьбе реформатора:

...Перед Молодежью цель твоя стоит,
Солнечным светом преследуемой Истины
Озарена, и она (молодежь.— В. Г.) устремится за тобою
мужественно⁹.

Когда Г. Магарашевич узнал, что Российская Академия наук определила В. Караджичу пенсию, он сразу же высказал не только свою радость по этому поводу, но и усмотрел в этом общую победу над противниками Караджича: «Мы здесь, ваши друзья, сердечно этому радуемся, ибо тем самым как бы некую победу одерживаем над всеми теми, кто <...> будучи злобно одушевленным, отмщения ищет»¹⁰, — писал он. Более того, Магарашевич сам вызвался опубликовать это известие¹¹ и исполнил свое намерение. На страницах «Летописа» появляется подробное сочувственное сообщение о назначении Караджичу русской пенсии, а заодно и о выходе в свет перевода сербских народных песен на английском языке с посвящением перевода Караджичу¹².

Магарашевич радовался и возобновлению Караджичем издания «Даницы», воскликнув при этом совершенно неожиданно: «Слава богу, что прекратилась Будимская монополия»¹³. В «милрой Данице» Магарашевич видел не соперницу, а «сестру» своего журнала и символически выражал пожелание: «<...> Пусть ладят, как две сестрицы: «Даница, пусть светит, а «Летопис», — не блуждает во мраке!»¹⁴. Искренность этих заявлений Магарашевича подтверждается тем, что на страницах «Летописа» печатаются извещения о выходе «Даницы» и подробно излагается содержание ее выпусков.

«Летопис» неоднократно публикует отзывы о фольклорных изданиях Караджича¹⁵. Так, в той же заметке, где цитируется неодобрительное суждение «Сына отечества» о «вуковой» орфографии, приводится и библиографическая сводка положительных рецензий в немецкой печати на песенные сборники Караджича, а также говорится о признании заслуг Караджича как собирателя и самим русским рецензентом¹⁶. Систематически появляются в «Летописе» сообщения о переводах на иностранные языки песен, собранных Караджичем¹⁷. Издатель «Летописа» заявлял по этому поводу: «Слава сербским народным песням! Мы об этом предмете в нашей «Летописи» во многих местах говорили, нашего читателя часто извещали о том, с какой любовью народы, не только родственные нам по языку, но и другие <...>, наши песни принимают, с каким старанием их хвалят, с каким трудом переводят и к своей пользе их обратить желают»¹⁸.

Разумеется, интерес к фольклору и этнографии проявлялся в «Летописе» не только в непосредственной связи с Караджичем и его изданиями. Гораздо существеннее то, что программа журнала в этом отношении объективно соответствовала тому, что делал Караджич как бытописатель сербского народа и собиратель произведений народного творчества. И в этом немалая заслуга П. Шафарика, который во многом был

⁹ СЛ, 1826, ч. 3, стр. 80; обстоятельства появления «Оды» см.: Ж. Младенович, Указ. раб., стр. 34—35.

¹⁰ «Вукова преписка», кн. II, стр. 509, (письмо от 25.XI.1825).

¹¹ Там же, стр. 510.

¹² СЛ, 1827, ч. 2, раздел «Смесице», стр. 167, 168.

¹³ «Вукова преписка», кн. II, стр. 510.

¹⁴ Там же, стр. 512 (письмо от 12.X.1827).

¹⁵ Большую часть библиографических сведений сообщает «Летопису» сам Караджич, сотрудничавший там анонимно. Некоторые заметки пишет Шафарик. См.: Ж. Младенович, Указ. раб., стр. 27, 30, 31.

¹⁶ СЛ, 1825, ч. 2, раздел «Смесице», стр. 130—133.

¹⁷ См., например, обзор «Народные сербские песни», СЛ, 1827, ч. 1, стр. 86—89.

¹⁸ СЛ, 1829, ч. 1, раздел «Смесице», стр. 140.

единомышленником Караджича. Шафарик вел с Караджичем оживленную и содержательную переписку, не прекратившуюся даже после разрыва последнего с Магарашевичем¹⁹.

Сотрудничество Шафарика в «Летописе» совпало с его углубленными и плодотворными занятиями славистикой и, в частности, с исследованиями в области культуры сербского народа²⁰. На страницах «Летописа» публиковались статьи Шафарика, которые вошли затем во Введение к изданной на немецком языке его «Истории славянского языка и литературы на всех наречиях» и которые следует рассматривать также в связи с позднее опубликованными в Чехии его этнографическими трудами²¹. Именно Шафарик, который стремился придать «Летопису» характер научного издания, принадлежит и наиболее серьезные статьи в области славянской этнографии. Уже в первых книжках «Летописа» появляется его обстоятельный обзор «Поколения славянского народа в третьем десятилетии XIX века», содержащий сведения об этнических границах расселения славян и их численности в начале прошлого века и представляющий интерес как один из первых опытов классификации славянских народов. (Здесь Шафарик, правда, еще не вполне самостоятелен и вслед за И. Добровским делит славян на две группы — юго-восточную и северо-западную)²².

Особенно интересна статья Шафарика «Характер славянского народа вообще», представляющая собой своеобразную попытку выявить типологические черты в национальном характере разных народов. Цель статьи — опровергнуть пристрастные, односторонние и враждебные отзывы о славянах и определить характерные, прежде всего положительные черты их этнического облика (трудолюбие, жизнерадостность, любовь к своему языку, дружелюбие и стремление к согласию с другими народами)²³.

В связи с последним свойством славян Шафарик замечает: «Славянин — подлинный гражданин мира (в благородном смысле этого слова), поэтому можно легко объяснить, почему славянин дружит с другими народами и с доверием и дружелюбно с ними живет»²⁴.

Здесь же Шафарик отмечает любовь славян к пению: «Где славянка, тут и песня <...> Каков дух славянских народных песен — можно видеть из тех, которые до сих пор собраны и изданы. Придерживаясь истины, можем сказать, что ни у одного народа Европы естественная поэзия не распространена в столь высокой степени и с такой чистотой, нежностью и теплотой чувства, как у славян»²⁵.

¹⁹ «Вукова преписка», кн. IV, Београд, 1909, стр. 618—705.

²⁰ См. «K. Jireček. Šafařík mezi Jihoslovany», Praha, 1895; С. Н. Томић, Дњижевни и научни рад П. И. Шафарика, «Летопис Матице српске», кн. 197, 1899, стр. 8—30.

²¹ P. I. Schaffarik, Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, Pest, 1826; его же, Slovanské starožitnosti, Praha, 1837, его же, Slovanský zeměvid, Praha, 1842; его же, Slovanský národopis, Praha, 1842.

²² СЛ, 1825, ч. 1, стр. 51—61. Статья в журнале опубликована без подписи. На цитируемом экземпляре рукой Шафарика поставлены его инициалы P.J.Š. На стр. 61 к статистической таблице им сделано примечание: «На эти цифры не полагаться; и в набор вкратились ошибки».

²³ СЛ, 1825, ч. 1, стр. 86.

²⁴ Там же, стр. 94. Этническая характеристика славян, содержащаяся в цитируемой статье, была значительно расширена в другой статье — «Славяне», написанной по материалам Л. Суворецкого и П. Шафарика (СЛ, 1829, ч. 1—4). Из других этнографических материалов о славянах отметим статью Г. Магарашевича «Черногорцы» (см. СЛ, 1825, ч. 2, стр. 18), «Вероисповедания старых славян» (по Карамзину, СЛ, 1826, ч. 3), «О славянской географии» (СЛ, 1827, ч. 1), «Славянские руны» (СЛ, 1830, ч. 1), «Краткое географическо-статистическое описание России» (СЛ, 1829, ч. 2), а также перепечатку статьи «Записки о путешествии по славянским землям» из «Библиографических листов», № 38 и 39 за 1825 г. (СЛ, 1828, ч. 1, 2) и пересказ статьи о польской мифологии из «Вестника Европы» за февраль 1826 г. (СЛ, 1829, ч. 2).

²⁵ СЛ, 1825, ч. 1, стр. 91.

О том, что это не частное мнение Шафарика, а определенная платформа журнала, свидетельствует то обстоятельство, что в нем одна за другой появляются статьи о народной поэзии таких разных авторов, как поэт-классицист М. Светич (псевдоним И. Хаджича) и скромный провинциальный учитель А. Драгославлевич. В них высокая оценка славянских песен переносится на сербские.

И. Хаджич-Светич опубликовал перевод из «Энеиды» Виргилия с характерным подзаголовком: «По образцу сербских юнацких песен». В послесловии к своему переводу автор замечает: «И со стихами этого славного поэта (Виргилия.— В. Г.) просвещенные народы сравнивают наши народные песни». Автор утверждает, что если бы сербские поэты писали в согласии с «естественным» духом, заключенным в народных песнях, они достигли бы большего успеха. Симптоматично, что И. Хаджич-Светич ссылается на статью Н. Цертелева «О народной поэзии», опубликованную в «Соревнователе просвещения и благотворения», и цитирует место, где прогрессивный русский критик выражал сожаление о том, что русские писатели XVIII в. «не обращали внимания на гармонию русских песен». И. Хаджич-Светич призывает прислушаться к самокритичным суждениям русского писателя и подкрепляет свой призыв к сербским поэтам следующим утверждением: «народное песнетворчество разлито во всем народе как живой дух и ныне господствует, растет и крепко держится»²⁶. Статья эта писалась еще в то время, когда И. Хаджич не отошел от Караджича.

Особенно близка по духу и форме звуков фольклоризму статья приверженца реформы Караджича — А. Драгославлевича «Голос и ценность народных сербских песен». Автор восторженно пишет о пении «простого серба» и о силе воздействия «естественной» поэзии: «Все известные мне ученые поэтические сербские сочинения не в состоянии в человеке (особенно простом и неученом) вызвать то, что делает одна народная песня. Все наши поэты сербские не могут так дух и сердце человеческое растрогать, а один слепец песнями и гуслими целую толпу соберет около себя и в плач обратит». При этом автор ссылается на причитание молодой женщины и пение слепца-гуслира, которые он сам слышал. Драгославлевич отмечает большое значение песни в жизни, труде и быте народа; подчеркивает ее нравственную и познавательную пользу; обращает внимание на богатство и красоту народного языка²⁷.

Караджич в письме Драгославлевичу с удовлетворением писал об этой статье: «С большим удовольствием читал в „Летописе“ ваш „Голос и ценность наших народных песен“». Сообщая, что некий «одаджия»²⁸ очень сердится на Драгославлевича и угрожает ему пером, Караджич ободряет его народной поговоркой: «Кто боится воробья, пусть не сеет проса»²⁹. Драгославлевич отвечал Караджичу в связи с намеком на «одаджию»: «Кто разгневаается, тот сам обнаружит, что он действительно слабый „запевала“» (буквально — «коловоджа»; тот кто ведет сербский танец — коло.— В. Г.)³⁰.

Общие оценки и характеристики сербских песен дополняются и конкретизируются на страницах «Летописа» в более специальных статьях, освещающих их художественное своеобразие и эстетическую ценность. Такова, например, работа П. Берича «Несколько слов о внешней форме

²⁶ СЛ, 1826, ч. 1, стр. 69—72.

²⁷ СЛ, 1826, ч. 4, стр. 100.

²⁸ «Одаджия» — здесь одописец, обобщенный образ поэта-классициста, против которого была направлена статья Драгославлевича (слово в этом значении употреблено им самим).

²⁹ «Вукова преписка», кн. V, стр. 238 (письмо от 16/28.XI. 1826).

³⁰ Там же, стр. 240 (письмо от 30.XI.1826). Ж. Младенович, на наш взгляд, необдуманно истолковывает отношение Караджича к публикации статьи. Ср.: Ж. Младенович, Указ. раб., стр. 44, 45.

(букв.— крое) народных сербских песен», где автор пытается охарактеризовать народно-песенное стихосложение, правда, не всегда точно, и отчасти противопоставляя свое понимание ритмики народных песен той характеристике, какую дал ей Караджич в предисловии к первой книге своих «Сербских народных песен»³¹.

Интересна и принципиально важна статья последователя Караджича — Е. Коларовича «Сербская народная музыка». Автор не ограничивается восхищением красотой сербских народных песен и, преодолевая обычный для фольклористики начала XIX в. односторонне филологический подход к фольклору, обращает внимание на то, что они «живут и сохраняются в устах народа только в пении, а не в декламации и речитации». Он констатирует, что стих народной песни неразрывно связан с напевом и потому следует записывать не только ее текст, но и музыку³². Сам автор в приложении к статье дает образец нотной записи десяти народных песен, сделанной 1 января 1828 г. в Карловце.

«Летопис» предоставлял свои страницы для публикации сербских народных песен³³, а также сообщал не только об изданиях Караджича, но и о других собирателях и их записях. Так, в «Летописе» впервые можно было прочитать о собирательской работе писателя С. Милутиновича, который сообщил в редакцию, что записывает «народные песни в Черногории» и «столько их уже имеет, что они составили бы два больших печатных тома»³⁴. В журнале публикуется следующая интересная характеристика черногорских песен, данная Милутиновичем: «Черногорские песни имеют меньше поэзии, <нежели> реальности, истории; и это для сербства столько же или более полезно»³⁵. Издатель «Летописа» радуется обещанию Милутиновича дать описание путешествия по Черногории, надеясь при этом получить разъяснение многим сомнительным сведениям о черногорцах, содержащимся в записках французского офицера В. де Соммера.

«Летопис» откликнулся также на сборник славянских песен, изданный Ф. Л. Челаковским в переводе на чешский язык³⁶, и с одобрением сопоставил перевод сербских песен с оригиналом (заметка, очевидно, принадлежит перу Шафарика)³⁷.

Однако представления о подлинном фольклоре у издателей «Летописа» были еще неясными. Об этом свидетельствует тот факт, что журнал не только не заметил мистификации в известном сборнике П. Мери-ме «La Gusla», но и отстаивал подлинность якобы записанных французским романтиком сербских народных песен и выражал лишь сожаление о том, что они опубликованы в переводе, а не в подлиннике!³⁸.

Обзор фольклорно-этнографических материалов «Сербских летописей» за 1825—1830 гг. свидетельствует о том, что журнал Матицы Сербской в первые годы его существования занимал в этой области прогрессивную позицию, объективно совпадавшую с программой Вука Караджича, хотя и уступал последнему в понимании сербского фольклора и

³¹ СЛ, 1829, ч. 2, стр. 98—102. Сам Караджич позднее критически отозвался об этой статье в предисловии к книге Л. Милованова «Опыт наставления к србској сличноречно-сти и сломерју», 1833.

³² СЛ, 1828, ч. 4, стр. 114, 115. До этого, как известно, впервые образец нотной записи сербских песен дал сам Караджич во втором своем песенном сборнике «Народна србска пѣснарица», Вена, 1815.

³³ См. СЛ, 1826, ч. 4, стр. 102—109; 1828, ч. 4, стр. 19—26.

³⁴ СЛ, 1828, ч. 4, стр. 131. Ср. С. Милутиновић, Пѣванія Черногорска и Херцеговачка, Будим, 1833.

³⁵ Там же, (пропущенное слово восстановлено по смыслу.— В. Г.)

³⁶ «Slovanské národní písně», Praha, I—III, 1822—1827.

³⁷ СЛ, 1829, ч. 3, стр. 175.

³⁸ См. извещение о выходе в свет сборника: «Песни действительно народны, и совсем неплохие <...>» (СЛ, ч. 1, 1828, стр. 154), реферат статьи «Иллирическая поэзия», «The Foreign Quarterly Review» (СЛ, 1830, ч. 1, стр. 132—134) и полемику с немецким рецензентом (СЛ, 1828, ч. 2, стр. 136—138).

народности сербской культуры, что и определило большее значение Караджича в истории фольклористики³⁹. Вместе с тем, хотя «Сербские летописи» и не опубликовали ни одного фольклорно-этнографического очерка о собственно сербской народной культуре, равного по полноте «Географо-статистическому описанию Сербии» Вука Караджича, напечатанному им в «Данице»⁴⁰, журнал Матицы Сербской чаще и больше, чем «Даница» 20-х годов XIX в., печатал фольклорно-этнографические материалы и, в соответствии с программой первых лет, существенно дополнял деятельность Караджича более широким охватом славянской этнографии в целом.

В этом смысле «Сербские летописи» сыграли важную роль в истории славяноведения и заняли заметное место в ряду фольклорно-этнографических изданий первой трети XIX в.

³⁹ См. доклады о фольклористической деятельности Вука Караджича на Международном симпозиуме в Белграде («Анали филолошког факултета», «Вуков зборник», I, Београд, 1964) и на XI Конгрессе фольклористов Югославии («Rad XI Kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Novom Vinodolskom. 1964», Zagreb, 1966, s. 165—306). См. также: В. Е. Гусев, Вук Караджич и русская фольклористика, «Русская литература», 1964, № 2, стр. 149—165.

⁴⁰ [В. Караджич], Географическо-статистическо описаније Србије, «Даница», 1827, стр. 25—120. Очерк был перепечатан в русском переводе под названием «Описание сербского народа» в журнале «Вестник Европы», 1827, № 14—18.



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

И. С. Лисевич

ДРЕВНИЕ МИФЫ ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

Выход человечества в космос произвел переворот в умах. Ныне уже не кажется совершенно невероятной идея множественности обитаемых миров, за которую некогда отправили на костер еретика Джордано Бруно. Близка к осуществлению мысль о создании человеческих колоний в космосе: проект, предложенный американским ученым О'Нилом, обойдется по предварительным подсчетам не дороже уже осуществленного проекта «Аполлон»¹. Организована международная (в основном — советско-американская) рабочая группа по проблеме поиска внеземных цивилизаций². Обсерватория в Аресибо начала передавать во Вселенную сигналы, обращенные к предполагаемым «братьям по разуму»...³.

Идея множественности обитаемых миров, доведенная до логического завершения, привела к появлению гипотезы о космическом палеоконтакте, предполагающей, что встреча с внеземными цивилизациями, возможно, уже состоялась в прошлом. Действительно: если кроме нас во Вселенной могут быть другие разумные существа, а Вселенная бесконечна во времени то почему бы им не сделать то, что мы лишь собираемся совершить, т. е. посетить иные миры, в том числе и нашу Землю? При всей кажущейся парадоксальности, в этом, по-видимому, нет ничего невозможного. Данной гипотезе посвящена теперь довольно обширная литература; за последние пятнадцать лет появилось более ста пятидесяти публикаций только на русском языке. К сожалению, сенсационность, которая с самого начала сопровождала тему «космического палеоконтакта», привлекла к ней дилетантов — людей, обладающих большим энтузиазмом, но очень не систематическими знаниями. Суждения, пока гипотетические, они рассматривали как почти достоверные, что привело к весьма плачевным результатам: сама тема приобрела несомненную одиозность в глазах ученых, да и читающей публики вообще.

Об этом стоит лишь пожалеть, однако, вряд ли есть смысл ставить знак равенства между идеей и ее претворением. Проблема слишком значительна, чтобы целиком полагаться даже на современный уровень знаний. Стоит, наверное, вспомнить слова Гамлета о том, что «и в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости»⁴ — действительность постоянно убеждает нас в этом. Нужно терпеливо собирать факты — тем более это относится к гипотезе о космических палеоконтактах,

¹ «Physics today», 1974, № 9.

² «Проблема СЕТИ (связь с внеземными цивилизациями)», М., 1975, стр. 321.

³ «Призыв летит по Вселенной», «Наука и жизнь», 1975, № 7, стр. 58—59.

⁴ У. Шекспир, Полное собрание сочинений, т. 6, М., 1960, стр. 40.

где над фактом подчас довлеют эмоции. К каким результатам мы придем — покажет будущее, однако, можно с уверенностью сказать, что они окажутся небезразличны для науки, ибо в любом случае сфера познания будет расширена.

Сторонники гипотезы о палеоконтактах не раз обращались к памятникам древней культуры Востока, которые донесли до нас отголоски порой трудно объяснимых событий отдаленного прошлого. У нас и за рубежом уже немало писалось, например, об оружии «кастравидья», упоминаемом в древнеиндийском эпосе «Махабхарата», о странных пришельцах, стоявших у истоков цивилизации Шумера, о полетах в небо, описанных в апокрифической «Книге Еноха», и т. д.

Не меньший интерес представляют и сообщения древнекитайских источников⁵ — памятников цивилизации, отличавшейся особым почитанием всего традиционного, а потому бережно передававшей из поколения в поколение письменные и устные свидетельства минувших дней.

Если начать с того, с чего начинается традиция, то мы узнаем об удивительно мудрых и гуманных существах, «сынах неба» (титолом императоров это стало значительно позже), которые немало сделали доброго для еще диких тогда обитателей долины реки Хуанхэ. Известно, что рождение героев в мифах и эпосе часто предвдается различными чудесными знаменьями, однако появлению «сынов неба» на Земле с завидным единообразием предшествовали одни и те же небесные явления.

Так, например, перед рождением первого из них, Хуан-ди, «сияние великой молнии опоясало звезду Цзи в созвездии Ковша»⁶ (т. е. Большой Медведицы). Перед тем как появиться его преемнику, Шао-хао, «звезда, словно радуга, пролетела вниз» (или: «огромная звезда, словно ковш, опустилась на Цветущий остров»⁷). Перед появлением следующего, Чжуань Сюя, «ослепительно сияющая звезда пересекла лунный (диск), словно радуга»⁸. Так сообщают сохранившиеся отрывки из исчезнувшей древней книги «Записи о поколениях владык и царей».

Китайские исторические тексты хорошо дополняет фрагмент сакрального текста древней, еще до-буддийской религии Тибета («бон»), который говорит о том, как появился на земле могучий «друг доброты и добродетели»:

...яйцо, созданное
Магической силой богов Са и Бал,
Вышло под действием собственной тяжести
Из божественного лона пустого неба.
Скорлупа стала защитным панцирем,
Оболочка защищала, как броня,
Белое стало источником силы для героев.
Внутренняя оболочка стала
Цитаделью для тех, кто жил в ней...
Из самого центра яйца вышел человек,
Обладатель магической силы...⁹

⁵ Это в основном памятники II в. до н. э. — VI в. н. э. и более ранние. От многих из них уцелели лишь отдельные фрагменты, включенные в средневековые энциклопедии и компендиумы. Там же можно обнаружить отрывки сохранившихся ныне литературных и исторических памятников, по тем или иным причинам отсутствующие в современных текстах. Все они восходят к еще более древней устной и письменной традиции. Однако источниковедческие вопросы требуют специального рассмотрения, мы здесь на них не останавливаемся.

⁶ Хуанфу Ми, Диван шици цзицунь («Собрание сохранившихся фрагментов книги „Записи о поколениях владык и царей“»), Пекин, 1964, стр. 18, 22.

⁷ Хуанфу Ми, Указ. раб., стр. 26.

⁸ Там же, стр. 28.

⁹ Е. И. Кычанов, Л. С. Савицкий, Люди и боги страны снегов, М., 1975, стр. 170.

Из всех «сынов неба» наибольший след в китайской мифологии и литературной традиции оставил Хуан-ди¹⁰, появившийся в бассейне реки Хуанхэ в XXVI веке до н. э.¹¹

В сказаниях о Хуан-ди много чудесного. Сам Хуан-ди наделен магическими способностями, вокруг него — покорные ему монстры и чудесные существа, он совершает фантастические путешествия: к солнцу, к вершинам Куньлуня...¹² Но среди этого буйства вымысла нетрудно заметить то, что отличает Хуан-ди и от божества, и от пророка и даже от культурного героя. Он не переустраивает мир и тем более его не творит, не обращает людей на путь истинный, не требует поклонения. В деятельности Хуан-ди и его помощников обращает на себя внимание удивительный рационализм, который легко просматривается сквозь все и всяческие напластования.

Конечно, Хуан-ди и его «вассалы» помогали людям. Они научили аборигенов множеству необходимых вещей: делать лодки и упряжь для волов, копать колодцы и изготавливать музыкальные инструменты, возводить оборонительные стены и лечиться иглоукалыванием. Но главным для них все же оставались собственные дела, которыми они занимались систематически, неуклонно, строго соблюдая разделение обязанностей. Целый ряд помощников Хуан-ди, например, целиком был занят астрономическими наблюдениями. Так, источники сообщают нам, что Си Хэ «определяла предзнаменования по солнцу, основываясь на длине его тени»¹³, Чан И «определял предзнаменования по луне нарождающейся и на исходе, следуя за ее четвертями и полнолуниями»¹⁴, Юй Оу «определял предзнаменования по изменению яркости звезд, по их движению и метеорам»¹⁵, Да НАО определял цикличность, легшую затем в основу китайского календаря¹⁶. Еще один был специально занят вычислениями¹⁷. Наконец Жун Чэн, сводя все их наблюдения воедино, составлял земной календарь¹⁸.

Если предположить, что прилежные астрономы были новичками на Земле, они, естественно, должны были обратить взор также на свое новое пристанище во Вселенной. И действительно, наряду с астрономическими наблюдениями, они начали создавать земные карты — «ту»¹⁹. «Рисованные образы разных предметов», — так поясняет слово «ту» первый комментатор книги «Корни поколений». «Имеются в виду рисованные образы земли и разных предметов (на ней), — добавляет другой, — [которые] позволяют пришельцам²⁰ с ними сверяться»²¹. Но самым удивительным во всей деятельности «сынов неба» все же был ясно прослеживаемый по текстам мифов некий технологический аспект, создание и использование сложных и непонятных нам аппаратов и приспособлений.

¹⁰ «Гу ши бянь» («Спорные вопросы древней истории»), т. 7, ч. 1, Шанхай, 1941, стр. 207 (далее «Гу ши бянь»).

¹¹ Будучи героем мифов, Хуан-ди одновременно является и исторической личностью, так как время жизни его датируется. Обычно последним годом его «власти» называли 2592 или 2598 гг. до н. э. Новейшие справочники дают несколько более позднюю дату: 2450 до н. э. См.: «Синьхуа цзыдянь» («Новый китайский иероглифический словарь»), Пекин, 1962, «Приложение», стр. 9. В общем, он — современник Гильгамеша (см. Э. Бикерман, Хронология древнего мира, М., 1975, стр. 179). У него есть также ряд черт, роднящих его с богами древнего Шумера, которых мы здесь не касаемся.

¹² Юань Кэ, Чжунго гудай шэньхуа («Мифы древнего Китая»), Шанхай, 1960.

¹³ «Шибэнь бачжун» («Восемь списков фрагментов книги „Корни поколений“»), Шанхай, 1957, список V, стр. 9.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же, стр. 10.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же, стр. 11.

¹⁹ Там же, стр. 12.

²⁰ «Лайчжэ» — букв. «тот, кто пришел» (или: «тот, кто придет»).

²¹ Там же, список III, стр. 3.

Известно, например, что Хуан-ди изготавливал какие-то огромные металлические зеркала. Об этом сообщается в «Жизнеописании Хуан-ди для посвященных» («Хуан-ди нэйчжуань»), которое, вероятно, основывалось на тайных легендах и преданиях. Хуан-ди «выплавил двенадцать великих зеркал и использовал их, следуя за луной», — сообщается в «Жизнеописании»²². Я намеренно сохранил неопределенность второй части фразы, так как «следуя за луной» можно толковать различно; пока же запомним, что использование зеркал как-то было связано с движением естественного спутника Земли. В «Описании удивительного» (VI в.) говорилось: «На Озере Зеркала в народе передают, что Хуан-ди отливал свои зеркала именно там. Ныне сохранился камень, которым их шлифовали. Ползучие травы на этом камне не растут»²³. Но интереснее всего очень живучая в Китае легенда об удивительном свойстве древних зеркал. «Когда на зеркало падали лучи солнца, — гласит она, — то все изображения и знаки его обратной стороны отчетливо выступали на тени, отбрасываемой зеркалом»²⁴. Иначе говоря, оно просвечивало насквозь. Учитывая, что зеркало было металлическим (из «божественного металла»), возможны только два предположения: либо этот металл обладал совершенно особой, недоступной для современной техники структурой, делавшей его практически прозрачным даже для видимого излучения, либо поверхность зеркал не была сплошной...

Многочисленные источники в один голос утверждают, что Хуан-ди изготавливал и применял некие приспособления, именуемые «чудесными треножниками». Для этого он использовал металл (медь или внешне похожий на нее элемент), добытый на горе Шоушань²⁵. Под «треножником» не разводили огонь и не наливали в него воду²⁶, как в те, что предназначены для приготовления пищи. Назначение его было иным — он являлся как бы «подобием Великого единого»²⁷, т. е. Дао, скрытого двигателя Вселенной. «Высота его была одна сажень и три шага»²⁸, т. е. около 3—4 м, однако объем был сравнительно невелик (не более 100 литров)²⁹, так что большая часть этой высоты приходилась на три его опоры. Заглянуть внутрь столь высоко поднятого вместилища зритель, разумеется, не мог, но источники утверждают, что «сотни духов, чудовищ и животных наполняли его внутри»³⁰, т. е. можно предположить, что из работающего треножника слышался какой-то шум, доносились голоса. Прямо указывается, что он «клокотал»³¹. Появлялись ли на нем изображения, трудно сказать, однако известно, что треножник «изображал дракона, летящего в облаках»³², а вскоре этот же дракон явился воочию и забрал Хуан-ди и всех его спутников³³. В пользу того, что «треножник»

²² «Чжунвэнь да цыдянь» («Большой энциклопедический словарь китайского языка»), т. XXXII, Тайбэй, 1968, стр. 334 (далее: «Чжунвэнь да цыдянь»).

²³ «Лэй шо» («Повествования разного рода») Пекин, 1956, цзюань (свиток) 8, стр. 56.

²⁴ «Волшебное зеркало. Дотанские новеллы», М., 1963, стр. 118.

²⁵ Ван Чун, Луньхэн цзицзе («Критические рассуждения с собранием комментариев»), Шанхай, 1957, стр. 145.

²⁶ «Гуан Хуан-ди бэнь син цзи» («Записи основных деяний Великого Хуан-ди»), в собр. «Даоцзан» («Вместилище Пути», даосский канон) раздел «Дун чжэнь бу» («Проникновение в Истину»), т. 137, б. м. и г., стр. 9 а (далее: ГХБСЦ).

²⁷ Цао Чжи, Хуан-ди сань цзян цзань («Славословие трем треножникам Хуан-ди»), в кн. «Ивэнь лэйцзюй» («Собрание разного рода искусств и изящной словесности» — энциклопедия VI в.), т. 3, Шанхай, 1959, цзюань 11, стр. 10 а.

²⁸ Юй Ли, Цзян пу («Перечень треножников»), в кн. «Юнлэ дадянь» («Великий словарь, составленный в годы Юнлэ», энциклопедия XV в.), т. 13, Пекин, 1960, цзюань 11956, стр. 6.

²⁹ Там же,

³⁰ Там же.

³¹ ГХБСЦ, стр. 9 а.

³² Юй Ли, Цзян пу, стр. 6.

³³ Ван Чун, Указ. раб., стр. 145.

мог использоваться для установления дальней связи, возможно говорит и другое: его расположение было выбрано с таким расчетом, чтобы обеспечить прямую видимость звезды Сяньюань³⁴, с которой Хуан-ди прибыл на Землю³⁵. В источниках указано также, что «этот треножник знал благоприятные и неблагоприятные признаки, знал (ныне) существующее и исчезнувшее»³⁶. Если бы мы задались целью перевести архаичный строй речи средневекового памятника на язык современной науки, то нам, вероятно, пришлось бы сказать, что «чудесный треножник» Хуан-ди обладал способностью накапливать информацию («знал прошлое и настоящее»), давать ей оценку и принимать решения. Известно также, что его можно было приводить в движение и останавливать (треножник «мог покоиться и мог идти»)³⁷, что он был в состоянии каким-то образом воздействовать на силы гравитации («мог [становиться] легким и тяжелым»)³⁸.

Еще одно любопытное сообщение содержится в конфуцианской канонической «Книге установлений». В ней говорится, что во времена «совершенномудрых» древних государей «в горах появлялась повозка-сосуд»³⁹. Ее покрытие древний человек мог сопоставить только с несовершенной глазурью своих изделий («Сосуд этот, говорят, был словно серебряная глазурованная черепица, киноварно-красная керамика»). А в комментарии, цитирующем исчезнувший апокриф, поясняется: «Горная повозка — это естественная повозка. Свисают крючья; никто не гнет, не направляет, сами собой закручиваются, изгибаясь»⁴⁰.

Уже из этого, пусть не слишком ясного текста, можно извлечь многое. Можно допустить, например, что странная «повозка» имела обтекаемую форму сосуда или капсулы, что у нее было какое-то твердое, ярко окрашенное покрытие, сверкающее белым металлом («серебром»), что она могла двигаться по сильно пересеченной горной местности, причем в нее никто не был запряжен (обычно это скрупулезно отмечается) и, по-видимому, никто ею не управлял — она передвигалась как бы сама собой, «естественно»⁴¹. Наиболее интересна и, вместе с тем, наименее ясна последняя фраза — упоминание каких-то ниспадающих или свисающих захватов («крючьев»), которые потом сами собой изгибаются и закручиваются — она наводит на мысль об усложненной модификации гусеничного хода. Однако особенности древней грамматики разрешают и другое прочтение: «Горная повозка — это естественная повозка. Свисает крюком, никто не гнет, не направляет — сама собой закручивается, изгибаясь», т. е. речь в таком случае идет о способности повозки в целом или ее ходовой части свободно менять форму, как бы «растекаясь», применяясь к неровностям местности... Даосские тексты упоминают о том,

³⁴ «Хэту ши ди сянь» («Восстановленное изображение Земли, некогда явленное в письменах из Реки»), в кн. «Тайпин юлань» («Императорское обозрение, составленное в годы Тайпин» — энциклопедия XI в.), т. 1, Пекин, 1960, стр. 238.

³⁵ Ван Ци, Ва Хань сань цай тухуй («Собрание картин, изображающих все небесное, земное и человеческое, с китайским и японским текстами»), т. IV, цзюань 2, б. м., 1713, стр. 25 а.

³⁶ ГХДБСЦ, стр. 9 а.

³⁷ Или «действовать» — Там же.

³⁸ Там же; Цао Чжи, Указ. раб., стр. 10 а. «О трех ногах, но квадратный», «белый, словно сладость», «его не передвигают — идет сам собой» — так описывается подобный же треножник, сделанный якобы более поздним «совершенномудрым сыном неба». См. Юй Ли, Цзян лу («Описание треножников»), в кн. «Хань Вэй цуншу», т. 54, б. м., 1791, стр. 1 а.

³⁹ «Лици чжэньи» («Книга установлений в правильном истолковании»), т. IV, в собр. «Шисань цзин чжущу» («Тринадцать классических книг с комментариями и толкованиями»), т. XXII, Пекин, 1957, стр. 1055.

⁴⁰ Там же, стр. 1056.

⁴¹ Слово «цзыжань», которое принято переводить как «естественный» или «естественность», обозначает все то, что происходит из внутренней природы данной вещи, само собой, без посторонних воздействий.

что таких повозок у Хуан-ди было множество («горные повозки заполняли равнины») ⁴² — и не только их...

Хуан-ди и основная группа его помощников действовала в Северном Китае — там, где впоследствии возникло ядро китайской цивилизации. А освоение юга и стран Южных морей осуществлялось теми, о которых даже трудно сказать: были ли это живые существа, автономные механизмы, или механизмы, непосредственно управляемые живыми существами. В древних источниках они фигурируют как «Чи Ю и его братья» — можно заключить, что они были подобны друг другу. В различных источниках примерно одинаково указано число «братьев» — их было около восьмидесяти ⁴³.

По сообщениям древних, у Чи Ю, как и у Хуан-ди было четыре глаза — во всяком случае, их считали глазами, было шесть рук, или манипуляторов ⁴⁴. Особенно странной казалась голова, сделанная из меди или сходного с ней металла, с железным лбом ⁴⁵, с какими-то трезубцами вместо ушей ⁴⁶. Подобно «горной повозке», Чи Ю мог преодолевать пересеченную местность и даже ненадолго взлетать в воздух ⁴⁷. Но ни на что не похожей оказывалась его пища: источники в один голос уверяют, что этот монстр питался камнями и песком ⁴⁸ или даже металлом («железом») ⁴⁹! — из них он получал энергию, необходимую для своего движения. Древние не могли правильно оценить характер этого твердого топлива. Однако они сообщают, что отделенная впоследствии от туловища и с предосторожностями захороненная отдельно металлическая «голова» долгие годы продолжала излучать тепло. Из захоронения время от времени выбивалось облачко отсвечивающего красным пара, которому поклонялись местные жители ⁵⁰.

Достоверных изображений Чи Ю не сохранилось. Однако не следует забывать, что китайский иероглиф в своей первоначальной форме тоже был картиной, и пусть примитивно, но как-то изображал обозначенный им предмет. Древнее написание иероглифа Чи [Ю] приводит словарь II в. «Шовэнь цзецзы» («Толкование письмен и объяснение иероглифов») (рис. 1).

Неожиданно он оказывается очень мало похожим на словесное описание. Но это только на первый взгляд.

Напомню, что Чи Ю «мог проходить по труднодоступным местам» ⁵¹. Но такой же способностью обладали и так называемые «горные повоз-

⁴² Ван Цзя, Ши и цзи («Собрание утраченных записей») в кн. «Хань Вэй цун шу» («Собрание сочинений, написанных при династиях Хань и Вэй»), т. 94, б. м., 1791, стр. 3 б.

⁴³ Жэнь Фан, Шу и цзи («Описание удивительного»), в кн. «Хань Вэй цун шу», т. 92, цзюань I, стр. 2 а; «Лун юй хэ ту» («О чертеже, начертанном на спине рыбы-дракона, явившейся из речных вод»), в кн. «Тайпин юйлань», стр. 368 (далее: «Лун юй хэ ту»); «Сяньюань Хуан-ди чжуань» («Жизнеописание сяньюаньского Хуан-ди»), в кн. «Хуан-ди ушу» («Пятикнижье Хуан-ди»), б. м., 1807, стр. 11 б. (далее: СЮХДЧ).

⁴⁴ Жэнь Фан, Указ. раб., стр. 2 а.

⁴⁵ Там же; «Лун юй хэ ту», стр. 368; СЮХДЧ, стр. 11 б.

⁴⁶ Жэнь Фан, Указ. раб., стр. 2 а.

⁴⁷ Юань Кэ, Указ. раб., стр. 119.

⁴⁸ «Лун юй хэ ту», стр. 368; СЮХДЧ, стр. 11 б.; Юань Кэ, Указ. раб., стр. 119.

⁴⁹ Жэнь Фан, Указ. раб. стр. 2 а.

⁵⁰ СЮХДЧ, стр. 15 б. Местом захоронения древнего монстра обычно называют уезд Чжолу бывшей провинции Чахар — сравнительно малолюдную местность, недалеко от границы МНР. Однако есть подозрения, что его «останки» уже были извлечены из земли. В «Описаниях удивительного» (VI в.) мы читаем: «Тот череп, словно бы из меди и железа, который ныне обнаружили жители области Цзичжоу, копая землю — это и есть кости Чи Ю» (Жэнь Фан, Указ. раб., стр. 2 а). Неизвестно, куда затем исчезла странная находка — время было смутное, весь север Китая был завоеван кочевниками и никаких сообщений о ней больше не появлялось. Действительно ли она имела какое-то отношение к мифу о Чи Ю — сказать сейчас трудно, но обращают на себя внимание слова «словно бы из меди и железа». Ведь и медь, и железо были прекрасно известны каждому китайцу, и такая неуверенность наводит на размышления.

⁵¹ Юань Кэ, Указ. раб., стр. 119.

ки». Если мы вспомним, как они передвигались, то древнейший иероглиф-пиктограмма, изображающий Чи Ю, станет нам совершенно ясен. «Свисает крюком: никто не гнет, не направляет, а сама собой закручивается, изгибаясь...»⁵². Вот эти изгибы и извивы в нижней части иероглифа — тот самый «червяк», которого древние комментаторы непременно упоминали в связи с Чи Ю! Мы ведь тоже ничтоже сумняшеся, ходовую часть множества своих механизмов именуем «гусеницей», хотя для нас образы природы неизмеримо дальше, чем для древнего китайца. А над ходовой частью аккуратно вычерчен трезубец — тот самый,



Рис. 1

который заменял Чи Ю уши. Конечно, аналогия — это еще не доказательство, но невольно приходит на память, что именно трезубец и в наше время повсеместно принят для обозначения ввода антенны в радиоустройствах... Я надеюсь, читатель снисходительно отнесется к моей вольности: пример — всего лишь пример. Однако фактом остается другое: древний иероглиф отобразил в образе Чи Ю самое главное, т. е. удивительную форму передвижения этого монстра и удивительное устройство, заменявшее ему один из органов чувств...

Если учесть все сказанное — трудно исключить возможность того, что «братья Чи Ю» могли и не быть «вполне» живыми существами. Невольно представляешь себе группу каких-то сложных, автономных механизмов, возможно, роботов. Лишь один из них управлялся непосредственно живым существом, с телом подобным то ли человеческому⁵³, то ли звериному⁵⁴, и знавшим человеческую речь⁵⁵, но и это существо чаще всего воспринималось аборигенами как единое целое со своим аппаратом. Этого единственного Чи Ю, как и Хуан-ди, именовали «древним сыном неба»⁵⁶. Впоследствии только он один был похоронен в долине Хуанхэ — роботы же были переправлены куда-то «за восемь пустот»⁵⁷. Кстати, «восемь пустот» — в китайской литературе синоним «восьми полюсов», «восьми пределов» («бацзи») ⁵⁸, между которыми находится Земля. В энциклопедии XI в. «Тайпин юйлань» сохранился фрагмент древнего сочинения, в котором точно, в китайских верстах, указаны расстояния между этими пределами⁵⁹. Правда, подсчеты затрудняются нестабильностью значения числа «и», введенного в измерения⁶⁰. Однако, если взять его наименьшее значение, ширина пространства между восьмью пределами окажется несколько более 100 000 км, если взять максимальное — более 80 000 000 км. Создается впечатление, что роботы были отправлены далеко за пределы Земли, истинные размеры которой древним китайцам приблизительно были известны.

⁵² «Лицзи чжэньи», стр. 1056.

⁵³ Жэнь Фан, Указ. раб., стр. 2 а.

⁵⁴ «Лун юй хэ ту», стр. 368; СЮХДЧ, стр. 11 б.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ «Гу ши бянь», стр. 204.

⁵⁷ Ван Ци, Указ. раб., т. XI, цзюань 22, стр. 3 а.

⁵⁸ «Цыхай» («Море слов»); Шанхай, 1948, стр. 149 (далее: «Цыхай»).

⁵⁹ «Хэ ту ши ди сянь», стр. 171.

⁶⁰ «Цыхай», стр. 128.

Поскольку слово «робот» уже произнесено, стоит добавить, что и сама идея роботехники возникла в Китае очень рано. Она зафиксирована письменно в IV в. до н. э., а связанные с этим события относятся к X в. до н. э.

Царь Му, к которому привели робота, не смог отличить его от обычного человека. «Кто это вместе с тобой пришел?» — спросил он мастера. И тот отвечал: «Артист, сделанный Вашим слугой»⁶¹.

Искусно сделанный артист якобы мог петь и плясать, причем все это он делал с должным выражением; как сказано в «Ле-цзы»: «превращался и изменялся на тысячу ладов, повинаясь любому желанию»⁶². Он был способен также на вполне самостоятельные действия: именно его непредвиденный поступок и заставил мастера, в конце концов, разобрать свое творение. Тогда оказалось, что, несмотря на всю сложность поведения артиста, тот представлял собой лишь биомеханический агрегат, подобие человека с полным набором внутренних органов, созданных искусственным путем. «Царь тщательно все осмотрел и все оказалось искусственным: внутри — печень, желчный пузырь, сердце, легкие, селезенка, почки, кишки и желудок; снаружи — мышцы с костями, конечности с суставами, кожа с волосами, зубы и прическа»⁶³. Мы не будем подробно пересказывать эту историю, поскольку она есть в русском переводе, отметим лишь, что реальная действительность Китая, продолжавшего еще жить в бронзовом веке, вряд ли могла дать почву для появления идеи «искусственного человека». В то же время опыт показывает, что в устном народном творчестве сюжет, связанный с одним лицом или событием, может впоследствии быть привязан к другому, более позднему, более близкому рассказчику⁶⁴. И если легенда «Ле-цзы» относит создание робота к X в. до н. э., то не исключено, что основой для нее послужили события еще более ранние, имевшие место, например, во времена Хуан-ди.

Естественно встает вопрос: как объясняют все эти странные сообщения древних источников сами китайцы? Ведь объяснить их было просто необходимо, хотя бы потому, что всякое запоминание тесно связано с пониманием; чтобы передать какой-то факт следующим поколениям, нужно было его понять, осмыслив на любом доступном уровне — не говоря уже о том, что нужно было также ввести его в сферу привычных представлений, избегав ломки последних.

Такое произвольное «осмысление» шло, по-видимому, в течение долгого времени; с одной стороны, оно привело к появлению целого ряда логических неувязок в самих текстах и комментариях к ним, с другой — к утрате и трансформации многих памятников.

Уже первое известное нам упоминание идеи роботехники в трактате «Ле-цзы» облечено в беллетризованную, сказочную форму. С необычными и странными металлическими отражателями, которые изготовлял Хуан-ди, это произошло позднее. В популярной повествовательной литературе из «великих» они превращаются в обычные туалетные зеркала, широко распространенные в Китае в древности и в средние века. В одной из новелл VII в. даже указывается диаметр самого крупного — около 25 см, оно без труда умещалось в туалетном ларце⁶⁵. Вместо 12 их уже становится 15⁶⁶, а изготовление зеркал привязывается к легенде о «календарной травке», якобы росшей перед дворцами «со-

⁶¹ «Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. Ян Чжу, Ле-цзы, Чжуан-цзы. VI—IV вв. до н. э.», М., 1967, стр. 93; «Ле-цзы цзиши» («Книга Ле-цзы с собранием комментариев»), Шанхай, 1958, стр. 112 (далее: «Ле-цзы цзиши»).

⁶² Там же.

⁶³ «Ле-цзы цзиши», стр. 112.

⁶⁴ И. С. Лисевич, Сюжет эзоповой басни на Востоке, в кн. «Типология и взаимосвязи литератур древнего мира», М., 1971, стр. 293 и др.

⁶⁵ «Волшебное зеркало», стр. 118.

⁶⁶ Там же.

вершенномудрых» государей. В течение месяца на ней каждый день сначала распускалось по листочку, а с пятнадцатого числа — наоборот, опадало по одному, и государь всегда знал, какое нынче число. Утверждается, что «по ее образцу Владыка (т. е. Хуан-ди — *И. Л.*) отлил зеркала, дабы создать ее подобие — и было их пятнадцать чудесных зеркал, драгоценных зеркал»⁶⁷. В уже цитировавшейся нами новелле сообщается, что каждое следующее зеркало было в поперечнике меньше предыдущего на один цунь⁶⁸, отражая соответствующие фазы светила. Так было интерпретировано более раннее сообщение: «использовал их, следуя за луной».

Если факт изготовления зеркал потонул в потоке художественного вымысла, то сообщения о необычной пище Чи Ю, напротив, опровергаются с точки зрения здравого рассудка. Опровержение это приписывается поэту Ли Бо, хотя вряд ли в средние века в Китае найдется человек менее его склонный к сухому рационализму. Все это «напоминает воинов-южан, — якобы заметил Ли Бо по поводу того, что Чи Ю поглощал камни и песок. — Видя, как люди северных земель питаются пшеничной кашей и рисом, они не понимают этого и говорят, что те пожирают песок и камни»⁶⁹. Не слишком убедительно, тем более, что упущен вариант с железом — в данное сравнение он не укладывается.

Тексты, в которых содержатся сообщения о мифической «горной повозке», наиболее темны — их истинный смысл был, по-видимому, утрачен еще в древности. Современные китайские ученые предпочитают читать соответствующий отрывок из «Книги Установлений», нарушая свято соблюдающийся ими принцип параллелизма. Несмотря на то, что в ряду перечислений первый иероглиф здесь везде играет роль определения, а второй — определяемого, дойдя до удивительной повозки, они мысленно ставят между ними запятую, и тогда получается: «Горы являли [взору] сосуды, повозки...». Какие такие сосуды являли горы и почему — остается при этом непонятным, но это оказывается все же предпочтительнее, чем отвечать на недоуменные вопросы о совсем уж не укладывающейся в сознание «повозке-сосуде». Что же касается китайских словарей, то они долгое время не решались давать толкования этого термина, ограничиваясь цитированием древних текстов, а также указанием, что появление горной повозки в древности считалось благом предзнаменованием⁷⁰. Лишь сравнительно недавно 32-х томный «Энциклопедический словарь китайского языка», изданный на Тайване, дал следующее определение: «Горная повозка — это дерево, которое само собой сгибается крючком и принимает форму колеса, не дожидаясь, чтобы его гнули»⁷¹. Нельзя не заметить произвольности такого толкования — ведь в оригинальных текстах не упомянут ни исходный материал (дерево), ни конечный продукт (колесо), и то и другое элементарно примыслено, так как в оригинале говорится только о повозке. Но толкователю, исходящему из определенных аксиом, невозможно представить себе в древности средство передвижения, меняющее свою форму, использующую гусеничную тягу и т. д. — гораздо проще вообразить корчащиеся в судорогах дерева, ибо в итоге получается все то же привычное колесо.

Обилие натянутых толкований (а с ними мы будем сталкиваться и в дальнейшем) лишний раз убеждает в том, что древние тексты несут в себе информацию, явно не укладывающуюся в рамки своего времени и не поддающуюся объяснению на уровне традиционного комментаторства. Но ведь еще академик В. П. Васильев писал о необходимости для

⁶⁷ СЮХДЧ, стр. 66—7 а.

⁶⁸ «Волшебное зеркало», стр. 118.

⁶⁹ СЮХДЧ, стр. 11 б.

⁷⁰ «Цыхай», стр. 452.

⁷¹ «Чжунцзень да цыдянь», т. X, Тайбэй, 1967, стр. 409.

китаевода «усвоения собственного воззрения в тех фактах, которые ему передают китайцы»⁷² — научная синология от этого только выиграла. Может быть, и теперь нам стоит, преодолев инерцию мышления, обратиться к древним письменным источникам с позиций современной науки — вполне вероятно, что это больше приблизит нас к истине...

Хуан-ди руководил и правил Поднебесной в течение ста лет, хотя прожил гораздо больше: источники называют цифру и двести десять⁷³ и триста⁷⁴. Где и в каких занятиях прошли остальные годы — можно только гадать. Конфуций практически ушел от ответа на этот вопрос, ибо подменил его софистикой: «Человек сто лет преследовал собственную выгоду, пока не низвергся [с престола], — сказал он своему ученику Цзай Во. — Человек сто лет почтительно служил своему духу, пока не сгинул; человек сто лет распространял свое учение, пока не переселился; вот и говорят о трехстах годах!»⁷⁵. Однако даосские источники недвусмысленно заявляют: после ста лет «правления», Хуан-ди вернулся на свою звезду⁷⁶.

В «Описании гор Дракона и Тигра» сказано, что Хуан-ди, овладевший основным законом Вселенной — Дао, странствовал по ней «в беспредельности»⁷⁷. В «Жизнеописании», включенном в даосский канон, сведения более конкретны: Хуан-ди, «поднявшись в небо и став повелителем Единого Величайшего, превратился опять в звезду Сяньюань»⁷⁸. «Единое Величайшее» у даосов (например, у Чжуан-цзы) — синоним все того же Дао, источника движения и развития мира⁷⁹. Что же до звезды Сяньюань, то она существовала и до того, как Хуан-ди поднялся в небо (на нее он, в частности, ориентировал свой треножник) и перед нами просто образное указание на конечную цель его «странствия в беспредельном». Тем более, что на Землю он прибыл именно с этой звезды («Сяньюань — другое имя Хуан-ди. Дух этой звезды, сойдя вниз, родил Хуан-ди»⁸⁰).

О том как происходил сам полет, источники умалчивают, однако не следует забывать, что в мифы о Хуан-ди органически входит образ «грома». Отождествление «грома» с удлинёнными барабанами, изображение его в виде связки таких «барабанов»⁸¹, каждый из которых поделен в плане на четыре отсека, невольно обращает мысль в сторону различных технических приспособлений. Этому способствует и странное описание «князя грома», одного из помощников Хуан-ди⁸². За недостатком места мы вынуждены опустить все подробности, ограничившись лишь воспроизведением древних начертаний иероглифа «гром» на керамике (см. рис. 2 а) и в словаре «Шовэнь цзецзы» (см. рис. 2 б, — между барабанами видны завитки облаков или дыма). Стоит, однако, упомянуть о полете одного из современников Хуан-ди, который может дать нам некоторое представление о способе «передвижения в беспредельности».

В «Записях об основных деяниях Хуан-ди», включенных в священный даосский канон, сообщается следующее: «Фэн-цзы сжег себя в куче пла-

⁷² В. П. Васильев, Сведения о маньчжурах во времена династий Юань и Мин, СПб, 1963, стр. 15.

⁷³ ГХДБСЦ, стр. 10 б.

⁷⁴ Хуанфу Ми, Указ. раб., стр. 18.

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ ГХДБСЦ, стр. 10 б.

⁷⁷ «Лун ху шань чжи» («Описание гор Дракона и Тигра»), в кн. «Юнлэ дадянь» («Великий словарь, составленный в годы Юнлэ», энциклопедия XV в.), т. 13, Пекин, 1960, цзюань 11956, стр. 6.

⁷⁸ ГХДБСЦ, стр. 10 б.

⁷⁹ «Цыхай», стр. 354.

⁸⁰ Ван Ци, Указ. раб. т. IV, цзюань 2, стр. 25 а.

⁸¹ И. С. Лисевич, Древние мифы о Хуан-ди и гипотеза о космических пришельцах, «Азия и Африка сегодня»: 1974, № 11, стр. 44—45.

⁸² Там же, стр. 45.

мени, вместе с дымом поднялся и опустился, за одно утро долетел до зыбучих песков»⁸³, т. е. туда, где находилось знаменитое «Озеро грома», и, вероятно,— база пришельцев. Далее, по сообщению источника, он использовал какое-то «фэйюй». Этимология этого слова не вполне ясна; встретив впервые в тексте, я перевел его как «летающая рыба»⁸⁴. К счастью, этот же термин донес до нас очень древний мифологический компендиум «Книга Гор и Морей». Из него страновиты ясно, что «фэйюй» ничего общего с летающей рыбой не имеет⁸⁵. По-видимому, иероглиф «фэй» следует переводить не как «летающий», а «для полета». Что же

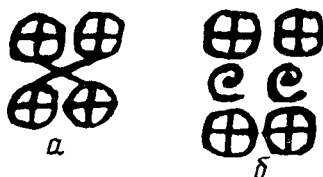


Рис. 2

до странного упоминания «рыбы», то оно встречается в сходных ситуациях и в памятниках других древних народов. Сторонники гипотезы космических палеоконтактов усматривают в образе «рыбы» некую модификацию защитного костюма пришельцев из космоса⁸⁶. Не углубляясь в этот вопрос, скажем лишь, что согласно «Книге гор и морей», «фэйюй» действительно, «предохраняет от оружия и позволяет не опасаться грома»⁸⁷.

Далее следует самое интересное. По свидетельству источника, воспользовавшись «фэйюй», сподвижник Хуан-ди «временно умер и возродился через двести лет»⁸⁸. Это свидетельство может быть интерпретировано так, что, прилетев на озеро «грома», он прибег к некоему средству, необходимому для дальнейшего, более продолжительного полета и предохраняющему от каких-то его вредных воздействий, после чего погрузился в состояние летаргического сна. Естественно, что при этом возникает мысль об анабиозе, как одной из удобных форм решения проблемы времени при космических перелетах на дальние расстояния. Опираясь на эту цифру — двести лет, необходимые для полета, и на расстояние в семьдесят восемь световых лет до звезды — родины Хуан-ди, нетрудно сделать все остальные расчеты. Однако они преждевременны — в том числе и потому, что пришельцам, как будто, были известны и более высокие скорости. На эту мысль наводит сообщение о так называемом «чэнхуане» — драконе, на котором Хуан-ди поднимался к Солнцу. По словам одного древнего сочинения, это удивительное средство передвижения «происходит из страны, где рождаются солнца» и очень старо — ему три тысячи лет⁸⁹. Но самое главное — его огромная скорость влияет на ход времени, предотвращает старение человеческого организма: чэнхуан «в один день покрывает мириады верст; севший на него человек достигает возраста двух тысяч лет»⁹⁰.

⁸³ ГХДБСЦ, стр. 1 а.

⁸⁴ И. С. Лисевич, Древние мифы о Хуан-ди, стр. 46.

⁸⁵ Ср. «Шыхай», стр. 611 (статья «Вэньяюй»).

⁸⁶ См., например, W. R. Drake, Space-men in the Ancient East, 1968, pp. 181—182.

⁸⁷ «Шаньхайцзин» («Книга гор и морей») в кн. «Тайпин юйлань», т. I, Пекин, 1960, стр. 66.

⁸⁸ ГХДБСЦ, стр. 1 а.

⁸⁹ СЮХДЧ, стр. 3 б.

⁹⁰ Там же.

Местоположение звезд Сяньюань на небесной сфере известно достаточно точно — расхождения касаются только двух-трех из них⁹¹. Это небольшое созвездие из 17 звезд различной величины, напоминающее по форме извивающегося дракона (приблизительно между 10° и 40° сев. склонения, прямое восхождение — около 9 ч. — 10 ч. 30 мин.)⁹². Однако есть основания полагать, что, упоминая Сяньюань, древние авторы часто имели в виду не созвездие в целом, а лишь самое яркое его светило — Регул, которое по современным данным состоит из четырех звезд, вращающихся вокруг общего центра тяжести.

С точки зрения современной астрофизики Регул не относится к числу наиболее перспективных объектов в плане поисков внеземных цивилизаций. Однако не следует забывать, что и в кратных звездных системах при определенных условиях возможно существование планет, а одна из звезд Регула близка по основным параметрам к нашему Солнцу. Как бы то ни было, китайские источники утверждают, что «сын неба» Хуан-ди, который возвратился с земли после стольких удивительных и необычных деяний, закончил свои небесные странствия где-то в созвездии Льва.

Конечно, сообщение любого древнего источника нельзя понимать буквально. Однако время приносит все новые доказательства того, что фантазия мифов, сказаний и легенд питалась соками действительности, что у самых их истоков стояло нечто вполне конкретное и реальное. находка древней Трои, к которой привела гомеровская «Илиада» — лишь самый яркий, но далеко не последний тому пример. Как знать, не сулят ли нам другие древние памятники еще более волнующие и значимые открытия? Будущее ответит на этот вопрос, нашей же задачей было дать читателю материал для размышления, предложив один из возможных вариантов интерпретации этого материала.

⁹¹ Ч ж у В э н ь - с и н ь, Шицзи тяньгуаньшу хэнсин ту као («Исследование расположения постоянных звезд согласно главе „Чины неба“ книги „Исторические записки“»), Шанхай, 1927, стр. 59; В а н Ц и, Указ. раб., т. IV, цзюань 2, стр. 25 а; Г а о П и н - ц з ы, Шицзи тяньгуаньшу цзиньчжу (Современные комментарии к главе «Чины неба» в книге «Исторические записки») Тайбэй, 1965, стр. 14.

⁹² Ч ж у В э н ь - с и н ь, Указ. раб., стр. 59.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СИМПОЗИУМ «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ»

С 1 по 4 октября 1975 г. в Ереване состоялся Всесоюзный симпозиум по демографическим проблемам семьи, организованный Научным Советом социально-экономических проблем народонаселения и Центральным экономико-математическим институтом АН СССР, Вычислительным центром и Научно-исследовательским институтом экономики и планирования Госплана Армянской ССР и Ереванским Государственным университетом. В симпозиуме приняли участие сотрудники научных учреждений Закавказья, Прибалтики, Украины, Средней Азии, Сибири, а также ученые Ленинграда и Москвы, представители ЦСУ СССР.

Открывая симпозиум, заместитель председателя Госплана Армянской ССР Ю. Е. Ходжамирян отметил важность демографических прогнозов, лежащих в основе планирования основных направлений социалистической экономики, в частности в прогнозировании численности трудоспособного населения.

Подавляющее большинство выступлений на симпозиуме касалось двух основных проблем демографии семьи: 1) численности семей и семейной структуры; 2) репродуктивной функции семьи. Основные вопросы, связанные с этими проблемами, были затронуты в шести докладах, прочитанных на пленарном заседании.

А. Я. Боярский (Москва) в докладе «Демографические прогнозы. Задачи и методы» обратил внимание собравшихся на важность изучения семьи как источника демографической информации и подчеркнул, что расчет населения как совокупности людей тесно переплетается с расчетом населения как совокупности семей. При этом расчет семейных структур имеет такое же значение, как и расчет населения.

В докладе А. Х. Карапетяна (Ереван) «Опыт моделирования движения и воспроизводства семей» излагались предварительные результаты исследования семей, выполненного Научно-исследовательским институтом экономики и планирования Госплана Армянской ССР и Вычислительным центром Госплана Армянской ССР совместно с кафедрой статистики Ереванского университета и Кафедрой статистики планирования Донецкого университета. Главная цель проведенной работы — выявление и моделирование частных и общих закономерностей развития, движения и воспроизводства отдельных семей и всего населения в целом как совокупности семей. В результате исследования было выделено четыре основных типа демографических изменений, влияющих на формирование численности и состава семьи.

Доклад А. Г. Волкова (Москва) был посвящен проблемам анализа и прогноза численности и величины семьи. В нем было подчеркнуто, что «изучение семьи, закономерностей ее формирования и развития, ее структуры, т. е. демографических отношений в семье, представляет собой новую и важную в научном и практическом отношении область демографического анализа». Докладчик говорил о том, что структура семьи — понятие многогранное. Это «демографическая структура, характеризующая социальные роли и экономические отношения в семье. Возможно выделение этнической, культурной и других структур, конечно, тесно взаимосвязанных». На основании изучения структуры семей могут быть выделены различные их типы. А. Г. Волков предложил схему оценки распределения семей в будущем в соответствии с их величиной.

В докладе Э. К. Васильевой (Ленинград) «Семья и миграция» на основе анализа материалов переписи 1970 г. и выборочного обследования ленинградских семей были освещены некоторые вопросы влияния миграции на семейный состав населения, в частности, на распространенность сложных семей, частоту разводов, репродуктивное поведение семей и т. д.

И. А. Бадамян (Москва) в докладе «Динамика демографической структуры семей и массовое жилищное строительство» поставила актуальный вопрос о необходимости учета семейной структуры населения для решения практических задач градостроительства и особенно жилищного строительства.

Оживленную дискуссию вызвал доклад Л. Е. Дарского (Москва) «Детерминанты и факторы репродуктивного поведения». Докладчик подчеркнул, что «логика раз-

вития знаний и представлений о репродуктивном поведении и механизмах, его регулирующих, неизбежно привели к тому, что это понятие оказалось в центре внимания демографов». Его изучение стало самым актуальным направлением демографической науки. Репродуктивная функция семьи — одна из ее важнейших социальных функций — может быть рассмотрена как деятельность, направленная на удовлетворение потребности человека в детях. Рассмотрев репродуктивное поведение человека в историческом аспекте, Л. Е. Дарский пришел к выводу, что в традиционных обществах прошлого многодетная семья имела явное преимущество перед малодетной. Докладчик подчеркнул, что рождаемость во все времена определяется социальной структурой общества, меняются лишь механизмы, «трансформировавшие с помощью социальных структур общественно необходимый уровень рождаемости в индивидуальное репродуктивное поведение». В настоящее время дети перестают быть объектом исключительно родительского воспитания, обучения. «Функции социализации постепенно и неизбежно передаются специализированным институтам. Образование, обучение, воспитание постепенно уходят из семьи». Все это, по мнению докладчика, вызывает изменение типа репродуктивного поведения. Проблема репродуктивного поведения тесно связана с вопросами структуры, динамики и функций семьи. Все большая автономизация личности, сужение функций семьи ведут к снижению потребности в детях. Объективные факторы, влияющие на рождаемость в прошлом, уступили место субъективным. Необходимо исследование вопроса о том, «какие потребности в современном обществе удовлетворяют дети», какие факторы могут повлиять на желание иметь детей.

Различные аспекты демографического изучения семьи, в том числе проблемы рождаемости, обсуждались также на заседаниях трех секций: «Социально-экономические проблемы формирования и развития семьи», «Проблемы моделирования семейных структур и прогнозирования численности и состава семей», «Демографическое поведение семей».

На секциях были заслушаны теоретические, конкретно-описательные доклады и доклады методического характера. В последних предлагались различные методы социально-демографического обследования семьи: моделирование типа семьи, ее структуры, воспроизводства браков, методы прогнозирования численности семей и населения в целом. Особо следует отметить сообщение А. В. Шахпароян (Ереван), явившееся итогом работы демографов Армянской ССР по разработке программно-методических вопросов организации статистического обследования развития семей. В нем было рассказано о разработке армянскими исследователями специального опросного бланка, включавшего четыре раздела: исходный состав семьи в момент вступления в брак старшего члена семьи; прибавление в составе семьи; выбытие из состава семьи и жилищные условия семьи. На основе этого бланка было обследовано 3500 семей в Армении и 600 семей в Донецке, что дало возможность выделить большое число (до 45) типов семей, а также получить массовые данные об изменениях семейной структуры населения в настоящее время, позволяющих выявить общие и частные закономерности движения и воспроизводства семей.

Помимо чисто демографических вопросов, связанных с воспроизводством населения, с моделированием структуры семьи, с прогнозированием ее численности и рождаемости, на симпозиуме рассматривались вопросы, актуальные для этнографов и социологов, такие как реальная численность и структура семьи в различных регионах страны; брачность; воспитание детей; зависимость воспитания от типа семьи; зависимость детности от образовательного уровня и возраста матери, материального положения семьи; роль женщины в семье; воздействие семейно-бытовых традиций на развитие семьи и др.

Заслуживает внимания, в частности, высказанная в докладе научного сотрудника Института конкретных социологических исследований Ю. Б. Рюрикова «„Цена ребенка“ — социально-психологический регулятор рождаемости» мысль о появлении новой системы отношений мужчины и женщины на производстве, в семье и в обществе, которую докладчик условно называет „биархат“. Суть этих новых отношений «в коренной перестройке всего разделения труда между мужчинами и женщинами, в коренной перемене всех жизненных ролей женщины. Женщина из домашнего существа становится общественным, из „второго пола“ — равным. Она делается, говоря упрощенно, таким же „двигателем производства и общества“ как и мужчина». По мнению докладчика, социальный статус женщины, ее положение на производстве, в обществе, в системе общественных и бытовых отношений являются основой «цены ребенка». «Цена ребенка» — условное понятие, складывающееся из различных компонентов, влияющих на рождаемость — экономических, социальных, идеологических, этнопсихологических, физиологических, культурных, педагогических и юридических.

Нельзя не согласиться также с утверждением Ю. Б. Рюрикова о необходимости интеграции методов различных наук в вопросах изучения семьи. Между тем, судя по материалам симпозиума, демографы почти не учитывают в своих исследованиях социальные и этнические аспекты, влияние этноса на тип и структуру семьи, на ее репродуктивность. Только в докладах представителей Киргизии, Узбекистана и Азербайджана, построенных на исследованиях, учитывающих этническую принадлежность населения, поднимался вопрос о необходимости рассматривать проблемы семьи и рождаемости с точки зрения развития отдельных народов. Неоспорима также необходимость использования учеными — этнографами и социологами отдельных демогра-

фических методов исследования, позволяющих глубже изучить процесс трансформации современной семьи, перспектив ее развития в будущем.

Подробно с материалами этого симпозиума можно ознакомиться по трем выпускам сборника «Всесоюзный симпозиум по демографическим проблемам семьи»¹.

Я. С. Смирнова, А. Е. Тер-Саркисянц

¹ Сб. «Всесоюзный симпозиум по демографическим проблемам семьи», Ереван, 1975; вып. 1 — «Социально-экономические проблемы формирования и развития семьи», вып. 2 — «Проблемы моделирования семейных структур и прогнозирования численности и состава семей», вып. 3 — «Демографическое поведение семей».

СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВЕТСКИХ И ФИНСКИХ ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ. [1967—1975 гг.] *

В августе 1975 г. торжественным заседанием в Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике было отмечено 20-летие Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между СССР и Финляндией.

Совместная исследовательская работа советских и финских специалистов в области этнографии и антропологии началась в 1967 г., когда была организована первая советско-финляндская антропологическая экспедиция под руководством П. Кайанойа, в которой с советской стороны приняли участие Н. В. Шлыгина и К. Ю. Марк.

С 1970 г. в рамках Советско-Финляндской Межправительственной Комиссии по сотрудничеству в области науки и техники стала функционировать рабочая группа по сотрудничеству в области антропологии и этнографии, осуществляющая руководство совместными научными исследованиями, рассчитанными на долгий срок. С советской стороны рабочую группу возглавила заместитель директора Института этнографии АН СССР Л. Н. Терентьева, а с финляндской стороны — академик К. Вилкуна.

Формы сотрудничества разнообразны: совместные экспедиции, симпозиумы, научные командировки для занятий в архивах и для чтения лекций, совместные публикации, обмен научными материалами, а также публикации финских исследований в СССР, а русских — в Финляндии.

В ходе работ 1968—1969 гг. на территории Финляндии были обследованы 10 групп финнов и 3 группы финляндских шведов. Группы финского населения были выбраны в 7 основных исторически сложившихся провинциях страны (Варсинайс-Суоми, Сатакунта, Похьянмаа, Саво — 2 группы, Хяме — 2 группы, Карьяла и Уусимаа), а также в Перя-Похьола. Обследования велись по широкой программе — антропометрия, серология, дерматоглифика, одонтология, тест РТС, цветная слепота.

В 1969 г. советские специалисты (А. А. Зубов, К. Ю. Марк, Н. В. Шлыгина) вместе с группой финских исследователей приняли участие в Международной экспедиции по изучению саамского населения в Финляндии, которой руководил А.-В. Эрикссон. В работе принимали участие специалисты из Швеции и Норвегии, а также представители США, Великобритании, ФРГ и др. Экспедиция обследовала в Инари три основных группы финляндских саамов — горных, или оленных, инарских, или рыболовецких, а также кольских. Исследования носили преимущественно медико-биологический характер. Советские специалисты выполняли дерматоглифическую, антропометрическую и одонтологическую части программы.

В 1974 г. совместная советско-финляндская экспедиция выехала в районы северо-востока Финляндии (Куусамо, Салла и Савукоски), где по историческим данным предполагалось наличие лопарского субстрата. Финское население появилось в этих местах сравнительно недавно, лет 300 тому назад, и поэтому можно было предположить, что при антропологических исследованиях лопарский субстрат выявится достаточно ощутимо (что, по предварительным данным, имело место в действительности). Экспедицию возглавил Х. Форсиус. С советской стороны в ней приняли участие К. Ю. Марк и А. А. Зубов, а с финляндской Х. Форсиус, А.-В. Эрикссон, Р. Франц и ряд других специалистов. Программу по дерматоглифике вел В. Леманн (ФРГ). Советские специалисты по традиции занимались антропометрией и одонтологией. Они получили также ценный материал по дерматоглифике, любезно предоставленный в их распоряжение В. Леманном, который специально брал повторные отпечатки, поскольку

* О совместных советско-финляндских исследованиях см. также: «Сов. этнография», 1970, № 2; 1971, № 1; 1973, № 3; 1975, № 1.

на этот раз в числе советских участников экспедиции не было сотрудника, который посвятил бы себя этой части программы.

За несколько лет работ на территории Финляндии наряду с населением семи основных исторически сложившихся провинций страны была обследована группа населения в так называемой Перя-Похьола, на нижнем течении р. Торнио, куда в средние века шло переселение из юго-западной части Финляндии и Карелии. Анализ современного состава населения этого района представлял особый интерес, так же как работы в 1974 г. в районе Куусамо, где были обследованы три группы финнов. Эти данные имеют весьма важное значение не только для изучения этногенеза каких-либо конкретных групп на территории Финляндии, но также для решения более общих проблем финно-угроведения в целом. Советские специалисты получили возможность продолжить давно ведущиеся ими исследования финно-угорских народов на наиболее выдвинутом на запад участке ареала их обитания, выявить локальные различия процесса формирования этих народов, проверить подмеченные ранее общие закономерности.

Разумеется, финские антропологи, со своей стороны, проявили большой интерес к сотрудничеству с советскими коллегами, в частности к возможности провести исследования по принятой в Финляндии широкой биологической программе на территории Советского Союза. В 1970 г. советские и финские антропологи провели совместные исследования на территории СССР — в Марийской АССР (в Волжске, Звенигове, Козьмодемьянске). С советской стороны в работе участвовали Н. В. Шлыгина, А. А. Зубов, И. М. Золотарева, Н. И. Халдеева, А. Г. Козинцев, А. В. Шевченко, с финляндской — Х. Форсиус, А.-В. Эрикссон, П. Кайанойа и технические сотрудники. Исследование велось по принятой советско-финляндской группой стандартной программе. Изучение большого района по единому плану очень ценно с точки зрения сопоставимости полученных данных. В результате этой работы финские ученые существенно дополнили свои данные по этногенезу финноязычных народов и получили возможность провести детальное изучение характера биологической адаптации нового для них народа в своеобразных, отличных от Финляндии климатических условиях.

Следует отметить, что практические результаты всех совместных исследований очень быстро стали доступны для широкого круга специалистов. Был опубликован ряд статей в СССР, затем вышел на немецком языке в Хельсинки отдельный том, изданный Финской Академией наук, со статьями финских и советских исследователей (К. Ю. Марк, А. А. Зубова, Г. Л. Хит) ¹. Одновременно были изданы работа П. Кайанойа, возглавлявшего экспедицию 1967—1968 гг. ². Материалы Марийской экспедиции после обсуждения результатов исследований на специальном советско-финляндском симпозиуме в Москве были опубликованы в Финляндии и готовятся к печати в СССР ³.

Поскольку объединенные советско-финляндские исследования на протяжении нескольких лет оказались очень плодотворными, обе стороны считают, что их целесообразно продолжать на территории обеих стран. В настоящее время идет подготовка к проведению очередных совместных работ на территории Коми АССР.

Участники советско-финляндских экспедиций поддерживают постоянные контакты. Ведется переписка, организуются встречи. Одной из самых крупных и значительных встреч советских и финских антропологов был совместный симпозиум по этногенезу финно-угорских народов по антропологическим данным, проведенный в Москве осенью 1972 г. В симпозиуме приняли участие видные финские ученые, среди которых были как постоянные участники совместных советско-финских экспедиций (Х. Форсиус, А.-В. Эрикссон, П. Кайанойа), так и специалисты смежных профессий: генетик Х. Неванлинна, археолог К. Мейнандер. Симпозиум привлек большое число исследователей различного профиля — археологов, антропологов, этнографов. На этой встрече был подведен итог определенному периоду советско-финляндского сотрудничества, была показана целесообразность и продуктивность такого сотрудничества и необходимость его дальнейшего продолжения. Материалы симпозиума были опубликованы в Финляндии, а затем вышли отдельным сборником в СССР ⁴.

Успешным было также сотрудничество в области этнографии, хотя приняло оно другие формы. Основное место занял обмен специалистами.

Советские этнографы получили широкую возможность работы в фондах и фототеках музеев страны, в этнографических и фольклорных архивах. В музеях Хельсинки (в первую очередь в Кансаллисмусео), Турку, Тампере, Оулу и Йнари они знакомились с коллекциями по культуре и быту различных финно-угорских народов — финнов-суоми, саамов, води, ижоры, хантов, манси и др. Многие материалы музеев Финляндии, собранные в дореволюционный период, стали теперь уникальными. Особенно интересны материалы по финно-угорским народам, хранящиеся в архивах Финляндского литературного общества и Финно-угорского общества. Во время командировок

¹ «Annales Academiae Scientiarum. Fennicae», Series A. V — Medica, № 152, Helsinki, 1972.

² Там же, № 151.

³ «Studies in the Anthropology of the Finno-Ugrian peoples», «Archeological Institute of the University of Helsinki», № 7, Helsinki, 1973.

⁴ «Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии». М., 1974.

в Финляндию советские этнографы собрали очень разнообразные данные — от земледельческих орудий до музыкальных народных инструментов, а также сведения по старинным обрядам финноязычных народов, современному быту финляндских саамов и др.

Выезжавшие в Финляндию этнографы из Москвы, Таллина, Петрозаводска читали для специалистов и студентов доклады на различные темы — как по вопросам организации этнографической работы в Советском Союзе в целом и в отдельных республиках, так и на собственно этнографические темы: о современных этнических процессах у народов Европейской части СССР, культуре саамов Советского Союза, общественном строе обских угров и т. д.

Этнографы из Финляндии в свою очередь побывали в музеях и архивах, а также этнографических учреждениях Москвы, Ленинграда, Таллина, Тарту, Риги, Вильнюса, Якутска. Советские специалисты оказывали им широкую помощь научными консультациями по самым различным этнографическим темам как в области финно-угорской этнографии, так и по этнографии других народов Советского Союза, в первую очередь русского населения и народов Сибири.

Вопросы культурных взаимоотношений населения Финляндии с народами Советского Союза, и в первую очередь с восточнославянским населением, составляют важную научную проблему для финских специалистов. Восточно-славянским сектором Института этнографии АН СССР была завершена работа «Русский Север», которая в настоящий момент готовится к публикации в Хельсинки на финском языке.

Большое место в планах работ Института этнографии АН СССР (как и других этнографических учреждений нашей страны) занимает подготовка региональных этнографических атласов, в том числе и «Историко-этнографического атласа народов Прибалтики». В Финляндии работа по картографированию этнографических явлений начата уже давно и проводится в очень широких масштабах. Следует напомнить, что и Советский Союз, и Финляндия входят в число стран, работающих над «Этнологическим атласом Европы и сопредельных стран». Поскольку работа над «Атласом народов Прибалтики» уже завершается, возникла необходимость провести обмен мнениями о современных методах этнографического картографирования в обеих странах.

С этой целью весной 1974 г. в Хельсинки был проведен совместный советско-финляндский симпозиум по вопросам этнографического картографирования, на котором было заслушано 6 докладов ученых из Финляндии и 6 докладов специалистов из Москвы и республик Прибалтики. Материалы симпозиума будут опубликованы в Финляндии.

Подводя итоги, следует сказать, что основные темы совместных исследований и формы работы были правильно намечены при заключении соглашения между рабочими группами.

Сотрудничество в области антропологии и этнографии оказалось весьма полезным как для развития биологических, так и исторических наук, позволило укрепить контакты советских ученых с учеными Финляндии и других стран, расширить полезный обмен опытом, улучшить взаимопонимание.

Можно надеяться, что эта хорошая традиция будет развиваться.

А. А. Зубов, Н. В. Шлыгина

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОГО ТРАФАРЕТА

Декоративное искусство издавна является неотъемлемой чертой жизни японского народа. Все его виды в той или иной степени связаны с бытом, обрядами и обычаями японцев. Велика роль декоративно-прикладного искусства в одежде: как в простой, повседневной, так и в нарядной, праздничной. Орнамент, игравший большую роль в украшении материала, был тканым, вышитым или рисованным. Искусство окраски тканей в Японии имеет древнюю традицию. Известно много способов окраски, но наиболее важны три: 1) ручная роспись, 2) окрашивание путем зажимов или перевязи, 3) с помощью трафарета, набойки и батика. Последний способ был и остается до сих пор наиболее продуктивным в художественном отношении¹. Батику, трафарету и спо-

¹ Слово «батик» индоевропейского происхождения и означает метод производства узорных тканей при помощи горячего воска. Восковая техника была известна в Японии, но распространена далеко не так широко, как клеевая. Термин «батик» в мировой этнографической литературе приобрел широкое значение и может быть употреблен для описания всех этих сходных техник.

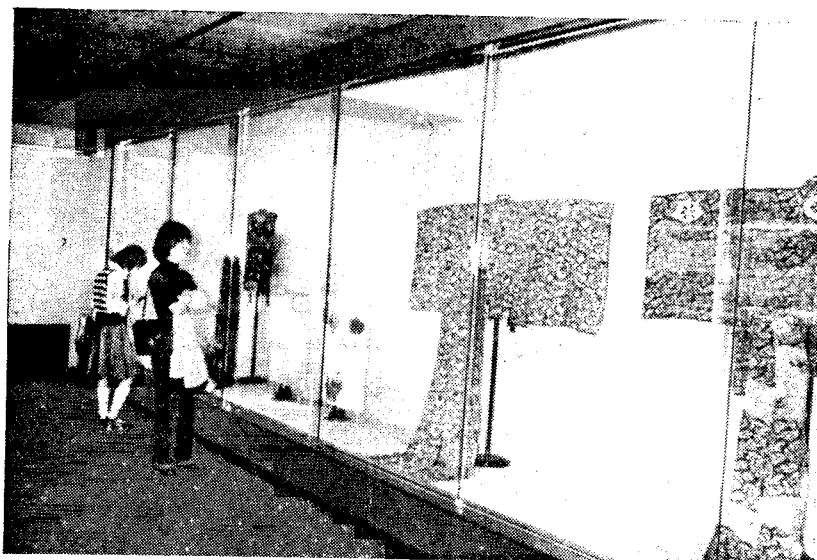


Рис. 1. На выставке японского трафарета в музее «Сантoри»



Рис. 2. Фрагмент ткани с трафаретным рисунком растительного характера

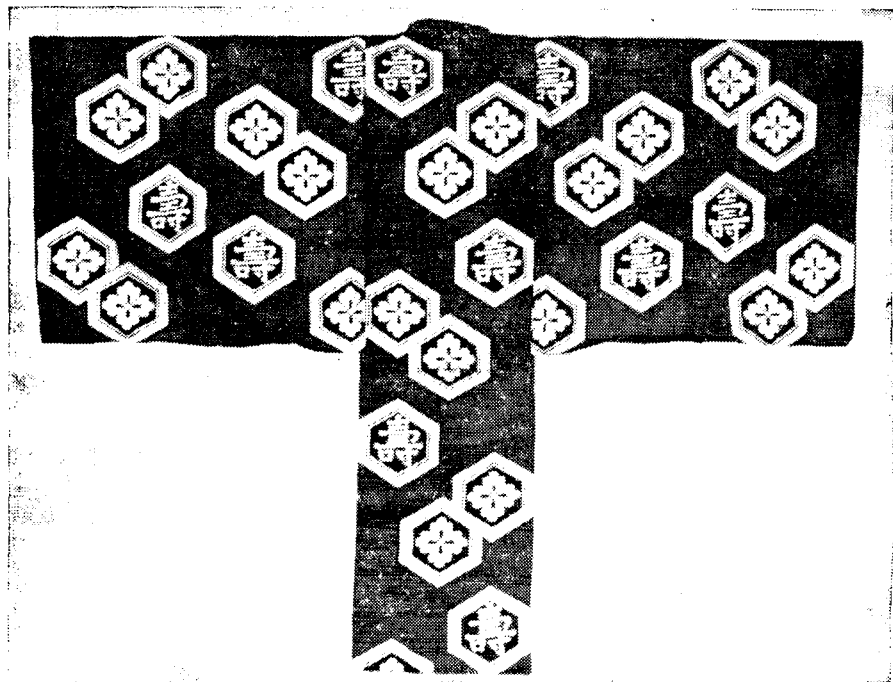


Рис. 3. Мужская национальная одежда (*хаори*) из ткани с трафаретным рисунком

собам окрашивания с их помощью была посвящена выставка в музее искусств «Сантори» в Токио².

При наиболее распространенной технике «нуриэмоно» (клеевого батика) трафарет для батикования вырезали на рисовой плотной бумаге специальным инструментом (*догухориёхамоно*). Его рабочая режущая часть делалась из металла в форме треугольника, круга или квадрата. Вырезанный из бумаги трафарет накладывался на ткань и поверх него наносили слой густого рисового клея. Подсохший клей защищал узорную часть материи от окрашивания. Узор в этом случае был того же цвета, что и неокрашенная ткань. Если же хотели получить цветной рисунок, на трафарет наносили не клей, а краску, при этом фон оставался неокрашенным.

Различные образцы тканей, выполненных указанными способами, были представлены в музейной экспозиции. Известна была в Японии также материя с набивным рисунком, напечатанным с деревянных досок. Узор при этом получался довольно крупный и слегка размытый.

Мелкий или средний рисунок (*комон*) можно было получить только с помощью трафаретов, вырезанных на рисовой бумаге. Среди экспонатов выставки — ширма, на створках которой воспроизведен полный технологический процесс окраски ткани с помощью трафарета. Здесь же представлены альбомы с образцами набойки периода Эдо (известного также как период Токугава, 1600—1868 гг.). В трафаретном декоре преобладают растительные мотивы: цветы, травы, ветви бамбука, вишни сакуры, сливы, иглы сосны, а также изображения птиц, бабочек, летучих мышей; реже встречаются бытовые предметы, например, сосуды для водки, сделанные из сушеной тыквы. Геометрический узор в чистом виде встречается редко. Принцип асимметрии, столь характерный для всего японского искусства, как бы отступает на второй план, что объясняется самой технологией производства. Наиболее распространенные цветовые сочетания — черное или синее с белым; многоцветная набивная ткань, выполненная с помощью трафаретов, встречается реже.

Интересно отметить, что трафарет использовался не только для нанесения рисунка на материю, но и для украшения керамики. На выставке были представлены фрагменты керамических тарелок и декоративные блюда, а также кожаный халат со знаками собственности феодала, выполненные с помощью трафарета. Однако в большинстве своем трафареты на рисовой бумаге служили для декорирования тканей.

² Музей искусств фирмы «Сантори» был основан в 1961 г. С 1975 г. имеет новый выставочный зал со специальным оборудованием, где в сентябре-октябре 1975 г. проходила выставка трафарета. Экспонатами явились предметы из фондов музея «Сантори», частных собраний, а также из коллекций Министерства культуры Японии.

Одни из самых ценных экспонатов выставки — наложники — часть доспеха самурая, сделанные из материала с трафаретным рисунком и накладных металлических щитков — пластинок. Датированные периодом Камакура (XII—XIV вв.) они были самыми древними в коллекции. Японские исследователи предполагают, что искусство трафарета, о котором упоминается в материалах времени Нара (VI—VIII вв.), первоначально удовлетворявшее вкусы самурайских семей, в период Муромати (XIV—XVI вв.) стало популярно в народе, так как позволяло развернуть массовое изготовление художественно окрашенных тканей³.

Старейшими центрами изготовления трафаретов и изделий, созданных с их помощью, были города Киото и Судзука. Считается, что в Судзука, расположенном в заливе Исэ, изготовление трафаретов на рисовой бумаге началось несколько раньше, чем в Киото. В отличие от киотских мастеров, изготавливавших и окрашивавших ткани с помощью трафаретов (при этом трафаретчики и красильщики работали и жили вместе), мастера в Исэ только вырезали трафареты, а купцы, поддерживаемые феодалами и специально созданными для этих целей акционерными обществами, широко торговали ими по всей Японии. Расцвета искусство трафарета в Исэ достигло в период Эдо, когда к власти на всей территории Японии пришел клан Токугава. Являясь своеобразным выражением духа времени, этот способ украшения тканей развился постепенно в особый вид искусства. Мужская и женская национальная одежда, как праздничная, так и повседневная (разнообразные типы кимоно: *косоде*, *нагасоде*, *фури-соде* и др.), представленные на выставке, убедительно свидетельствуют об этом.

³ Н. Сугихара, Музей Сантори. Трафарет Эдо, Токио, 1975 (на япон. яз.).

Н. М. Калашникова

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В июле 1975 г. в Белоруссии, в Восточном Полесье, продолжила работу этнолингвистическая экспедиция, организованная Институтом славяноведения и балканистики АН СССР совместно с филологическими факультетами Московского, Ленинградского и Гомельского университетов¹. В ней участвовали научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты — всего 29 человек. Руководил экспедицией Н. И. Толстой.

Работа велась четырьмя группами: две работали в Мозырском Полесье (дер. Жаховичи и Стрыгалово Мозырского р-на Гомельской обл., дер. Кочице Ельского р-на Гомельской обл.) и две — в Речицком Полесье (дер. Новинки и Золотуха Калинковичского р-на Гомельской обл., дер. Дубровица и Великий Бор Хойницкого р-на Гомельской обл.). Кроме того, участники экспедиции совершали походы в окрестные села, где также была получена ценная информация.

Перед экспедицией стояли следующие задачи: 1) проверка программ, составленных после полевых работ прошлого года; 2) сбор текстов; 3) уточнение вопросов краткой программы для предполагаемого

в будущем атласа духовной культуры полешуков Полесья.

Участники экспедиции располагали следующими тематическими вопросниками (в скобках указаны их авторы): по календарным обрядам — Егорьевская весенняя обрядность (А. Ф. Журавлев), Купальская обрядность (С. М. Толстая), жатвенная обрядность (О. А. Терновская), святки (Е. Евтушенко); по семейным обрядам — свадебный (А. В. Гура), родинный и крестинный (Р. А. Агеева, С. М. Толстая), погребальный (О. А. Седакова); по строительству, планировке и интерьеру жилища (Т. А. Тюрина), по животноводству (И. В. Хазанова), растительному миру (Д. А. Бейлина) и т. д.

Кроме того, некоторые члены экспедиции работали по программам, касающимся более частных вопросов этнографии: вода в обрядах и поверьях (Р. А. Агеева), метеорологические представления (Т. М. Судник), обряд вызывания дождя во время засухи (С. М. Толстая, Н. И. Толстой), обряды, связанные с прядением и ткачеством (Н. Г. Владимирская), демонология (А. Б. Страхов, Е. А. Соловьева). Было записано много быличек, заговоров. Фольклорист Ю. И. Смирнов записал более 200 текстов, песенных и прозаических, зафиксировал 64 эпических сюжета, которые

¹ Отчет о прошлогодней экспедиции см. «Сов. этнография», 1975, № 2.

можно считать общеславянскими. Л. Н. Виноградова собрала большой материал по колядным и другим обрядовым песням. Часть материалов записана на магнитofонную ленту.

Отмечена достаточно высокая сохранность некоторых традиционных обрядов, например, свадебного (дер. Кочише), проводов русалки (дер. Великий Бор), часть обычаев, ушедших из быта, хорошо запечатлелась в памяти полешуков старшего и среднего поколений.

Проведенные исследования обнаружили этнографическую неоднородность Полесья, причем выявились различия не только между Западным и Восточным Полесьем, но и внутри Восточного Полесья — между Речицким и Мозырским.

В Гомеле, перед выездом в поле, работал двухдневный семинар, на котором обсуждались программы и практические вопросы, связанные с обработкой фиксируемого материала.

Д. А. Бейлина

* * *

Летом 1975 г. кафедра русской литературы Горьковского государственного университета продолжала изучать фольклорную традицию в северных районах Горьковской области, примыкающих к Поветлужью. С 4 по 18 июля группа студентов (18 человек) под руководством К. Е. Кореповой работала в Шахунском районе. На территории нынешнего Шахунского района, который начал заселяться русскими в конце XVII в., столкнулись три переселенческих потока: с запада, с берегов Ветлуги, пришли «ветлугаи»; с юга и юго-запада — «уренцы», старообрядческое население из-под Уреня; с севера и с востока — «вятичи»: «юмаки» (выходцы из Юмской волости Глазовского уезда) и «кукары» (выходцы из слободы Кукарки Вятской губ.). Потомки переселенцев до сих пор сохранили отличия в говоре и в материальной культуре (например, в постройке жилого дома, планировке двора).

Изучение фольклорной традиции в этом районе показало, что репертуар необрядовых жанров в целом един у всех трех групп населения, но в обрядах и обрядовом фольклоре каждая группа сохранила свою специфику. Так, только среди переселенцев из Вятки бытовали подблюдные, или, по местной терминологии, «илейные»,

песни. Члены экспедиции в 6 населенных пунктах записали от «вятичей» 40 текстов подблюдных песен (34 сюжета), а также их напевы. Только у «вятичей» были зарегистрированы календарные обряды, связанные с уборкой урожая: обычай выставлять первый сноп Стриге, дожиночные обряды, а также обряды, связанные с первым выгоном скота, и формулы-заклипания, обращенные к Егорию.

Традиция причитания на свадьбе и на похоронах была широко распространена у всех трех групп населения. Похоронные причитания в живом бытовании сохранились здесь до сих пор. Свадебные причитания, как и всюду, ушли из быта еще в 30-е годы, но почти каждая женщина старше 60 лет помнит причитания, относящиеся к различным моментам свадебного обряда. Набор традиционных общих мест в причитаниях ветлугаев, «вятичей» и уренцев один, но напев причитаний у них разный. Различия в свадебном обряде экспедицией не были выявлены. Работа в этом направлении будет продолжена в следующем году.

Всего экспедиция обследовала 36 населенных пунктов Верховского, Хмелевицкого, Большие-Шировского, Черновского и Мартяхинского сельсоветов и записала 2893 текста (включая варианты), в том числе 1977 частушек. Они записаны в основном от людей среднего и пожилого возраста, а потому отражают репертуар довоенный, времен Великой Отечественной войны и послевоенный. Молодежь исполняет частушки неохотно, считая их исполнение признаком недостаточно высокой культуры. В материалах экспедиции 430 текстов песен (подблюдных, святошных — игровых, исполняемых на святочных «беседках», свадебных, хороводных, плясовых, лирических о любви и семейной жизни, литературных, романсов). Репертуар свадебных и хороводных песен значительно уже, чем в Поветлужье. Баллада, как и в районах Поветлужья, представлена сюжетами: «Сестра и братья-разбойники», «Муж жену губил», «Жена мужа повесила», «Жена мужа зарезала», «Ванька-ключник», а также рядом новейших баллад. Историческая песня встретила только одна — «Мать встречает дочь в татарском плену».

Экспедицией записано 19 сказок, 30 преданий, несколько быличек и устных рассказов-воспоминаний — всего 54 произведения устной прозы. Местный сказочный

репертуар тот же, что и в Поветлужье, популярны сюжеты *61 II, *154 I, *161, *162, 170, *171, 327C, 450, 480*В, 670, 780, 955 по системе Аарне — Андреева. Сказочная традиция в районе затухает. Сказочников с большим репертуаром (более 10 сказок) не выявлено. Предания помнят хорошо, особенно пожилые мужчины. Преобладают предания о разбойниках, топонимические предания, связанные с природными условиями, о первопоселенцах, предания-былички о кладях.

Записано 130 произведений малых жанров (пословицы, поговорки, загадки), 89 текстов детского фольклора; сделаны описания свадебных календарных обрядов, гаданий (28). Записано 61 причитание (45 свадебных, 13 похоронных, 3 бытовых). Напевы ряда произведений зафиксированы на магнитофонной ленте. Все материалы хранятся в фольклорном архиве кафедры русской литературы Горьковского государственного университета.

К. Е. Корепова

* * *

С 30 июня по 20 августа 1975 г. в зоне строительства Томского нефтехимического комплекса работал этнографический отряд Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева. В задачи отряда входил сбор этнографического материала среди русского населения деревень, расположенных в зоне строительства и примыкающих к ней. В составе отряда под руководством П. Е. Бардиной работали студенты II курса исторического факультета Томского государственного университета.

В ходе работы было обследовано восемь населенных пунктов: села Кузовлево, Копылово, деревни Кудрово, Киргизка, Конино, Реженка, Постниково, пос. Штамово Томского района Томской области. Почти все они, за исключением пос. Штамово, — старые русские селения, основанные в XVII—XVIII вв. Эти деревни, как правило, невелики по размерам и расположены недалеко от города. Их близость к городу во многом определила направление развития хозяйства и занятий населения. В прошлом здесь заготавливали дрова для города и сырье для спичечной фабрики, выращивали овощи на продажу.

Этнографический материал собирался по программам и вопросам, разработанным для русского населения. Наиболее полные сведения получены по теме «Жилище и хозяйственные постройки русского населения конца XIX — первой половины XX в.». Изучены строительные приемы, материалы, из которых сооружены жилища, выделены основные типы планировок, прослежены изменения традиционной внутренней планировки жилищ в указанный период и сохранение ее некоторых черт до настоящего времени. Жилищ, построенных ранее XIX в., в обследуемом районе не обнаружено.

Во время экспедиции собирались сведения и по другим разделам материальной культуры: одежде, пище, утвари; а также о занятиях и хозяйстве русского населения в прошлом и настоящем; о национальном составе и истории селений. Но собранный материал не позволяет полностью охарактеризовать традиционные виды одежды, пищи и утвари, что объясняется плохой его сохранностью в связи с влиянием города. Для получения сведений о национальном составе населения, времени постройки домов и хозяйственных помещений, были использованы данные похозяйственных книг сельских советов.

Участники экспедиции сделали описания и рисунки жилищ, предметов утвари, некоторых видов одежды, а также чертежи кроя. Зарисованы орнаменты наличников и карнизов домов, русские печи, способы соединения бревен в заплотах и покрытия крыш тесом и др. Большинство исследуемых объектов заснято на фотопленку. Кроме того, составлено около 50 планов усадеб и внутренней планировки жилищ.

Все материалы сданы на хранение в Музей археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева.

П. Е. Бардина

* * *

В июле — августе 1975 г., работая в составе Среднеазиатской экспедиции Института этнографии АН СССР (начальник экспедиции — Б. Х. Кармышева), я вел полевые исследования в Меркенском, Чуйском и Мойынкумском районах Джамбульской области Казахской ССР.

Одной из главных задач экспедиции был сбор полевых материалов для Историко-

этнографического атласа Средней Азии и Казахстана по теме «Основные типы скотоводческого хозяйства у казахов конца XIX—начала XX в.», а также по другим темам атласа, связанным со скотоводством и с земледелием. Наряду с этим велись полевые исследования по проблеме общинных отношений у казахов во второй половине XIX—начале XX в. и собирался материал по современности, главным образом по духовной культуре казахского народа.

Собранный во время полевых работ материал свидетельствует о том, что в северной части области (Мойынкумский район) с песчаными почвами казахи в конце XIX—начале XX в. занимались главным образом кочевым скотоводством (исключение составляла лишь узкая прибрежная полоса вдоль реки Чу, где было возможно земледелие). Для скотоводческих хозяйств кочевого типа было характерно круглогодичное содержание скота на подножном корму. Зимой казахи-кочевники пасли скот в песках Мойынкум, где не было снега. На лето кочевые хозяйства уходили со стадами далеко на север, пересекая безводную пустыню Бетпак-Дала. Их летние пастбища находились в просторных степях северного Казахстана, богатых травой и источниками.

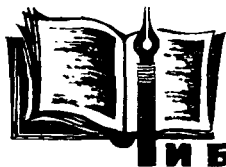
У казахов южных районов (Меркенский

и Чуйский) области издавна преобладали хозяйства полукошевого типа. Для них было характерно сочетание скотоводства и орошаемого земледелия, которое стало возможным здесь благодаря наличию достаточного количества водных ресурсов (реки Чу и Талас, горные речки и ручейки, стекающие с северных склонов Киргизского Алатау). В этих районах бытовали также хозяйства оседлого типа, в основном с орошаемым земледелием.

Даже беглый анализ полевых материалов убедительно показывает, что общинные отношения у казахов в значительной степени связаны с типом хозяйства (кочевое, полукошевое, оседлое). Для казахов-кочевников второй половины XIX—начала XX в. была характерна кочевая община, основанная на семейно-родственных отношениях. У полукошевых казахов, занимавшихся земледелием, наряду с семейно-родственными связями появились черты, свойственные соседской общине, а у оседлых хозяйств соседские связи становились господствующими.

Отметим также, что во время экспедиции нам удалось записать легенду о происхождении Чингисхана, почти во всех деталях сходную с аналогичной легендой, записанной в свое время Г. Н. Потаниным.

В. П. Курылев



ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

П. И. Пучков. Современная география религий М., 1975, 184 стр.

Атеизм является общей тенденцией наших дней. Но религии проявляют живучесть, приспосабливаются к новым условиям; во многих странах мира они оказывают заметное влияние на жизнь людей. Поэтому очень важно знать, какие религии и секты существуют в настоящее время, как они распространены по разным частям света, как выглядит конфессиональная структура населения каждой отдельно взятой страны. Книга П. И. Пучкова «Современная география религий» дает читателю ответ на эти вопросы. Она состоит из двух частей: в первой дается характеристика основных религий, отдельных религиозных направлений и сект; во второй — прослеживается распространение этих религий на земном шаре и указывается число их последователей (на планете в целом и в каждой из стран в отдельности).

Во «Введении» автор отмечает, насколько велико влияние религии на общественно-политическую жизнь многих народов. Известно, что в буржуазных странах некоторые политические партии и общественные организации теснейшим образом связаны с религиозными учреждениями. Политические позиции отдельных групп населения нередко определяются в первую очередь их религиозной принадлежностью. Известный отпечаток религия накладывает и на семейную жизнь людей, их материальную и духовную культуру. Оценивая общий характер этого влияния и роль религии в капиталистическом мире, автор справедливо пишет: «Как правило, религия и ее организации способствуют консервации устаревших общественных отношений, закреплению утвердившихся в обществе форм эксплуатации, служат орудием борьбы против прогрессивных идей и движений. В капиталистическом обществе религиозные организации (церковь и другие) тесно связаны с господствующими классами, с капиталом, и это определяет их позицию в важнейших вопросах современности, их защиту капиталистических порядков и вражду к социализму и коммунизму» (стр. 4).

В первой главе «Некоторые сведения по истории религии и атеизма» рассматривается вопрос о времени возникновения религии, характеризуются ее ранние формы и элементы (тотемизм, анимизм, фетишизм, шаманизм, магия и др.), прослеживается история таких религий классового общества, как иудаизм, зороастризм, индуизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм, а также история трех так называемых «мировых» религий — буддизма, христианства, ислама — и их распространение из центров формирования по земному шару. Здесь же ставится очень важный вопрос о сущности любой религии. В последнее время в научных кругах снова возникают споры о том, что считать главным, определяющим признаком религии, что составляет ее сущность. Автор в данном вопросе стоит на тех же позициях, что и подавляющее большинство советских ученых. Он считает, что «несмотря на существенные изменения, происшедшие в религии при переходе от доклассового общества к обществу классовому, сущность ее осталась прежней — вера в сверхъестественное» (стр. 16). Остается выразить сожаление, что небольшой объем книги не позволил автору остановиться на всех затронутых вопросах более обстоятельно.

В разделе «Развитие атеистических идей» дается краткая история развития атеизма начиная с атеизма Древнего мира и кончая марксистским атеизмом. Здесь подчеркивается, что церковь на протяжении почти всей своей истории жестоко преследовала атеистов; многие из них за свое стремление к истине поплатились жизнью. Высшей и принципиально новой формой атеизма, как справедливо отмечается в работе, является марксистско-ленинский атеизм. Он вскрыл социальные корни религии и ее социальную роль, наметил пути ее преодоления. Излагая учение В. И. Ленина о социальных корнях религии, автор пишет: «Социальные корни религии заключаются, как отмечал В. И. Ленин, в социальной придавленности трудящихся масс» (стр. 35). Вероятно, здесь стоило уточнить, что в данном случае В. И. Ленин имел в виду социальные корни религии в классовом обществе; применительно к первобытности он видел эти

корни в «бессилии дикаря в борьбе с природой» (о чем говорится в книге на стр. 10).

Вторая глава, «Важнейшие религиозные направления современного мира», знакомит читателя с основными из существующих ныне религиозных систем. В число основных не входят, конечно, верования доклассовых обществ (тотемизм, культ предков и др.), хотя они и сохраняются в ряде районов Австралии, Океании, Азии, Африки, Америки. Речь идет прежде всего о трех так называемых «мировых» религиях, а также о других религиях классовых обществ. Что касается «мировых» религий, которым отведено значительное место (стр. 49—81), то читатель найдет здесь достаточно полные сведения о буддизме и двух основных его направлениях — хиньяне и махаяне, об ответвлении махаяны — ламаизме и о ряде буддистских сект; о христианстве и трех основных его направлениях — православии, католицизме и протестантизме, о централизованной организации католической церкви, о множестве течений и сект в рамках православной и протестантской церкви; об исламе и его основных направлениях — суннизме и шиизме, о различных толках и сектах в каждом из них.

В главе дается также краткая характеристика таких религий, как иудаизм, зороастризм, индуизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм и др. (стр. 38—48). Попутно хочется отметить, что термин «локально-ограниченные религии классовых обществ», который предлагает автор для их обозначения (стр. 21), представляется нам не вполне удачным. Упомянутые религии были связаны прежде всего с определенными этническими общностями, а термин «локально-ограниченные религии» выдвигает на первый план географический критерий. Однако следует признать вполне обоснованными критические замечания автора в адрес традиционной терминологии (часто эти религии называются в литературе «национальными» или «национально-государственными»).

В разделе «Численность и размещение последователей различных конфессий» автор справедливо отмечает, что точно определить численность приверженцев любой религии практически невозможно, и указывает причины этого: лишь в немногих странах ведется официальный статистический учет конфессиональной принадлежности населения; церковные организации, самостоятельно учитывающие численность своих членов, часто дают завышенные цифры. К тому же не учитывается такое явление, как существующая в некоторых регионах поликонфессиональность; в результате один верующий одновременно учитывается два, а иногда и три раза, если он сразу исповедует две или три религии (что нередко бывает, например, в Японии). Наконец, само понятие «верующий» трактуется подчас чрезмерно широко. Поэтому подсчеты весьма приблизительны. «Достаточно сказать», — пишет автор, — что разные исследователи определяют число последователей буддийской религии от 150 млн. до 500 млн. человек» (стр. 82). Но других, более точных, данных нет. А по неточным и явно завышенным данным на 1972 г. христиан в мире насчитывалось 1024 млн., мусульман — 529 млн., индуистов — 478 млн., конфуцианцев — 305 млн., буддистов — 268 млн., синтоистов — 60 млн., даосистов — 52 млн., иудеев — 14 млн. Христиане сосредоточены в основном в Европе и Америке; мусульмане — в Азии и Африке; буддисты, индуисты, конфуцианцы, синтоисты, даосисты — в Азии; иудеисты — в Америке, Европе и Азии.

Главы III—VI посвящены характеристике конфессиональной структуры населения Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании, Советского Союза. В указанных главах на немногих страницах сконцентрирован большой, ценный и чрезвычайно интересный материал о распространении основных религий по частям света и отдельным странам, о численности приверженцев этих религий. Очень важно, что данные о религиозном составе населения каждого региона автор увязывает с данными об его этническом составе. Мы бы только несколько изменили порядок глав и начали ее не с Зарубежной Европы, а с Зарубежной Азии, которая сыграла в мировой истории роль главного поставщика религий. «Азия», — пишет П. П. Пучков, — часть света, где возникли все ныне существующие более или менее крупные религии: иудаизм, зороастризм, индуизм, джайнизм, буддизм, даосизм, конфуцианство, христианство, синтоизм, ислам, сикхизм» (стр. 105).

В специальном разделе рассматривается религиозная ситуация в социалистических странах Восточной Европы (стр. 99—104). Эта ситуация в каждой стране имеет свою специфику, но всюду ее отличает одна общая характерная черта — рост атеизма, неуклонное уменьшение числа верующих. Ценным дополнением к материалам ряда глав являются составленные автором карты, на которых отражена религиозная структура населения указанных регионов (кроме Советского Союза и других социалистических стран). Для СССР и других стран социализма, как справедливо отмечает автор, детальный картографический показ религиозной структуры населения не представил бы интереса, так как роль религии здесь незначительна (стр. 5). К тому же составить такую карту, например для Советского Союза, весьма трудно: у нас последовательно осуществляется закон о свободе совести, и статистический учет религиозной принадлежности населения не ведется. К сожалению, автор книги был лишен возможности показать на своих картах распространение в мире атеизма: во многих странах официальная статистика не сообщает сведений о неверующем населении, а там, где эти данные публикуются, они часто не дают представления об истинном положении дел — в буржуазных странах атеисты не всегда решаются открыто заявить о своих убеждениях.

Последняя глава, «Религия и этнос», посвящена сложному и малоизученному вопросу о соотношении религиозной и этнической общностей. Автор отмечает, что в на-

стоящее время многие этносы разнородны по своему религиозному составу, однако в прошлом (в доклассовом и раннеклассовом обществах) этносы нередко совпадали с религиозными общностями. Далее показывается, как в последующие эпохи это совпадение исчезало, как распространялись так называемые «мировые» религии. Любопытны приведенные автором данные о соотношении у людей религиозного и этнического самосознания: первое может, например, преобладать в семейно-бытовой сфере, второе — в политической. Здесь же рассматривается проблема этнообразующей роли религиозного фактора. В заключение автор ставит вопрос о судьбе религии и приходит к выводу, что «влияние религии падает во всех уголках нашей планеты» (стр. 181).

Книга П. И. Пучкова «Современная география религий» написана хорошим языком, с глубоким знанием дела, содержит ценный фактический материал и интересные выводы. Книга, несомненно, явится полезным справочным пособием для пропагандистов научного атеизма, а также для широкого круга читателей.

М. С. Бутинова

НАРОДЫ СССР

СОВРЕМЕННОСТЬ ГЛАЗАМИ ЭТНОГРАФА

(о книге В. Ю. Крупянской, О. Р. Будины, Н. С. Полищук, Н. В. Юхневой «Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила (1917—1970)». М., 1974, 315 стр.

Дискуссия о том, что такое этнография современности, будет более эффективна если учитывать опыт уже завершенных исследований. Ответ на многие злободневные вопросы читатель найдет в недавно опубликованной книге четырех авторов — В. Ю. Крупянской, О. Р. Будины, Н. С. Полищук и Н. В. Юхневой «Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила (1917—1970)». Монография позволяет представить, какие аспекты культуры и быта урбанизированных народов являются предметом непосредственного изучения этнографов, при рассмотрении каких сюжетов целесообразно использовать данные родственных наук — истории, социологии, искусствоведения, в каких случаях для углубления исследования необходимо применение социологических и количественных методов для выяснения целостной картины жизни народа.

Книга аккумулирует последние достижения этнографической науки в этой области. Сразу нужно сказать — эта работа выходит за рамки обычных этнографических исследований. Авторы ставят широкую задачу «...проследить те изменения, которые произошли в наиболее существенных областях быта рабочих за годы Советской власти и выявить при этом характерные культурно-бытовые особенности, свойственные определенным этапам развития нашего общества» (стр. 3).

Предметом изучения, таким образом, явились не только национально-особенные черты культуры, но и в целом культура, функционирующая на бытовом уровне.

Уже цели работы и подход к пониманию предмета исследования приближают книгу к работам социологического характера широкого профиля. Значительное внимание авторы уделяют и методологическим вопросам.

В интересном и многообещающем введении выделены основные методологические приемы исследования. При этом высказаны общие соображения об эффективности различных методов познания, в частности сравнительно-исторического, функционального, системного. Продуктивной представляется идея авторов рассмотреть изменения на конкретном объекте через определенный исторический период. Для более детального исследования выделяются временные «срезы» — в книге особое внимание уделено первому послереволюционному десятилетию и современному периоду, связанному с научно-технической революцией.

Трудно согласиться лишь с тем, что в монографии этот метод изучения через временные срезы назван синхронным. Синхронный метод обычно предполагает изучение событий или явлений, происходящих примерно в одно и то же время, но в разных местах.

Сосредоточение внимания на социальных и бытовых проблемах (стр. 4) трактуется как изменение объекта исследования, но в качестве объекта исследования здесь все время выступают рабочие Тагила и, следовательно, речь идет не об объектах, а о предмете изучения. Однако не в этом главное. В целом серьезное внимание к методологии исследования составляет, несомненно, достоинство книги.

К достижениям авторского коллектива надо отнести последовательное стремление реализовать теоретические положения в изложении конкретного материала. Важно подчеркнуть, что рецензируемая книга является второй частью двухтомной монографии,

задуманной и выполненной по единому плану. Первая часть, вышедшая в 1971 г.¹, давала содержательную характеристику формирования уральских рабочих на демидовских заводах XVIII—XIX вв. и особенностей их культурно-бытового развития в XIX — начале XX в. (до Великой Октябрьской социалистической революции). В связи с этим процессы, ставшие предметом исследования во второй книге этого двухтомного издания, воспринимаются читателем в совершенно определенной исторической перспективе. Однако характерная черта избранного авторами метода исследования не только в сопоставлении современности с прошлым. Авторы стремятся не следовать за определенными событиями, как это обычно практикуется в исторических исследованиях, а анализировать определенные пласты быта и культуры, которые развиваются в зависимости от социально-экономических и политических факторов, но имеют свои особенности и свое хронологическое членение. «В отличие от исторических исследований,— пишут авторы,— в этнографических не нужны и невозможны последовательные в хронологическом смысле описания. Так, например, если изучаются определенные аспекты материальной культуры населения, то в конечном счете важен вопрос не о том, когда был построен тот или иной конкретный дом (хотя это и приходится выяснять в процессе изучения) или шито именно это платье, а когда тот или иной тип жилища или одежды получил массовое распространение, стал составной частью культуры, т. е. традиции» (стр. 3, 4). Подобный подход осуществляется в разделах, посвященных производственной и общественной жизни, семье, материальному быту и духовной культуре. К сожалению, в первой главе, «Промышленное и культурное развитие Нижнего Тагила за годы Советской власти», использованы недостаточно четкие хронологические рубежи (данные приведены то на 1964, то на 1965, 1970 гг., см. стр. 9, 10, 12). Наиболее удачно в этой главе социально-демографическое описание объекта.

Отчетливо прослеживается стремление авторов изучить культуру и быт рабочих Нижнего Тагила как целостную систему. Производственный, общественный и семейный быт со всеми их элементами повсюду рассматриваются на фоне социально-политических изменений в стране. Многосторонность исследования — одна из характернейших черт рецензируемой работы.

Мы пользуемся случаем высказать мнение о специфике всестороннего, говоря осторожнее, многостороннего и комплексного подхода при изучении явлений. Всесторонность исследования, например культуры и быта, обязывает включить в предмет изучения все их собственные элементы, тогда как изучение явлений экономического, политического и т. п. порядка, которые определяют развитие культуры и быта, но не входят непосредственно в их систему, не является обязательным. Поэтому и в данной работе совершенствование общественно-политической системы, изменения социальной структуры рабочих, рост экономики рассматриваются как основа тех перемен, которые происходят в культурно-бытовой жизни рабочих. Но сами по себе они непосредственно не изучаются этнографами. Используются знания о них, накопленные специальными науками. В этом, на наш взгляд, одно из отличий этнографических исследований от этносоциологических, в которые явления экономические, социальные, психологические в жизни народов входят как непосредственный предмет изучения. Каждое из этих явлений должно рассматриваться во взаимной связи со всеми другими; изучается и сам механизм этой взаимосвязи, что и обеспечивает комплексность исследования.

Авторы рецензируемой книги хорошо знают исследования историков, социологов, демографов, посвященные объекту изучения, и умело включили их результаты в канву монографии. Особенно удачно используются специальные социологические исследования, проведенные в Нижнем Тагиле².

Вместе с тем нередко в книге мы встречаем такие сюжеты, где авторы не имели возможности опереться на необходимые обобщения и вынуждены были, по уже сложившейся в этнографии традиции, сами браться за исследование «белых пятен» в «чужих» областях для выявления полной картины культурной жизни. Так, большую поистине исследовательскую работу по обобщению материала в смежных с этнографией зонах изучения провела Н. С. Полищук при написании главы «Культурная жизнь». Основными источниками для исследования культурной жизни послужили пресса, воспоминания, архивные материалы. Здесь этнограф работал и за историка, и за искусствоведа, и за литературоведа. Но наиболее ярко написан в этой главе раздел об устно-поэтическом репертуаре.

Такую же работу за представителей смежных дисциплин проделала в известной мере и Н. В. Юхнева в историко-социологическом исследовании производственной жизни рабочих. Глава эта, несомненно, интересная, полнокровная, так и хочется сказать «выстраданная» автором. Действительно, Н. В. Юхнева прилагает все силы и весь свой профессиональный опыт, для того чтобы отстоять мнение о том, что производственная жизнь подлежит изучению этнографами. (Почему-то во введении к главе она назы-

¹ В. Ю. Крупянская, Н. С. Полищук, Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX — начало XX в.), М., 1971.

² М. Н. Руткевич, Ф. Р. Филиппов, Социальные перемещения, М., 1970; «Человек, труд, быт», «Уч. записки Свердловского гос. пед. ин-та», 1970; «Проблема общего образования трудящихся промышленных предприятий Урала», Свердловск, 1969.

вает производственную жизнь объектом, а не аспектом изучения, хотя объектом, конечно, выступают нижнетагильские рабочие.) Автор констатирует, что включение производственной жизни в сферу этнографического исследования — вопрос дискуссионный. Отстаивая свою позицию, Н. В. Юхнева приводит следующую систему доказательств: 1) производственная жизнь — необъемлемая часть образа жизни рабочих; 2) она влияет на все проведение нерабочего времени; 3) в ней сохраняется различие между большими группами людей, отличающихся по профессии; 4) производственный быт рабочих разных народов имеет свои особенности, которые дополняют этническую характеристику народов. Подчеркнем, что Н. В. Юхнева дала четкие операциональные определения всем использованным понятиям, показав пример не только этнографам, но, пожалуй, и многим специалистам, которые считают себя этносоциологами. Однако попробуем разобратся в этом дискуссионном вопросе.

Бесспорно, производственная сфера — существеннейшая часть образа жизни. Но что в ней является предметом изучения этнографов? Автор понимает под производственной жизнью «...совокупность условий, которые создаются на производстве определенной материальной средой и взаимоотношениями людей между собой, а также отражение того и другого в сознании. Таким образом, производственная жизнь — это, во-первых, материальная сторона труда: орудия труда, способы работы, бытовые условия труда (производственная среда, одежда, питание во время работы и т. п.). Это, во-вторых, взаимоотношения между людьми в процессе производства, т. е. обстоятельства, характеризующие труд как социальное явление... И наконец, в-третьих, к производственной жизни относятся элементы духовной культуры: профессиональные обычаи, традиции, производственный фольклор, система ценностей, связанных с производственным статусом» (стр. 30). Что касается первого, то автор согласен с тем, что в условиях современного урбанизированного общества элементы материальной стороны труда все более переходят в компетенцию других наук. Этнографы, по мнению Н. В. Юхневой, должны изучать отношение рабочих к новой технике, процесс физиологической и психологической адаптации к условиям труда (стр. 30). Отношения людей на производстве — чисто социологическая проблематика и в ней могут быть выделены лишь некоторые этнические аспекты (например, между мастером и рабочим в производственном коллективе узбеков может быть больше внешней уважительности, чем, например, в коллективах украинцев, литовцев или других, т. е. речь может идти лишь о какой-то этнической окраске поведения). Но то же самое изучают социологи и психологи. Конечно, не стоит жестко делить, кто чем призван заниматься. Этнографы вынуждены нередко охватывать широкий круг проблем, если нет специальных исследований, которыми они могут пользоваться. Но все же у этнографов может быть собственный угол зрения или свой подход к изучению этих явлений. Видимо, на этом стоило бы заострить внимание.

Если *всесторонне* изучать отношение рабочих к технике, адаптацию их к условиям труда, наконец «взаимоотношения между людьми в процессе производства» (второй компонент производственной жизни, выделенный автором), то входит ли это в культуру, функционирующую на бытовом уровне, что авторы считают предметом этнографических исследований? Что касается третьего компонента производственной жизни — производственных обычаев, традиций, производственного фольклора, то они действительно ждут этнографического изучения. Кроме того, и некоторые другие стороны производственной жизни еще требуют внимания этнографов — этнические аспекты профессиональной ориентации, место производственных интересов, профессиональных ценностей в образе жизни разных народов. В данной монографии такое изучение осуществить было трудно — 88% населения Нижнего Тагила — русские. Но в принципе этнический аспект производственной жизни должен быть шире изучен, ибо он очень важен в практике социального управления.

Традиционно характеристику быта этнографы дают через такой социальный институт, как семья. Для главы, посвященной этому сюжету, характерно стремление учесть все новое, что появилось в этнографии, демографии и социологии о семье. Но этнографический угол зрения, почерк профессионала-этнографа здесь выступают со всей очевидностью. Например, структура семьи изучается и демографами, и социологами, и этнографами, но сам подход к дифференциации семей в рецензируемой книге характерно этнографический — выделяются семьи старожилов, вновь прибывших и смешанные семьи, состоящие из старожилов и вновь прибывших. Используются различные источники — и статистика, и анкеты, которые дают общую картину. При этом особое внимание уделяется этнографическим наблюдениям, записям бесед в семьях.

Социологи поставили проблему социального состава семьи — этнограф ее также рассматривает, но главное внимание его направлено на изучение главенства в семье, семейно-родственных связей, хозяйственно-бытового уклада.

Семейная обрядность и культурный облик семей рассмотрены автором этой главы В. Ю. Крюпанской в традициях лучших этнографических исследований. В главе много интересных наблюдений, например о влиянии пятидневной рабочей недели на проведение свободного времени, о распределении обязанностей в семьях молодых и пожилых рабочих, в семьях, члены которых работают в разные смены. Этнограф подметил важное и достоверное. К сожалению, остается все-таки невыясненным, насколько то или иное названное выше явление распространено в тех или иных слоях рабочих. В целом же в главе о семье, видимо, найдено оптимальное сочетание профессионально-этнографического изучения с использованием достижений других наук, при котором

этнограф не подменяет собой специалистов других дисциплин, а в совершенстве выполняет присущую ему работу.

В историко-этнографическом аспекте написана и глава об общественном быте. Названа глава значительно шире «Общественная жизнь»; с этим трудно согласиться. Последнее понятие более широкое, оно охватывает много политических вопросов, не входящих в предмет этнографического рассмотрения культуры и быта.

Итак, перед нами интересное исследование, которое привлечет внимание не только этнографов, но и историков и социологов. Исследование многоаспектное, написанное на высоком профессиональном уровне, отражающее современную жизнь. Вместе с тем оно показывает возможности этнографической науки в изучении современности. Как и всякое серьезное исследование, рецензируемая работа позволяет не только делать выводы, но и ставит новые проблемы.

Монография еще раз показывает, что этнографы не ограничиваются традиционными сюжетами при изучении современной культуры народов. Они стремятся рассмотреть все реально функционирующие элементы культуры на уровне повседневного поведения людей. Поэтому в этнографии все шире применяются методы конкретно-социологических исследований и математические методы. Однако использование таких методов не делает этнографические исследования этносоциологическими, ибо различается прежде всего предмет исследования, конкретная методология. И по-прежнему остается актуальным вопрос, как лучше сочетать этнографические и социологические методы, как лучше распределить силы, специалистов для целостного изучения не только культурно-бытовой жизни народов, но и этнических процессов в современных условиях.

Л. М. Дробижева

К. Ш. Шаниязов. К этнической истории узбекского народа (историко-этнографическое исследование на материалах кипчакского компонента). Ташкент, 1974, 341 стр.

Исследование формирования социалистических наций СССР не может быть полноценным без обстоятельного изучения этнической истории тех народностей, на основе которых сложились сами социалистические нации. Это в особенности относится к социалистическим нациям Средней Азии, в том числе узбекской, поскольку этническая история образовавших их народностей была очень сложной.

Однако научное значение рецензируемого труда состоит не только в том, что в нем досконально исследован один из весьма существенных компонентов узбекской народности. В книге К. Ш. Шаниязова рассматривается одна из тех проблем, которые всегда привлекали внимание исследователей истории и этнографии тюркоязычных народов, а именно кипчакская проблема. От ее решения зависит правильное освещение этногенеза и этнической истории многих народов Средней Азии и Казахстана, а также Приуралья, Северного Кавказа, Южной Сибири. Средневековые кипчаки сыграли важную роль как в формировании самих тюркоязычных народностей, так и их языков и культур. Поэтому исследование кипчакской проблемы в историко-этнографическом аспекте представляет большой интерес и для тюркологии в целом, и для этнографии нашей страны, и для истории народов СССР.

И хотя К. Ш. Шаниязов ограничивает цель своего труда исследованием отдельных моментов этнической истории узбекского народа, относящихся к участию в его этногенезе средневековых кипчаков (стр. 13), рамки его научных поисков значительно шире, они охватывают разные стороны всего того комплекса исторических, социально-политических и этнических вопросов, которые связаны с кипчакским этносом в целом. Принципиально важным представляется изучение автором названного комплекса в свете этнической истории многих других тюркоязычных народов.

Книга убедительно подтверждает также большую ценность полевых этнографических материалов о существовавших в сравнительно недавнем прошлом родо-племенных делениях, их генеалогиях, этнонимии и т. п. Несмотря на очевидную необходимость привлечения в качестве одного из историко-этнографических источников такого рода данных, еще сохранившихся в памяти старшего поколения, в последнее время среди некоторых исследователей (главным образом историков) получило известное распространение ничем не обоснованное скептическое, а иногда открыто негативное отношение к этому виду источников. Книга К. Ш. Шаниязова, в которой широко использованы соответствующие данные по узбекам и другим тюркоязычным народам, показывает несостоятельность этой точки зрения.

С задачей выявления «историко-культурных и этнических связей одной из многочисленных реликтовых этнографических групп населения дореволюционного Узбекистана — кипчаков с племенами и народами Средней Азии, Казахстана, Сибири и других соседних регионов» (стр. 13), как и с этнографическим описанием зарафшанской и ферганской групп кипчаков автор успешно справился. Этому в значительной мере способствовала логичность структуры самой книги, включающей три основные части: исторические сведения о кипчаках, данные о кипчаках в составе узбеков (XIX — начало XX в.) и этнографический очерк (хозяйство, материальная культура, общественные и

семейные отношения). Книга состоит из пяти глав, которым предпосланы вступление «От редактора» (Т. А. Жданко) и «Введение». В конце книги дано «Заключение».

Глава первая «Исторические сведения о кипчаках» занимает в книге важное место. Она по существу представляет единое целое с очень содержательным «Введением», в котором автор приводит свидетельства различных источников о происхождении кипчаков, об их языке, относящихся к ним этнонимах и др. Для освещения большого круга затрагиваемых в этих разделах вопросов К. Ш. Шаниязов привлекает обширную литературу, а также сведения, содержащиеся в древних и средневековых письменных источниках, древнетюркских рунических памятниках, восточных и западноевропейских сочинениях, русских летописях, археологические, лингвистические и антропологические данные.

Автор не только обстоятельно анализирует и обобщает уже введенные в научный оборот разнообразные материалы, необходимые для воссоздания истории кипчацкого этноса, но также использует малоизвестные, а частично и новые для науки данные. Он характеризует расселение и передвижение кипчаков с древности до середины XI в., сообщает сведения о кипчаках-половцах в причерноморских степях и на Северном Кавказе (вторая половина XI — начало XIII в.), о присырдарьинских кипчаках (X — начало XIII в.), рассматривает историю кипчаков в XIII—XV вв., степень их участия в этногенезе народов средневековой Средней Азии и Казахстана (XV—XIX вв.) и, наконец, подробно освещает хозяйство, быт и культуру кипчаков по данным письменных источников, археологии и исторической этнографии (X—XV вв.).

К. Ш. Шаниязов выделяет несколько групп кипчаков. Он считает, что начиная с VI в. на протяжении последующих веков сложились орхонская, алтайская, западная и отделившаяся от нее присырдарьинская, или восточная, группы кипчаков (стр. 43—45, 51, 52). История присырдарьинской группы кипчаков и составляет основной предмет его исследования. С точки зрения этногенетических связей с кипчаками, оказавшимися впоследствии на территории Узбекистана, рассмотрение группы кипчаков-половцев (стр. 54—65) может быть оправдано главным образом стремлением автора представить целостную картину политической жизни основных групп кипчаков.

Предлагаемое К. Ш. Шаниязовым деление кипчаков на группы представляется нам более убедительным и аргументированным, чем сделанное Б. Е. Кумековым¹. По одному из весьма сложных и до конца еще неясных вопросов — об этнических связях между кипчаками и кимаками — данные К. Ш. Шаниязова и Б. Е. Кумекова несколько расходятся. Так, они по-разному трактуют сведения Махмуда Кашгарского (XI в.). Ссылаясь на стамбульское факсимильное издание труда Махмуда Кашгарского, Б. Е. Кумекоев пишет, что «сами кипчаки не отождествляли себя с йемеками (т. е. кимаками. — С. А.), а считали их лишь своей „отдельной ветвью“, т. е. связанными по происхождению» (стр. 43). К. Ш. Шаниязов, основываясь на узбекском переводе труда Махмуда Кашгарского, приводит из него такую цитату: «Однако кипчаки считают себя (по происхождению) из другого (некимацкого. — К. Ш.) рода» (стр. 46). Хотя в другом месте Б. Е. Кумекоев отмечает слабость политических связей кипчаков с кимаками — племенным союзом в VIII—XI вв. и различие их этнических территорий, его толкованию текста Махмуда Кашгарского о связях кипчаков и кимаков «по происхождению» следует отдать предпочтение. Но у К. Ш. Шаниязова были серьезные основания отвергать мнение И. Маркварта о кипчаках как западной ветви кимаков (стр. 38).

Остановлюсь на некоторых других вопросах, относящихся к рассматриваемой теме. Не присоединяясь безоговорочно к гипотезам Г. Е. Грум-Гржимайло и Л. Н. Гумилева о длинлином происхождении кипчаков, К. Ш. Шаниязов не исключает, однако, участия длинлинов в этногенезе кипчаков (стр. 33), а на стр. 99 уже более уверенно пишет об их «связи по происхождению». Автор явно переоценивает значение концепции Л. Н. Гумилева о генетической связи кипчаков с древними белокурыми длинлинами (стр. 27, 33). Она еще требует более аргументированных доказательств.

Заслуживает внимания и вопрос об отношении кипчаков к родоплеменному образованию канглы, который автор особо рассматривает на стр. 38—40. Отрицая этногенетическую связь между этими племенами, К. Ш. Шаниязов вместе с тем пишет о взаимовлиянии их культур, взаимном сближении в некоторые периоды и даже о процессе их «этнического смешения». Взвешивая все приводимые автором книги доводы, приходится признать несколько категоричным его вывод. Очевидно, связь между канглами и кипчаками не ограничивалась политическими и культурными аспектами, она включала в себя и этнические отношения, хотя оба объединения и могли осознавать себя самостоятельными этническими единицами.

Естественно, что в книге внимательно изучен вопрос об этнонимах, так или иначе связанных с кипчаками (стр. 26—31). Мы находим здесь целый ряд правильных соображений, а также остроумных предположений и догадок о терминах «кипчак», «половцы», «куманы» и др. Однако возведение этнонима «куман» к имени тотема «ку» — лебедь (стр. 28) трудно признать правомерным. Л. П. Потапов присоединяется к мнению проф. О. Притсака, который полагает, что термин «куман» в наименовании кумандинцев адекватен названию «половец» и «кыпчак», и утверждает, что предки

¹ Б. Е. Кумекоев, Государство кимаков IX—XI вв. по арабским источникам, Алма-Ата, 1972, стр. 44.

кумандинцев входили в объединение тюркоязычных племен, именовавшихся кыпчаками². Но исследуя проблему происхождения кумандинцев, Л. П. Потапов не видит в этнониме «куманды» следов тотемизма. Касаясь таких названий половцев, как «сарацины», «сорочины», К. Ш. Шаниязов, ссылаясь на И. Г. Добродомова, упоминает о тюркском слове «кунн» со значением «народ» во второй части этих названий (стр. 29). К сожалению, он не учел толкования древнего термина «кунн», приводимого в работах Ю. А. Зуева, который, в частности, считал, что он «служил для обозначения определенных родовых и племенных организаций и включал в себя понятие „рода“ или „племени“, связанного единством этнического происхождения»³.

Реконструируя внешний облик древних и средневековых кыпчаков, К. Ш. Шаниязов не использовал интересной работы С. И. Вайнштейна и М. В. Крюкова на эту же тему, касающейся древних тюрков⁴.

Давая краткую, но в целом убедительную характеристику обществу строя кыпчаков в XI—XII вв. (стр. 61—65), автор, ссылаясь на «Codex Cumanicus», приводит название «Eidagi erci» в значении «домашние рабы». Но в недавно увидевшем свет труде Э. В. Севорьяна, где рассматривается этимология слова епчи/епси, даны лишь следующие значения этого слова: женщина, жена, супруга, хозяйка, мать⁵. Слово «епчи» автор считает производным, образованным от основы — корня *eb* (*en*), *ev* — «дом», «домохозяйство», «семья» + аффикс отыменного образования — *чы/чи*, который в сочетании с основой обозначает название лица по его деятельности. Вполне допуская существование домашнего рабства у кыпчаков в это время, очевидно, следует еще раз вернуться к толкованию приведенного термина.

Заключая эту характеристику, К. Ш. Шаниязов называет родо-племенные общности в классовом обществе «поздними, вторичными племенами и родами» (стр. 65; см. также «От редактора», стр. 5). Мне представляется, что сущность таких родо-племенных образований в классовом обществе состояла не только в том, что они были «поздними», «вторичными», но в не меньшей мере еще и в том, что они многократно воспроизводились по древнему стереотипу, по архаической модели первобытнообщинного строя, что и приводило к глубокой традиционности их структуры. Автор книги, безусловно, прав, когда он пишет: «Их сохранение было связано со спецификой социально-экономической организации кочевников-скотоводов в эпоху феодализма» (стр. 65).

Касаясь религиозных представлений кыпчаков, автор дает, на наш взгляд, слишком расширительное толкование шаманизма. С одной стороны, он указывает на культ солнца как на первобытную религию кыпчаков-половцев; этот культ играл у большинства кыпчаков в XIII в., пишет он, «важную роль» (стр. 37). С другой стороны, по словам К. Ш. Шаниязова, «религией тюркоязычных народов в древности был шаманизм». Следуя источникам, он под шаманизмом понимает и поклонение вещам, рекам, горам, волование, веру в злых духов и в загробную жизнь (стр. 95). Вполне очевидно, что здесь мы имеем дело и с некоторыми дошаманистскими представлениями, в частности с культом природы.

В целом же, отвлекаясь от отмеченных частностей, исторические разделы книги можно рассматривать как серьезный вклад в исследование кыпчакской проблемы. Они служат солидным фундаментом для историко-этнографических изысканий в следующих главах книги.

Особый интерес у этнографов, разрабатывающих вопросы этногенеза и этнической истории, вызовет глава вторая «Кыпчаки в составе узбеков (XIX — начало XX в.)». Здесь мы находим данные о времени появления кыпчаков на территории Узбекистана. Автор относит переселение кыпчаков в Ферганскую долину к началу XVIII в., а в бассейне среднего Зарафшана — к первой четверти XIX в. Подробно исследуются численность и расселение кыпчаков на территории Узбекистана в конце XIX — начале XX в., причем главным источником, используемым автором, явились собиравшиеся им в течение многих лет историко-этнографические материалы. Эти материалы стали основой важного раздела о родо-племенном делении кыпчаков (стр. 116—127), в котором впервые полно представлена родо-племенная структура кыпчаков, обосновавшихся в Ферганской и Зарафшанской долинах. Ферганские кыпчаки, по данным К. Ш. Шаниязова, делились на четыре большие группы: кыпчаки (или таза-кыпчак), киргиз-кыпчак, китай-кыпчак и сарт-кыпчак; зарафшанские — на семь основных групп: тогузурув (токуз), или тогузбай, джеты-урув, парча-кыпчак, ак-кыпчак, кара-кыпчак, сары-кыпчак и кып-

² Л. П. Потапов, Этнический состав и происхождение алтайцев, Л., 1969, стр. 60; ср.: Н. А. Баскаков, Классификация тюркских языков в связи с исторической периодизацией их развития и формирования, «Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. I, М., 1952, стр. 53.

³ Ю. А. Зуев, Термин «кыркун». К вопросу об этническом происхождении кыргызов по китайским источникам, «Труды Ин-та истории АН КиргССР», вып. IV, Фрунзе, 1958; стр. 170; его же, Тамги лошадей из вассальных княжеств, в кн.: «Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана». «Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН КазССР», т. 8, Алма-Ата, 1960, стр. 103, 128.

⁴ С. И. Вайнштейн, М. В. Крюков, Об облике древних тюрков, в кн.: «Тюркологический сборник. К 60-летию члена-корр. АН СССР А. Н. Кононова», М., 1966.

⁵ Э. В. Севорьян, Этимологический словарь тюркских языков, М., 1974, стр. 287, 288.

чак-сарай. Подробно рассматриваются более мелкие деления внутри этих групп, особенно у зарафшанских кипчаков. Внимание этнографов привлекут и приводимые автором параллели в родо-племенном делении кипчаков и других узбекских племен, а также каракалпаков, казахов, киргизов и др. (стр. 128—155). Подобное освещение истории кипчакского компонента в составе узбеков придает исследованию своего рода «объемность», помогает раскрытию многообразных этногенетических связей узбеков-кипчаков. Рассматриваемая глава содержит богатый и весьма ценный материал для воссоздания этнической истории узбеков-кипчаков. В своем подавляющем большинстве приводимые данные впервые вводятся в научный оборот.

Однако в этой главе имеются некоторые неточности. Так, мне представляется, что наличие аналогичных этнонимов (бури, кесек, кара-моюн и др.) у узбеков-кипчаков и соседних народов и даже у других узбекских племен далеко не всегда можно считать достоверным свидетельством прямых этногенетических связей. Часть этнонимов (таких, как кара-моюн, кызил-аяк и др.) могла возникнуть на основе прозвищ, которые имели широкое распространение у тюркоязычных народов (кара-моюн — «черношое», кызил-аяк — «красноногие»). Другие этнонимы основаны на названиях тамг (тёрттамгалы, айтамгалы, коштамгалы и др.), а последние из-за сходства их конфигурации имели много аналогичных названий у разных кочевых народов. Третьи этнонимы, также широко распространенные, имели числовое значение (алты-ата — шесть отцов, джети уруу — девять родов, тогуз-бай — девять баев, тогуз-уул — девять сыновей и т. п.), которое могло и не быть связано с какой-либо спецификой этнических групп. Соответствующие этнонимы возникали, очевидно, вполне самостоятельно. Кстати, название «алты-ата» имелось не только у сары-кипчаков (стр. 131), каракалпаков и казахов. Так, например, киргизское племя саяк называли также алты аталуу саяк (саяки, имеющие шесть отцов, т. е. предков). Немало этнических названий было связано и с этнонимами и имело патронимическое происхождение (кармыш, аю и др.), а ведь сходство многих имен у тюркоязычных народов общеизвестно. Все сказанное не означает, конечно, что я отрицаю генетическую связь между многими из этнических групп, о которых пишет К. Ш. Шаниязов. Она довольно часто подтверждается, но я нахожу, что оперирование сходными этнонимами требует большей осторожности и осмотрительности.

Автор книги выделил в структуре кипчаков Ферганской долины группу под названием «киргиз-кипчак» (стр. 116, 117—120). Многократно о ней упоминая, он, в частности, отмечает, что «среди киргизов есть большая группа, называемая киргиз-кипчаками» (стр. 82) и что были «кипчаки, находившиеся в составе киргизского племенного объединения ичкилик и называвшие себя киргиз-кипчаками» (стр. 110). Это явное недоразумение: киргизы, относившие себя по происхождению к племени кипчак, не называли себя киргиз-кипчаками. Так могли называть их соседи, в частности узбеки и узбеки-кипчаки, но у них самих племенным самоназванием было только кыпчаки.

Согласно историко-этнографическим материалам, собранным мною в 1950-е годы во время Киргизской археолого-этнографической экспедиции, на территории современных Баткенского, Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области Киргизской ССР и частично Аимского района Анджанской области Узбекской ССР, структура киргизского племени кипчак сильно отличалась от структуры ферганских узбеков-кипчаков. Сходство названий «родовых» делений у тех и других ограничивается лишь двумя-тремя этнонимами (таз, тору-айгыр, элатан). Между тем киргизское племя кипчак подразделялось на девять «родов» (отсюда и его название тогуз уруу кипчак — девятиродовые кипчаки). Поэтому трудно согласиться с утверждением К. Ш. Шаниязова о том, что киргиз-кипчаки «своим происхождением генетически связаны с узбек-кипчаками» (стр. 147, 148).

Гораздо убедительнее гипотеза автора книги о том, что «значительная часть киргиз-кипчаков Южной Киргизии, вероятно, является остатками тех древних кипчаков, которые в VI—VIII вв. переселились с Алтая на территорию Монголии и Тувы и вошли в состав Восточно-Тюркского каганата, затем (с VIII в.) были подчинены уйгурами, а в X в. вошли в состав киргизов» (стр. 118). Однако на этой же странице высказывается иная мысль: «киргиз-кипчаки Ферганской долины, по всей вероятности, связаны по происхождению с дештикипчакскими узбеками». А на стр. 148 утверждается, что значительная часть киргиз-кипчаков и узбеки-кипчаки пришли в Ферганскую долину в конце XVII — начале XVIII в. из степей Южного Казахстана. Большая часть кипчаков, по мнению автора, попала в Фергану, передвигаясь вверх по Сырдарье. В ряде случаев они жили смешанно с киргизами, образовав таким образом группу киргиз-кипчаков. «Другая группа киргиз-кипчаков, — пишет автор, — переселилась (в XVII—XVIII вв.) из казахских степей в Северную Киргизию... а часть ушла в Кашгарию». К сожалению, эти данные не подтверждаются фактами. Нельзя, разумеется, отрицать, что киргизское племя кипчак не было «чистым», как и большинство других племен. В его состав, вполне вероятно, могли войти и отдельные группы кипчаков дештикипчакского происхождения, но нельзя не считаться со следующими обстоятельствами. Во-первых, подавляющее большинство стариков, относивших своих предков к племени кипчак, уверенно указывали на переселение их в пределы Южной Киргизии с востока, из Кашгарии. Во-вторых, и это главное, письменные источники свидетельствуют о том, что киргизское племя кипчак обитало на территории Восточного Туркестана (Кашгарии) уже в XVI—XVIII вв., а примерно в середине XVII в. его вожди

принимали активное участие в феодальных междоусобицах. При этом одна группа кыпчаков пришла из Или через Кучу в Хотан в 60-х годах XVIII в.⁶ Поэтому утверждение автора о том, что основная часть киргизского племени кыпчак происходит от присырдарьинской группы кыпчаков, остается малоубедительной гипотезой. Возможно, ближе к истине идея происхождения «киргиз-кыпчаков» от «орхонской» группы кыпчаков.

Едва ли можно согласиться и с мнением К. Ш. Шаниязова о том, что такие основные подразделения киргизского племени кыпчак, как шерден, коджомюшкур, омоноқ, джартыбаш, алтыке, джаманаң образовались в недалеком прошлом путем разрастания больших патриархальных семей (стр. 147). И все же некоторые данные, относящиеся к киргизскому племени кыпчак, приводимые в книге, заслуживают самого серьезного внимания киргизоведов.

Очень обстоятельны главы «Хозяйство», «Материальная культура», «Общественные и семейные отношения». Они написаны в лучших традициях этнографических исследований, с большим знанием материала, с точной фиксацией многочисленных этнографических данных. Автор последовательно сопоставляет этнографические особенности ферганской и зарафшанской групп кыпчаков, подвергает эти особенности тонкому историко-этнографическому анализу. Насыщенные богатыми полевыми материалами, личными наблюдениями автора, подкрепленные данными из литературы, эти главы читаются с большим интересом. Они вводят в науку много новых данных, впервые дают достаточно полное и отчетливое представление о традиционных формах хозяйства и быта узбеков-кыпчаков, восходящих к их средневековому прошлому.

В главе «Хозяйство» подвергнуты подробному рассмотрению земельные отношения и система налогового обложения, земледелие, водопользование, скотоводство, домашние промыслы и ремесла. Материалы о земледелии и водопользовании выходят за пределы характеристики хозяйства кыпчаков, они содержат ценные сведения по этим вопросам, относящиеся к Бухарскому и Кокандскому ханствам. В главе приводятся собранные автором данные о сельскохозяйственных культурах, об обычаях и обрядах, сопровождающих различные земледельческие работы. Большой интерес вызывает описание системы водопользования в кыпчакских селениях Бачкыр, Дам, Арык-буйи, Сарыкыпчак (стр. 182—187). В разделе, посвященном скотоводству, заслуживают внимания данные о распределении пастбищ между родовыми и семейно-родственными группами (стр. 192—194), хотя ранее автор справедливо подчеркнул, что родовыми пастбищами распоряжалась в основном феодальная верхушка (стр. 163). Наиболее важную роль играло разведение овец и крупного рогатого скота. Дается оценка различных пород свеч у кыпчаков, приводится терминология для овец и коз, обряды и поверья, связанные с овцеводством и молочным хозяйством.

Среди домашних промыслов и ремесел у кыпчаков автор выделяет изготовление тканей, ковроткачество, катание войлока, обработку кожи, производство обуви, отмечает слабое развитие ремесла.

Глава «Материальная культура» содержит классификацию типов поселений, а также усадеб. Здесь привлекает внимание выделение трех форм временных поселений, характерных для полупустынных кыпчаков (стр. 217), и их расселение семейно-родственными группами. Большое место отведено описанию жилища и предметов домашнего обихода. У кыпчаков в конце XIX — начале XX в. бытовали войлочная юрта, глинобитные дома, жилища типа шалаша и типа землянки. Характерно, что ферганские кыпчаки ориентировали дверь юрты на восток (стр. 229), как это делали древние турки. Автору удалось описать старинный тип неразборной войлочной юрты (кўтарма), которую перевозили на четырехколесной арбе (стр. 234, 235). Детально описаны внутреннее убранство юрты и жилища стационарного типа.

С такой же скрупулезностью исследованы одежда и пища кыпчаков. Несмотря на некоторые неточности, эти разделы представляют большой познавательный интерес. Автор привлек обширный сравнительный материал, относящийся к различным группам узбеков, казахов, каракалпаков, киргизам, туркменам, таджикам. Подчеркивается, что типы одежды кыпчаков формировались в процессе их длительного общения и взаимных связей с народами и этническими группами, населявшими в прошлом Среднюю Азию и Казахстан. Вместе с тем у кыпчаков продолжали бытовать и некоторые архаические виды одежды (стр. 248). Заслуга К. Ш. Шаниязова состоит в том, что ему удалось восстановить облик уже исчезнувшего костюма кыпчаков.

Характеризуя пищу, автор также отмечает, что ее традиционный ассортимент складывался в процессе взаимовлияния и тесных культурных контактов народов и этнических групп среднеазиатского Междуречья (стр. 272).

Глава «Общественные и семейные отношения» вызовет интерес не только у этнографов, изучающих Среднюю Азию и Казахстан, но и у более широкого круга ученых.

В ней освещены такие важные вопросы, как социальная структура и формы экс-

⁶ М. А. Салахетдинова, Сочинение Мухаммед-Садыка «Тазкира-и Ходжаган» как источник по истории киргизов, «Изв. АН КиргССР», серия общественных наук, т. I, вып. 1 («История»), Фрунзе, 1959, стр. 107, 108, 119, 121; ее же, Сообщение о киргизах в «Хидайат-намэ» Мир-халь ад-дина, там же, т. III, вып. 2 («История»), Фрунзе, 1961, стр. 135, 138—140; «Материалы по истории киргизов и Киргизии», вып. 1, М., 1973, стр. 221, 223.

плуатации, некоторые пережитки родо-племенного быта, семья и брак, некоторые пережитки домусульманских верований, игры и развлечения. Автору удалось очень четко показать социальные категории, характерные для дореволюционного общества кипчаков. Очень интересны примеры существовавших патриархальных семей (стр. 303, 304), хорошо освещен свадебный обряд, являющийся в целом вариантом общеузбекского свадебного ритуала, выявлены черты авункулата (стр. 309, 311, 312, 321, 323), реликты матрилокального брака (стр. 317, 321). Кратко, но отчетливо показаны пережитки шаманизма. Однако истолкование термина «бахши», как происходящего от тюркского «бокмок» (т. е. смотреть, лечить), не может быть принято. Общеизвестно, что этот термин санскритского происхождения.

Не касаясь здесь отдельных мелких недостатков, от которых не свободны рассмотренные главы, приходится сделать один существенный упрек автору книги — это недостаточная ясность и расплывчатость в толковании таких принципиально важных явлений, как род, родовая и общинная собственность (стр. 299, 301, 307).

Нельзя не высказать сожаление по поводу того, что в книге отсутствует карта расселения узбеков-кипчаков на территории Узбекистана, а также указатели (особенно этнических названий).

Оценивая в целом труд К. Ш. Шаниязова, видного узбекского этнографа, можно сказать, что он представляет собой крупный вклад в советскую этнографическую науку, обогащает ее оригинальным и фундаментальным исследованием. Огромный материал, относящийся к этнографической группе кипчаков в составе узбекской народности, поднятый и проанализированный автором, искусно применившим исторический подход к рассматриваемым явлениям, безусловно является ценнейшим источником для изучения этнической истории не только узбеков, но и ряда других тюркоязычных народов.

С. М. Абрамзон

Х. А. Аргынбаев. Казак халкындағы семья мен неке (тарихи-этнографиялық шолу). Алматы, 1973, 327 стр. [Х. А. Аргынбаев. Семья и брак у казахов (историко-этнографический обзор), на казах. яз.]

Проблемы семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана разработаны еще далеко недостаточно, хотя им посвящен ряд специальных исследований¹. Книга Х. А. Аргынбаева — первая монография по истории семьи и брака у казахов. Она написана на казахском языке, поэтому авторы данной рецензии старались по возможности более подробно осветить ее структуру и содержание. Монография базируется на разнообразных источниках: литературных (быт казахов, их обряды и обычаи широко отражены в историко-этнографической и краеведческой литературе XVIII—XX вв.), полевых этнографических исследованиях автора (им обследованы 12 из 17 областей Казахстана), документах, хранящихся в архивах, и фольклорных произведениях разных жанров. Обзор этих материалов, их критический анализ, а также определение задач исследования составляют содержание «Введения».

В первой главе «Дореволюционная семья и семейные отношения» рассматриваются формы семьи у казахов, право наследования, отношения между родственниками, система родства, обычаи усыновления и гостеприимства, положение женщины в семье, обычаи, связанные с рождением и воспитанием детей, погребально-поминальные обряды. Наиболее важными и дискуссионными являются вопросы о формах семьи у кочевников, в том числе у казахов.

Х. А. Аргынбаев придерживается точки зрения, что у казахов, сформировавшихся как народность в XV—XVI вв., на протяжении всей их истории господствовала малая индивидуальная семья, которая, однако, несла в себе множество пережиточных элементов большой патриархальной семьи, поскольку появилась в результате разложения последней.

Считая большую патриархальную семью универсальным для всех народов социальным институтом, автор пытается определить время ее возникновения, развития и распада у предков казахов. Полагая, что в среднеазиатско-казахстанском регионе процесс возникновения и дальнейшей эволюции большой патриархальной семьи шел относительно синхронно, Х. А. Аргынбаев обращается к исследованиям советских ученых (С. П. Толстова, А. Н. Бернштама, Н. А. Кислякова, С. М. Абрамзона и др.), разрабатывавших эту проблему по народам Средней Азии.

¹ См., например: Н. А. Кисляков, Семья и брак у таджиков, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XLIV, М.—Л., 1959; его же, Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана, Л., 1969; М. А. Бикжанова, Семья в колхозах Узбекистана, Ташкент, 1959; А. Джумагулов, Семья и брак у киргизов Чуйской долины, Фрунзе, 1960; А. Т. Бекмуратова, Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем, Нукус, 1969; С. М. Абрамзон, Формы семьи у дотюркских и тюркских племен Южной Сибири, Семьречья и Тянь-Шаня в древности и средневековье, «Тюркологический сборник, 1972», М., 1973, стр. 287—305.

Ссылаясь на работы С. П. Толстова, Х. А. Аргынбаев утверждает, что большая патриархальная семья среди оседло-земледельческого населения древнего Хорезма возникла во II—III вв. н. э., а к середине I тысячелетия достигла наивысшего расцвета (стр. 26, 27). Однако у С. П. Толстова речь идет о появлении во II—III вв. и широком распространении в VI—VII вв. лишь замков-кешков, служащих обиталищем больше-семейной общины; о времени же возникновения самой большой патриархальной семьи у него ничего не сказано².

Вслед за С. М. Абрамзоном³ автор отмечает (стр. 28—32), что у кочевников Саяно-Алтая, Семиречья и Тянь-Шаня большая патриархальная семья возникла в VII—VIII вв. до н. э. и господствовала до середины I тысячелетия н. э., когда начался процесс ее разложения, завершившийся победой малой индивидуальной семьи в X—XI вв. Причина столь раннего распада большой патриархальной семьи у кочевников указанных областей, в том числе и у предков казахов, объясняется в книге ранним классовым расслоением кочевого общества. В силу этого, по мнению Х. А. Аргынбаева, в XV в., когда казахи выступили на историческую арену как самостоятельная народность, у них уже господствовала малая индивидуальная семья. Не считая возможным в не-большой рецензии вступать в дискуссию по вопросу о формах семьи у кочевников, отметим лишь, что археологи, на материалы которых в значительной степени опирается С. М. Абрамзон, пока еще не располагают достаточными данными для подобной, относительно точной, датировки смены различных форм семьи у кочевников указанного региона.

В качестве одного из веских доказательств господства большой патриархальной семьи в отмеченный выше период у предков казахов, как и у остальных кочевников-скотоводов Средней Азии, Х. А. Аргынбаев (стр. 28—32) вслед за С. М. Абрамзоном⁴ приводит данные о наличии в начале XX в. у ряда кочевых народов Средней и Центральной Азии больших неразделенных семей, которые он считает пережитком больших патриархальных семей. Этот тезис требует, как нам кажется, разъяснений ввиду возможности существования различных причин происхождения неразделенных семей, сохранившихся в начале XX в.

Они действительно могли являться продуктом распада большой патриархальной семьи, что теоретически скорее следует ожидать у народов оседлых и полuosедлых, у которых процесс разложения таких семей затянулся на длительный срок из-за особенностей их хозяйственного уклада, требующего большого количества рабочих рук.

Не исключается также предположение, что неразделенные семьи были вторичным явлением, возникшим сравнительно недавно в связи с определенной социально-экономической ситуацией, сложившейся у данного народа или его группы. У кочевых народов такое явление могло возникнуть при обращении к земледелию или различным промыслам, т. е. при переходе к ведению комплексного хозяйства. Потребность в дополнительных рабочих руках в таких случаях приводила к объединению малых родственных семей или, во всяком случае, не стимулировала дробления семьи.

В свете сказанного выше факты, которые С. М. Абрамзон и Х. А. Аргынбаев относят к пережиточным формам большой патриархальной семьи, нельзя считать достаточно убедительными, поскольку большинство из них относится не к кочевому, а к полукочевому (каракалпаки, узбеки, часть туркмен) и даже оседлому (туркмены-нохурли) населению. Нам представляется, что полукочевников, основу экономики которых составляло комплексное хозяйство, нельзя безоговорочно отождествлять с кочевниками.

Весьма существенно также, что приведенные по кочевым народам конкретные примеры — С. М. Абрамзона по киргизам и Х. А. Аргынбаева по туркменам (со ссылкой на С. Н. Иомудского⁵) относятся преимущественно к семьям богачей, которые вели комплексное хозяйство, сочетая скотоводство с земледелием (киргизы), или хозяйство которых имело товарное направление (туркмены). Без специального исследования трудно сказать, были ли эти неразделенные семьи богачей пережитком больших патриархальных семей или каким-то новым явлением, связанным с ростками предпринимательства. Не убеждают нас и ссылки на материалы Л. П. Потапова, ибо приведенные данные о неразделенных семьях относятся к северным алтайцам, в комплексном хозяйстве которых превалировал охотничий промысел, у южных же алтайцев-скотоводов, по свидетельству Л. П. Потапова, к началу XX в. от большой семьи сохранились лишь «слабые отголоски»⁶.

² С. П. Толстов, Древний Хорезм, Опыт историко-археологического исследования, М., 1948, стр. 132, 151, 164.

³ С. М. Абрамзон, К вопросу о патриархальной семье у кочевников Средней Азии, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. XXVIII, М., 1957, стр. 28—34; его же, Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи, Л., 1971, стр. 211, 212.

⁴ С. М. Абрамзон, К вопросу о патриархальной семье у кочевников Средней Азии, стр. 29, 30.

⁵ С. Н. Иомудский, О пережитках родового быта у скотоводов Западной Туркмении в XIX в., «Сов. этнография», 1962, № 4, стр. 55, 56.

⁶ Л. П. Потапов, Очерки по истории алтайцев, М.—Л., 1954, стр. 261, 262.

Положения автора о хронологических рамках возникновения и дальнейшей эволюции большой патриархальной семьи у кочевников в целом являются спорными. Если в этой части своего труда он основывается на выводах предшественников, то при рассмотрении казахской семьи более позднего времени Х. А. Аргынбаев выступает как вполне самостоятельный исследователь. Основной его вывод о господстве малой индивидуальной семьи у казахов подкреплён здесь обильным фактическим материалом. Особенно убедительным аргументом в пользу этого положения является существование *ениши* — доли отцовского имущества, которую каждый из сыновей мог получить, согласно обычному праву, при выделе из отцовского хозяйства (что обычно происходило после женитьбы). Х. А. Аргынбаев во время полевых исследований опросил 78 стариков — знатоков родословных своих семей (знавших от 8 до 17 поколений предков). Все они в один голос утверждали, что не слышали о существовании больших семей и что согласно семейным преданиям, восходящим к восьми и более поколениям предков сыновья всегда отделялись от отцовского очага в самостоятельные ячейки, получая предусмотренную обычным правом долю — *ениши*.

Автор справедливо отмечает, что в различных социальных слоях причины выделения женатых сыновей были различными. В конечном итоге причина выделов кроется, по мнению автора, в особенностях кочевого хозяйства. Это положение представляется нам узловым моментом при решении проблемы эволюции форм семьи у кочевников.

Во второй главе книги «Формы заключения брака, свадьба и связанные с ней обычаи и обряды в дореволюционный период» рассматриваются разнообразнейшие вопросы, связанные со вступлением в брак: возраст вступающих в брак, экзогамные и религиозные запреты, формы заключения брака (младенческий сговор, сватовство, леви́рат, сорорат). Свадебному циклу автор посвящает три раздела. Эта глава, написанная ярко и увлекательно, содержит интересные бытовые подробности из жизни казахов дореволюционного периода (например, о правах женщин при леви́ратных и сороратных браках), свидетельствующие о приспособляемости древних по происхождению институтов к различным уровням социально-экономического развития общества, в частности патриархально-феодалным отношениям, которые господствовали у казахов вплоть до революции.

Много сведений о свадьбе и комплексе свадебных обычаев и обрядов казахов приводится в трудах дореволюционных авторов. Все они обобщены и в известной мере интерпретированы Н. А. Кисляковым⁷. Тщательное изучение уже имеющихся в литературе материалов и проведение полевых исследований дало Х. А. Аргынбаеву возможность значительно расширить существующие представления о комплексе свадебных обрядов и обычаев у казахов и сделать ряд дополнений и уточнений.

Сводное описание свадебного ритуала казахов начала XX в., сопровождаемое историко-этнографическим анализом каждой церемонии, позволило автору прийти к выводу о том, что этот ритуал в целом отличается значительным единообразием на всей обширной территории Казахстана. Некоторые особенности, отмеченные Х. А. Аргынбаевым в свадебных обрядах отдельных групп казахов, не меняют общей картины, свидетельствующей в конечном итоге о значительной общности этнических компонентов.

Х. А. Аргынбаев впервые обратил внимание на ряд моментов казахской свадьбы, анализ которых позволяет по-новому осветить некоторые стороны истории семейно-брачных отношений и историю формирования комплекса свадебных церемоний у казахов. Своеобразно понимание автором одного очень интересного звена в цепи свадебных церемоний казахов — так называемого *урын бару*. В современной литературе укрепились мнение, что *урын бару* — это тайная встреча жениха и невесты, происходящая в предсвадебный период. Х. А. Аргынбаев же считает *урын бару* первым официальным визитом жениха к невесте (когда они впервые виделись друг с другом). Визит этот сопровождался особым ритуалом и даже имитацией первой брачной ночи. После него жених мог встречаться с невестой вплоть до самой свадьбы. Последующие встречи, проходившие в относительно тайне, носили название *калындык ойнау*.

В сообщениях авторов XVIII—XIX вв. наблюдается разноречие в описаниях церемониала досвадебных встреч жениха и невесты, что, видимо, определялось изживанием этого звена свадебного обрядового комплекса у казахов. Эти разночтения отразились на толковании данного звена брачных церемоний современными исследователями. Таким образом, Х. А. Аргынбаев внес ясность в последовательность различных моментов этого этапа добрачных церемоний и уточнил их названия.

Х. А. Аргынбаев предложил новую расшифровку термина *урын* — от древнетюркского *урун* в значении «принимать, прижиматься» (стр. 190), что в известной мере раскрывает содержание происходящих событий. В целом *урын бару*, *калындык ойнау* и связанные с ними церемонии автор интерпретирует как пережиток матрилокального брака (стр. 199). Произведенный Х. А. Аргынбаевым анализ литературных источников и новых полевых материалов подтвердил мысли А. Максимова относительно описанного выше звена традиционного свадебного церемониала казахов⁸, а также выводы

⁷ Н. А. Кисляков, Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана, Л., 1969.

⁸ А. Максимов, Из истории семьи у русских инородцев, «Этнографическое обозрение», М., 1902. № 1, стр. 59.

Н. А. Кислякова⁹, С. М. Абрамзон¹⁰ и других, изучавших аналогичные элементы свадебных обрядов у народов среднеазиатско-казахстанского региона. Этот вывод представляется нам вполне убедительным, поскольку указанные обряды, хотя и совершались после частичной выплаты калыма, но происходили только в доме невесты, и участвовали в них в основном ее родственники.

Интересно приведенное в книге объяснение обычая, согласно которому отец невесты давал ей в качестве приданого свадебную юрту. В литературе широко распространено мнение, что свадебная юрта целиком приобреталась родителями невесты, в связи с чем этот обычай рассматривался как пережиток матрилокального брака. Однако у казахов, как выяснил автор, половину войлочного покрывала, купольный круг и дверные косяки готовил отец жениха. Последнее Х. А. Аргынбаев справедливо связывает с господством патриархальных отношений. Переплетение обычаев и обрядов, отражающих различные исторические этапы в развитии семейно-брачных отношений, — характерная черта свадебной обрядности в целом, что отчетливо прослеживается и на казахском материале.

В третьей главе «Калым и приданое» рассмотрены размеры и состав калыма и приданого, а также обычаи, которые сопровождают эти явления быта. Подробный анализ этих институтов семейно-брачного права у казахов убедил автора в правильности точки зрения М. О. Косвена на то, что калым — это плата за невесту; возникновение его связано с эпохой разложения первобытнообщинного строя. В последующем формы калыма эволюционировали в связи с изменением социально-экономических отношений. Х. А. Аргынбаев убедительно проверяет точку зрения некоторых исследователей, считающих калым компенсацией стоимости приданого. По его мнению, компенсацией является получаемый женихом от своих родителей *ениши*. Как и приданое, *ениши* — это помощь родителей молодоженам на обустройство хозяйством, и возник он, подобно приданому, на более поздней, чем калым, стадии развития семейно-брачных отношений.

Четвертая глава «Современные семейно-брачные отношения» посвящена характеристике современных форм семьи и брака у казахов, а также обычаям и обрядам, связанным со вступлением в брак. Здесь автор прослеживает, как в процессе социалистического строительства и революционного преобразования быта формировалась новая советская семья у казахов. Большое внимание Х. А. Аргынбаев уделяет вопросам изживания и трансформации старых обычаев и обрядов и становлению новой семейной обрядности. Он выделяет несколько периодов в процессе формирования нового семейно-бытового уклада и новой семейной обрядности. Так, в 20-е годы семейная обрядность фактически сохраняла свои прежние формы; в годы коллективизации и Отечественной войны она значительно упростилась; в послевоенный период развились многие положительные народные традиции и сложились новые обычаи и обряды. Автором выделено три разновидности новых свадеб. Одна из них представляет собой упрощенный вариант старинной свадьбы; в ней сохранились традиционное построение, а также многие обычаи и обряды, но изжиты моменты, не соответствующие современным социальным условиям, — калым, религиозный обряд бракосочетания и др. Вторая разновидность — комсомольские свадьбы, справляемые в сельских клубах и дворцах культуры; в комсомольских свадьбах традиционные свадебные обычаи мало сохранились; не много традиционных черт содержит и третья разновидность новой свадьбы — студенческая свадьба. Присутствуют и родители, и друзья молодоженов. Для родственников и односельчан свадебные вечера устраиваются уже значительно позже — во время посещения молодыми родительского дома.

Книга дает полное представление об истории семьи и брака, свадебных обычаев и обрядов у казахского народа. Выводы автора интересны и для более широких обобщений; например, процесс формирования новых семейно-бытовых традиций, семейной обрядности, у казахов протекает в целом так же, как и у других народов среднеазиатско-казахстанского региона и всех народов СССР вообще.

Книга Х. А. Аргынбаева — интересное исследование, восполняющее пробел в историографии по вопросам семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Простота и ясность изложения, образность языка, насыщенность фольклором (особенно пословицами) делают книгу доступной и интересной широкому кругу читателей.

Б. Х. Қармышева, Н. П. Лобачева

⁹ Н. А. Кисляков, Семья и брак у таджиков, М.—Л., 1959, стр. 214—216.

¹⁰ С. М. Абрамзон, Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи, стр. 228.

Lucien M. Hanks. Rice and man. Agricultural ecology in Southeast Asia.
N. Y., 1975, 174 p.

Увеличение населения, бурными темпами происходящее в XX в. в странах Юго-Восточной Азии, порождает массу проблем, среди которых одна из важнейших — обеспечение людей хотя бы прожиточным минимумом. Основой питания всех народов этого района земного шара является, как известно, рис. Страны Юго-Восточной Азии обеспечивают рисом и другие регионы; только Бирма и Таиланд дают более 40% мирового экспорта риса. Поэтому проблемы производства риса имеют жизненно важное значение для миллионов людей, и научные исследования, могущие способствовать более успешному решению этих проблем, приобретают огромное практическое значение. На наш взгляд, не будет преувеличением сказать, что к таким исследованиям относится рецензируемая книга «Рис и человек», написанная сотрудником отдела Юго-Восточной Азии Корнеллского университета (США) Люсьеном М. Хэнксом.

Научный анализ различных методов выращивания риса, осуществленный с целью выявления наиболее подходящего в тех или иных конкретных условиях, Хэнкс ведет, не упуская из виду того, что он считает главным, а именно — сохранения гармонии в отношении человека с природой. Вот почему читателя не должна удивлять осторожность, проявляемая автором книги в отношении такого разумного, на первый взгляд, способа увеличения количества производимого риса, как повышение эффективности сельского хозяйства. На то есть две причины: во-первых, по мнению Хэнкса, необходимо ясно представлять социальные последствия такого пути развития, так как, по его словам, «изменение метода земледелия влечет за собой серьезные социальные и психологические перемены, и мы должны знать „человеческую цену“ повышения урожая» (стр. 1); во-вторых, потому, что, как наглядно свидетельствует опыт человечества, чрезмерное увлечение техникой в наиболее развитых странах приводит к столь значительным нарушениям в природной среде, что есть все основания бить тревогу, дабы избежать пагубных для человечества последствий этой критической ситуации. Действительно, экологическая ситуация в мире волнует в наши дни всех мыслящих людей. Дело зашло так далеко, что, как пишет советский ученый И. Б. Новик, «если не остановить вредные для биосферы техногенные влияния, то мы рискуем столкнуться с опасностью вытеснения выработанных многими миллионами эволюцией высших форм жизни — высших растений и животных — низшими, стоящими на более низких ступенях эволюционной лестницы, формами»¹. Книга Хэнкса является попыткой предостеречь восточные страны от следования примеру западных стран с их культом материальных ценностей, с их заводящим общество в тупик техническим прогрессом, в котором Хэнкс глубоко разочарован. Хэнкс не ставит точки над *i*, но совершенно очевидно, что обществом, компрометирующим в его глазах саму идею технического прогресса, является американское капиталистическое общество, и от следования его путем он пытается предостеречь слаборазвитые страны.

Хэнкс не одинок в противопоставлении «западной» технологической и «восточной» дотехнологической цивилизаций, которое методологически, по словам И. Б. Новика, основано «на метафизическом разрыве Запада и Востока», на игнорировании тенденции индустриализации «третьего мира». «Настаивать на отказе от „западного“ технологизма в пользу „восточной“ погруженности в природу, — пишет И. Б. Новик, — значит абсолютизировать раскол человечества, увековечивать отсталость»². Если в философском плане Хэнкс заслуживает таких упреков, и его заблуждения объясняются, конечно, тем, что он не является марксистом и не видит возможности позитивного решения экологических проблем на путях социалистических преобразований, то в защиту его можно сказать, что «экологический пессимизм» его происходит от понимания пороков капиталистического общества. Но обратимся к рассмотрению содержания книги.

Рецензируемая книга состоит из двух частей, разделенных каждая на четыре главы. Часть I, «Бангчан и возделывание риса», включает главы: «Юго-Восточная Азия и Бангчан», «Рис как растение и как сельскохозяйственная культура. История и распространение по земному шару», «Экосистемы риса в природе», «Энергетические затраты общества на выращивание риса». Часть II, «Адаптация к изменяющимся условиям», имеет главы: «Годы подсечно-огневого земледелия (1850—1890)», «Годы разбросного сева (1890—1935)», «Годы пересадки рассады (1935—1970)», «Бангчан в 70-е годы». В книге имеются приложения, библиография, индекс.

¹ И. Б. Новик, Будущее науки и экологическая проблема, «Вопросы философии», 1975, № 1, стр. 110.

² И. Б. Новик, Указ. раб., стр. 114.

В первой главе автор знакомит читателя с деревней Бангчан. Это сравнительно «молодое» (ему около 120 лет) поселение, раскинувшееся на площади в 2600 акров (из которых только 5% не возделываются), находящееся в 22 милях от Бангкока. Живет в нем около 1700 человек. Бангчан известен тайландоведам по нескольким исследованиям, в которых изложены результаты работы в нем этнографической экспедиции Корнеллского университета в 1948—1958 гг. Автор рецензируемой книги был одним из участников этой экспедиции, но продолжал работу в Бангчане и после 1958 г.

Вторая глава посвящена краткому изложению истории риса. Как известно, советские ученые — ботаники и этнографы — считают родиной риса Южный Китай, северную часть Юго-Восточной Азии и прилегающие области Индии³, такого же мнения придерживается американский ученый Д. Грист⁴. Автор рецензируемой книги, также разделяющий эту точку зрения, аргументирует ее ссылкой на работы японских ботаников, которые обнаружили, что разновидности риса *Oryza sativa*, встречающиеся в Южном Китае, ближе к японскому и индийскому подвидам риса, чем эти последние друг к другу⁵. Это и навело ученых на мысль, что именно в этой области произошел переход от риса как дикорастущего растения к рису культурному. Данные археологической науки, отмечает Хэнкс, не противоречат этой гипотезе, хотя до сих пор археология не располагает еще достаточно определенными сведениями о стратиграфических отношениях между неолитическими культурами в этом ареале, связанными с древнейшим рисоводством.

В третьей главе Хэнкс рассматривает все известные способы производства риса — от сбора дикорастущего риса и выращивания его методом подсечно-огневого земледелия до разбросного сева и пересадки рассады. Переходя от описания подсечно-огневого земледелия к разбросному севу, Хэнкс употребляет следующее образное сравнение: «Это уже не танец с частыми импровизациями, а размеренные движения по правилам придворного этикета, конфуцианский поклон в ответ на поклон, кивок с улыбкой в ответ на приветствие» (стр. 34). Развивая приведенные образы, Хэнкс характеризует метод пересадки рассады как «ритуал, требующий не только точности танцора и находчивости придворного, но и методических знаний жреца» (стр. 38).

Наиболее интересна, на наш взгляд, четвертая глава, в которой рассматривается проблема энергетических затрат при различных методах производства риса. Собрание дикорастущего риса не требует затрат энергии на его производство. Тип отношений между людьми и собираемым ими рисом Хэнкс определяет как часть их разнообразных экологических ниш. Выращая рис, человек вносит в окружающую его природную среду временные или постоянные изменения. На поддержание этой искаженной его вмешательством природной среды с целью сохранения необходимых для выращивания риса условий направлены основные усилия земледельца. Хэнкс употребляет в своей работе термин «холдинг» (holding). Он пишет: «Холдинг — это совокупность связей данных видов или сообщества видов с окружающей средой, частично или полностью измененной этими видами в целях выживания» (стр. 45). Хэнкс подчеркивает неразрывную связь любого холдинга с нишей: человек всегда должен приспосабливаться к природе, какую бы власть над нею он ни приобрел.

В книге проведен сравнительный анализ затрат энергии на производство риса при разных типах земледелия. Сначала в таблице 4.2 (стр. 56)⁶ приведены данные о среднем урожае с участка площадью в один акр, обработанного подсечно-огневым способом (0,645 т/акр), засеянного методом разброса (0,594 т/акр) и засаженного рассадой (0,975 т/акр). В табл. 4.3 (стр. 56) показаны колебания урожая: наибольшие при подсечно-огневом земледелии, они уменьшаются при разбросном севе и достигают минимума при пересадке рассады. Следующая таблица, 4.4 (стр. 57), показывает соотношение способа обработки земли и плотности населения: 31 чел. на кв. милю в районах, где население занимается подсечно-огневым земледелием, 255 — там, где применяется разбросной сев, и 988 чел. в районах, где практикуется пересадка рассады.

Вместо обычной постановки вопроса — сколько человек может прокормиться урожаем с данного участка земли — Хэнкс задает вопрос: сколько человек должны трудиться для получения урожая с этого поля? При всех типах крестьянского земледелия в Юго-Восточной Азии, по словам автора, главную часть сельскохозяйственных работ

³ См. об этом: А. М. Решетов, Основные вопросы древнейшей истории Юга Восточной Азии, в сб. «Проблемы этнографии и этнической истории народов Азии», М., 1968, стр. 259—262; Я. В. Чеснов, Доместикация риса и происхождение народов Восточной и Юго-Восточной Азии (Докл. на IX МКАЭН), М., 1973.

⁴ Д. Грист, Рис, М., 1959, стр. 15.

⁵ Японский и индийский подвиды риса имеют 12 хромосом каждый, но для первого, распространенного в тропической зоне от Южного Китая до Индии, характерно длинное зерно; этот подвид развивается строго в зависимости от температуры воздуха; второй — произрастает на островах Индонезии и Японии, имеет овальное зерно, развивается в зависимости от количества солнечной радиации; на колебания температуры не реагирует.

⁶ В этой и следующих таблицах есть графы, где указывается число наблюдений, как правило, невысокое, что говорит о недостаточной обоснованности вывода.

выполняет одно хозяйство, имеющее в среднем постоянно 2—3 пары рабочих рук и несколько помощников, но при расчистке поля (при подсечно-огневом земледелии), а также при пересадке рассады и сборе урожая (при орошаемом земледелии) необходимым коллективный труд всех жителей деревни или групп взаимопомощи на полях индивидуальных хозяйств. Таблица 4.5 (стр. 58) показывает, что затраты труда для получения урожая с одного акра земли в течение одного сезона составляют в среднем при подсечно-огневом земледелии 67, разбросом — 17, и при пересадке рассады — 53 человекодня, т. е. с наименьшими затратами труда получают урожай при разбросном севе. Далее в таблице 4.6 (стр. 59) показана средняя площадь полей, находящихся в собственности одного хозяйства: при подсечно-огневом земледелии — 3,8 акра, разбросом севе — 10,5 и при пересадке рассады — 5,5 акра. Если малая цифра в первом случае объясняется ограниченностью ресурсов рабочей силы, то при пересадке рассады она вызвана ограниченностью земельных ресурсов (так как плотность населения, оборот, значительна). Наибольшая возможность в этом отношении у земледельцев, занимающихся разбросным севом, которые обладают достаточно большими полями, возделывание которых облегчается использованием буйвола и применением плуга (отсутствующих при подсечно-огневом земледелии).

Приведенные данные позволяют автору сделать вывод о затратах труда при получении одного урожая при разных способах возделывания земли. Затраты труда складываются из прямых затрат (пахота, посев и прополка) и не прямых, или косвенных (подготовка орудий труда, тягловых животных, содержание в порядке ирригационной системы). Умножая прямые трудовые затраты (вычисленные из расчета на единицу площади) на среднюю площадь участка, которым владеет одно хозяйство, Хэнкс получает величины, характеризующие расход людской энергии членами одного хозяйства при том или ином типе земледелия: 259 *человекодней/акр* при подсечно-огневом земледелии, 179 — при разбросном севе и 292 — при пересадке рассады (табл. 4.7, стр. 60).

Далее Хэнкс приводит цифры, характеризующие потребность в не прямых трудовых усилиях в течение одного сезона (табл. 4.8, стр. 61): четыре *человекодня* при подсечно-огневом земледелии, 122 — при разбросном севе и 138 — при пересадке рассады. Затраты труда на создание и содержание оросительной системы, которые очень различаются в зависимости от конкретных условий, Хэнкс обозначил знаком *X*, и потому окончательный результат подсчетов затрат труда одним хозяйством на протяжении одного сезона, включая прямые и не прямые затраты, выглядит так: 245⁷ *человекодней* при подсечно-огневом земледелии, 301 при разбросном севе и 430 + *X* при пересадке рассады (табл. 4.9, стр. 62). На этих подсчетах основывается концепция Хэнкса о том, что для выращивания одного урожая риса последовательно усложняющимися способами требуется все возрастающая энергия.

В таблице 4.10 (стр. 64) Хэнкс выводит соотношение вложенного труда и полученного урожая путем деления первой величины на вторую и умножения на 1000: 9,08 — при подсечно-огневом земледелии, 20,39 — при разбросном севе и 12,47 — при пересадке рассады. Для определения эффективности труда земледельца, полагает Хэнкс, необходимо измерять расход энергии и результат труда в одних и тех же единицах. Если за день работы расходуется 1,1 фунта риса (необходимое для пропитания взрослого человека количество), то при делении на эту цифру величины произведенного за день риса (17,6 фунта — при подсечно-огневом земледелии и т. д.) и умножении полученного результата на 100, получаем искомую эффективность, или КПД: 1700% — при подсечно-огневом земледелии, 3800% — при разбросном севе и 2300% — при пересадке рассады (стр. 6). Прибегая к языку математики, Хэнкс выражает мысли о затратах энергии на производство риса, высказанные в тексте главы, следующей формулой (стр. 67):

$$\text{Затраты общественной энергии} = f \frac{CMpt}{L}, \text{ где } f — \text{функция, } p — \text{число людей, } t —$$

продолжительность труда в полевой сезон, *L* — возделываемая площадь, *M* — способ обработки земли, *C* — принятые в обществе установки относительно сельскохозяйственного труда, психический склад земледельцев и т. п. «Иными словами, — заключает Хэнкс, — вклад общественной энергии в определенный экологический район является функцией социальной организации и способа земледелия у данной рабочей единицы населения, трудящейся на полях определенного размера в данный сезон» (стр. 68).

Вторая часть книги (гл. 5—8) содержит конкретный материал, призванный подтвердить на примере деревни Бангчан теоретические суждения автора в первой части книги. Автор внимательно прослеживает, как отразилось на образе жизни и социальных отношениях деревенских жителей обращение к различным методам выращивания риса — от подсечно-огневого земледелия к разбросному севу и, наконец, высадке рассады.

За непродолжительный период (как уже говорилось, Бангчан начинает свою историю с середины прошлого столетия) жители этой деревни использовали все способы производства риса. В первый период (1850—1890 гг.) происходило оформление Бангча-

⁷ Эта цифра нас удивляет, так как по непонятной причине в табл. 4.9 прямые затраты труда определены в 241 день вместо 255 (см. табл. 4.7), а потому и суммарный результат получился 245 вместо 259.

на как населенного пункта, его выделение из культурного ландшафта и окружающей среды — саванны. Несколько семей первых поселенцев добывали себе средства к существованию подсечно-огневым земледелием. В следующий период (1890—1935 гг.) население значительно выросло, так как, благодаря ирригационным работам, в 1908 г. были созданы условия для выращивания заливного риса. В этот период земледельцы засевали свои поля семенами риса и довольствовались получаемыми урожаями. Так продолжалось до 30-х гг. нашего века, когда резкое снижение цен на рис заставило бангчанцев позаботиться о повышении урожая — этим объясняет автор их переход от разбросного сева к пересадке рассады. К этому времени плотность населения достигла около 400 чел. на кв. *милю*. «Спрессованность» событий, на которые в других производящих районах эйкумены потребовалось не одно тысячелетие, динамизм изменений, который неведом деревням Таиланда, исконом века специализировавшимся на выращивании заливного риса — все это привлекло внимание автора именно к деревне Бангчан. Это был редкий случай, когда удалось чисто этнографическими методами — с помощью личных наблюдений, опроса местных жителей, сбора сведений о других селениях с таким же непродолжительным сроком существования — восстановить историю столь значительных событий и подвергнуть ее затем специальному анализу.

Хэнкс показывает, какими событиями во внешнем мире, в природных и социальных факторах жизни Бангчана определялись последовательные изменения в экосистеме «человек — рис». Он придает большое значение тому, что Бангчан проделал путь от примитивного земледелия до его наиболее совершенных форм (типичных для большинства стран Юго-Восточной Азии, в которых механизация труда практически отсутствует) всего лишь за 85 лет, а древним китайцам для этого понадобилось более 5 тысяч лет. Почему это оказалось возможным? Благодаря использованию опыта, накопленного другими, — отвечает Хэнкс.

Сама постановка этого вопроса, да и ответ на него представляются весьма уязвимыми для критики. Кто такие жители Бангчана? Откуда они пришли сюда? Это жители Центрального Таиланда, чьи предки в течение многих веков, да и они сами до ухода на земли Бангчана, занимались тем самым орошаемым земледелием, для которого поначалу на месте, где возникла деревня Бангчан, не было условий, но через 85 лет здесь была создана ирригационная система, и бангчанцы восстановили вынужденно прерванную связь с культурой и традициями своих предков.

Думается, что рассматривая историю освоения района Бангчана, Хэнкс недооценил один из важных факторов, обозначенный буквой *C* в его формуле расчета затрат общественной энергии в определенный экологический район (см. гл. IV, стр. 19), а именно — принятых в обществе установок относительно сельскохозяйственного труда, психического склада земледельцев и т. п. Подобно тому, как жителям горных районов Таиланда (различным национальным меньшинствам) чрезвычайно трудно отказаться от привычного образа жизни и спуститься в долины (в чем заинтересовано государство), где потребуются совершенно по-новому организовать свой сельскохозяйственный труд, так и для тайских крестьян в низменных районах собственной страны длительный отход от рисоводства с пересадкой рассады, по-видимому, невозможен, и было бы удивительно, если бы не произошло «выравнивания» Бангчана с другими деревнями Центрального Таиланда.

Выводы, к которым приходит автор рецензируемой книги, помимо сугубо научного интереса, импонируют непосредственной связью с жизнью. Это — рекомендации относительно наиболее уместных (в зависимости от конкретных экологических и социальных условий) методов выращивания риса. Подсечно-огневое земледелие, по мнению Хэнкса, подходит к условиям богатой природными ресурсами местности с немногочисленным населением, требует незначительных затрат труда, но дает скромное вознаграждение. Разбросной сев более трудоемкий, но зато дает обильный урожай, которым может прокормиться большее население. Наконец, пересадка рассады, считает Хэнкс, является хорошим выходом из положения при возрастании плотности населения, когда нет недостатка в рабочей силе. Если первый способ земледелия, отмечает автор, не способствует дифференциации общества, то последний, требующий специализации хозяйств, возможен лишь в обществе, уже значительно дифференцированном. Первый способ подходит для небольшого народа, расселенного на обширной территории, в то время как пересадка рассады предполагает наличие большого населения, обрабатывающего маленькие участки земли, а земледелие с использованием метода разбросного сева образует промежуточную ступень.

На первый взгляд, эти выводы весьма банальны, и не дают какой-либо новой информации, но, будучи подкреплены расчетами по разным параметрам (см. таблицы в главе IV), приобретают силу и убедительность научной истины. Хэнкс подчеркивает, что для выращивания одного урожая риса последовательно усложняющимися способами требуется все возрастающая энергия, и предостерегает от нарушения баланса между затратами энергии и требованиями холдинга. Согласно концепции Хэнкса, оптимальный результат достигается в обществах, добивающихся наиболее полного соответствия между затратами энергии и требованиями холдинга. К таким обществам относятся как раз слаборазвитые страны (в том числе и Таиланд), заслуживающие похвалы Хэнкса за то, что вместо погони за материальными ценностями с помощью прогрессивной технологии они больше внимания уделяют ценностям духовным. Антиподами их для

Хэнкса являются общества, стремящиеся к предельному использованию своего энергетического потенциала: колоссальное превышение энергетических затрат над требованиями холдинга порождает социальные проблемы, извращения, одним словом, зло, проявлением которого являются, например, «затраты материальных и людских ресурсов на производство вещей, которые вскоре выйдут из моды, не будучи израсходованы, на производство — ценой миллионов человекодней — оружия для убийства десятков людей в далеких джунглях» (стр. 162).

Как уже отмечалось в нашей рецензии, положительная программа Хэнкса противоречива и весьма консервативна. Более того, он, по-видимому, переносит идеалы биологического равновесия в область социальных отношений. Хэнкс пишет: «...социальная стабильность» в Таиланде, и, вероятно, вообще на Востоке может быть скорее достигнута путем поощрения развития различий в благосостоянии, нежели борьбой за социальное равенство... Те, кто видит прогресс лишь в возвышении среднего класса, могут способствовать разрушению того симбиоза, на котором держится порядок» (стр. 117). Но свою книгу он заканчивает весьма здравыми суждениями: «...мир священен и надо относиться к нему как к таковому. Труд производящий — наш священный долг» (стр. 163).

Е. В. Иванова

НАРОДЫ АФРИКИ

Lothar Stein. Wandervolk der Wüste. Leipzig, 1974, 334 S.

Вышла в свет книга «Кочевники пустыни» сотрудника Лейпцигского музея этнографии Лотара Штайна, который известен специалистам как автор ряда содержательных публикаций по этнографии бедуинов¹. В новой книге Л. Штайн в отличие от своих прежних работ, посвященных отдельным группам бедуинов, ставит целью дать представление обо всем кочевом арабском мире, простирающемся от песков Северной Африки до пустынь Аравийского полуострова и Передней Азии. Будучи полевым этнографом, свободно владеющим арабским языком, Л. Штайн, естественно, положил в основу книги материал своих собственных наблюдений (в течение ряда лет он работал среди бедуинов Судана, Египта и Ирака). При этом широко использованы источники и специальная литература. Освещая разные стороны быта кочевников, автор знакомит читателя с жизнью бедуинов в наши дни. Обилие свежих сведений придает книге «Кочевники пустыни» особый интерес, ибо до сих пор литература небогата материалами, позволяющими в полной мере понять, насколько интенсивны современные социальные и культурные процессы среди бедуинов. Другое достоинство новой книги Л. Штайна состоит в том, что она предназначена не только для специалистов. На этот раз Л. Штайн отказался от утвердившегося в научной литературе способа изложения материала и обратился к динамичной форме путевого очерка. Общие сведения и исторические справки умело соединены с выразительными зарисовками самых различных эпизодов из быта бедуинов. Написанная просто и живо, книга доступна любому читателю, интересующемуся жизнью других народов Земли. Текст снабжен прекрасными фотографиями, большая часть которых сделана самим автором.

Л. Штайн умело сопоставляет картины старины с событиями последних лет, а форма очерка дала ему возможность свободно распределить материал исторического характера по всем десяти главам книги. При этом основные сведения о традиционной культуре кочевников все же сосредоточены в самых первых главах. Л. Штайн убедительно показывает, что и по сей день в жизни бедуинов сохранились очень многие черты прошлого. Как и века назад, они обитают в палатках, строго придерживаясь установленного деления жилища на мужскую и женскую половины; прежним остался и порядок распределения утвари на каждой половине, причем круг предметов, характерных для быта кочевника, подвергся лишь незначительным изменениям. Нет существенных новшеств и в одежде, и в пище кочевников — не угадло даже пристрастие к такому экзотическому лакомству, как высушенная подсоленная саранча; как и в старину, девушки украшаются татуировкой. Сложившиеся тысячи лет назад формы быта сопутствуют исконному общественному укладу бедуинов. Чрезвычайно устойчиво держится деление на племена, состоящие из подгрупп и более мелких подразделений; огромную роль в жизни соплеменников играют шейхи. Гостеприимство и кровная месть, власть отца в семье, приниженное положение женщины — все это явления сегодняшнего дня в пустынях, где странствуют бедуины. Образ мыслей современных бедуинов все еще воспроизводит древние нормы и обычаи, издавна регулировавшие

¹ L. Stein, Die Sammar-Gerba, «Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde zu Leipzig», Heft 17, Berlin, 1967; егo же, Zum Problem der Raubzüge (gazû) bei den Sammar-Gerba, «Annals of the Náprstek-Museum», 2, Praha, 1963; егo же, Eine neue Sammlung iraqischer Ethnographika im Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Teil 1, Araber, «Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig», Bd. XX, Berlin, 1964, и др.

отношения в обществе кочевников. Страницы, посвященные религиозным верованиям бедуинов, говорят о том, что и сейчас, как и во времена Мухаммеда, кочевники-арабы по-прежнему крайне поверхностно знакомы с исламом, и многие предписания религии совершенно не имеют влияния в их среде. Л. Штайн объясняет причину такого консерватизма. Не соглашаясь с мнениями, имеющими хождение в буржуазной науке, он считает, что от перемев в образе жизни бедуинов ограждал сам способ хозяйствования с его ограниченными возможностями для развития (стр. 30)².

Однако при целом сохранении архаики в быту многих групп кочевников бедуинский мир в целом претерпел огромные изменения, обусловленные общими преобразованиями в современном мире. Автор подчеркивает, что и прежде кочевники не были изолированы от оседлого населения — номады не только тревожили земледельцев набегами, но и устанавливали за определенную дань опеку над отдельными районами, вели оживленный обмен продуктами, порою сосредоточивая торговлю в своих руках³. А в наши дни научно-технический прогресс все прочнее связывает пустыни с оазисами.

Первые существенные изменения в бедуинском обществе Л. Штайн справедливо относит к колониальному периоду, когда английские и французские власти стали активно вовлекать арабов в сферу своей политики. В целях создания системы косвенного управления колониальная администрация склоняла шейхов на свою сторону, превращая их в крупных земельных собственников; это разрушало прежние принципы социального устройства. После первой мировой войны началось освобождение рабов; это был еще один удар по исконному укладу жизни бедуинов. Но действительно существенные перемены, как показывает автор, начались в арабских странах только после завоевания ими независимости, когда у власти встали правительства, энергично способствующие модернизации экономики и социальным преобразованиям. Общая задача преобразований неминуемо соприкасалась с бедуинской проблемой: в ряде молодых арабских государств отчетливо осознавалась необходимость улучшить быт номадов и пробудить их к участию в жизни страны.

Мероприятия, которые проводились и проводятся в целях оказания помощи кочевникам, направлены на решение двух основных вопросов — водоснабжение в пустыне и перевод бедуинов на оседлость. Л. Штайн констатирует, что древняя проблема воды и сейчас еще не решена окончательно. В связи с этим показателен его рассказ о стычке разных «племенных» групп у одного из колодцев в суданской степи. Повод для конфликта был ничтожным: разошлись во мнении, кто хозяин нескольких пустых канистр из-под бензина. Но происшествие было порождено чрезвычайно напряженной обстановкой, поскольку колодец стал давать меньше воды, старое распределение часов пользования уже не отвечало потребностям, и это вызывало всеобщее беспокойство (стр. 167—169). Миллионы кочевников, как пишет Л. Штайн, до сегодняшнего дня ведут утомительную работу по подъему воды старыми способами. Но внимание автора больше привлекают перемены. Он подробно пишет о том, как во многих арабских странах внедряются новые, современные способы извлечения воды из земных недр. Улучшается техника возведения искусственных дамб на путях дождевых потоков. Колодцы оборудуются бетонными трубами, механизмируется подъем воды (например, для извлечения воды из колодцев применяются ветряки; в северо-западном Египте уже работают тысячи таких двигателей). Создаются артезианские колодцы, появляются и новые источники как побочный результат бурения скважин в поисках нефти. Автор делится своими впечатлениями о Ливийской пустыне, куда египетское правительство послало его в 1968—1969 гг. для изучения эффективности работ по «борьбе за воду». Он увидел там многочисленные группы инженеров, геологов, строителей колодцев, агрономов и специалистов по животноводству, которые объединили свои усилия, чтобы найти воду в Сахаре (стр. 178). Постепенно проводится в жизнь проект орошения пустыни и основания в Сахаре новых поселков. Этот проект вдохновлен не только раздумьями о судьбах бедуинов, он призван также рассредоточить оседлое население, скопившееся в долине Нила. Л. Штайн уверен, однако, что и современные средства добычи воды не решают всех вопросов. Он приводит пример с трубопроводом от Нила до Александрии, который далеко не полностью удовлетворил потребность жителей в воде (стр. 187—190). В цикле очерков, посвященных проблеме водоснабжения, автор позволяет себе отход от бедуинской темы, когда рассказывает о сложном водном праве в оазисе Сива (АРЕ). Но это отступление (стр. 210—215) вполне логически оправданно, так как служит прекрасной иллюстрацией к состоянию проблемы в целом, острой и для оседлого населения.

Перевод бедуинов на оседлость — еще более сложная и многоплановая проблема, чем борьба за воду, ибо оседание кочевников связано с переменной самого образа жизни и предполагает огромную работу по приобщению бедуинов к современной культуре. Переход номадов к оседлому состоянию происходил много веков назад, археоло-

² Такого же взгляда придерживаются и многие советские ученые. См., например: Г. Е. Марков, *Кочевники Азии*, Автореф. докт. дис., М., 1967; С. И. Вайнштейн, *Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства*, М., 1972.

³ Проблема взаимоотношений кочевников с оазисами привлекает внимание специалистов как в нашей стране, так и за рубежом. См., например: «The desert and the sawn: nomads in the wider society», Cairo, 1973.

гические материалы свидетельствуют о промежуточных формах хозяйства еще в ассирийскую эпоху. Отвечая на вопрос, каковы причины оседания, Л. Штайн анализирует неудачную попытку турецкой администрации в прошлом веке покончить с кочевым бытом бедуинов Ирака (стр. 275—276) и приходит к выводу: оседание происходит лишь при благоприятных объективных условиях, когда сами кочевники начинают чувствовать потребность в переменах. В настоящее время имеются серьезные предпосылки для отмирания номадизма. Устанавливаются все более тесные связи бедуинов с оазисами, в результате чего кочевой мир теряет свою относительно хозяйственно-культурную самостоятельность. Многие изменилось не в пользу бедуинов: сократился объем караванной торговли, приносившейномадам существенный доход; моторизованные подразделения полиции осуществляют действенный контроль над номадами; наконец, побывавшая в городах и на службе в армии молодежь желает большего, чем может дать образ жизни прадедов. Железные дороги, проведенные через территории кочевания бедуинов, необычайно приблизили лагерь номада к центрам современной цивилизации.

В течение последних двух десятилетий в ряде арабских стран идет большая планомерная работа по переводу бедуинов на оседлость. Резкая ломка старых традиций болезненна, поэтому преобразования осуществляются через переходные формы. Первые шаги к оседлости делают номада полукочевниками. Эта форма, как указывает Л. Штайн, может существовать и десятилетия, и столетия. Полукочевники обычно строго держатся за сезонные хозяйственные циклы. Так, в Месопотамии полукочевые бедуины засевают поля в начале зимних дождей и уходят в район пастбищ, где они и прежде пасли свой скот. Пребывание на пастбищах совпадает с охотой. К началу сухого сезона (апрель-май) происходит обратное движение людей и животных к полям с созревающим урожаем, скот пасется поблизости от деревьев на сохранившихся для него пастбищах. Кроме верблюдов, овец и коз, у полукочевых бедуинов уже появились ослы, применяемые в пахотных работах, и крупный рогатый скот. Это говорит о переходе к полuosедлому образу жизни; быков на зимние пастбища не берут, и часть населения остается в деревне круглый год. Число полuosедлых поселений неуклонно растет (стр. 292 и далее).

Однако препятствия на пути процесса оседания велики и связаны не только с большими пространствами неосвоенных земель и численностью бедуинов, но и с властью старых привычек. Бедуины неохотно меняют тип жилища. Типичным признаком оседлых и полuosедлых деревень служат черные шерстяные палатки, натянутые рядом с домами: в них живут, когда благоприятствует погода. Л. Штайн не раз видел современный дом, используемый как загон для скота, в то время как хозяин с семьей жил в палатке (стр. 186, 187). Даже в случаях, когда экономическая выгода новшеств очевидна, кочевники не всегда спешат внести изменения в прежний ритм своих занятий. Очень интересен в связи с этим рассказ автора о переговорах с бедуинами баккара (Судан). С помощью Советского Союза суданское правительство построило в юго-восточной части Кордофана завод для переработки молока. Этот завод был задуман как средство использовать большие хозяйственные резервы кочевников. Но первое время завод не мог работать из-за недостаточных поставок молока. Номады не привыкли продавать молоко. Они охотнее дарили, чем продавали этот продукт. Кроме того, среди баккара держалось мнение, что молодой скот сдохнет, если не будет получать достаточно молока. Еще в 1972 г., несмотря на разяэснительную работу, мощность завода использовалась только наполовину. Л. Штайн воспроизвел в книге записанный на магнитофонную пленку разговор директора завода с шейхами бедуинов. Эта беседа (стр. 284—292) дает яркое представление об отношении номадов к переменам. Трудности завода в Кордофана позволяют автору подчеркнуть, что работа по вовлечению кочевников в новый образ жизни требует много терпения и такта, хорошего знания обычаев и привычек бедуинов. Так, администрация завода оборудовала колодцы вокруг города с целью привлечь баккара, но колодцы оказались вне традиционных путей перекочевки.

Автор обращает внимание на консерватизм социальной организации, которая сохраняется в процессе оседания (стр. 295). Так, прежние вожди в деревне выступают в роли старосты; даже городские кварталы населены членами одной и той же родственной группы. Устойчиво и традиционное мировоззрение, которое мешает осуществлению многих преобразований. Л. Штайн, например, передает свой разговор с одним поселившимся в деревне бедуином. Этот человек не собирался претворять в жизнь призывы правительства придерживаться планирования семьи. «Дети — вся радость в жизни и, кроме того, опора в старости, — сказал он этнографу. — Я теперь стал зарабатывать больше, чем в свою бытность батраком, и неужели не могу позволить себе семью побольше?... Возможно, со временем возьму и вторую жену» (стр. 186). Традиционные взгляды мешают успехам образования. Автор сам видел, как некоторые родители посылали детей к стаду вместо школы.

Правительства таких стран, как Алжир, Египет, Ирак оказывают разностороннюю помощь кочевникам. Строятся образцовые деревни, создаются образцовые поля. Организуются кооперативы для приобретения семян и сбыта продуктов. Бедуинам предоставляется современная медицинская помощь, расширяется сеть школ для их детей. Л. Штайн считает, что в Египте проблема перевода бедуинов на оседлость в основном решена (впрочем, там в последнее время номады составляли небольшую часть

гические материалы свидетельствуют о промежуточных формах хозяйства еще в ассирийскую эпоху. Отвечая на вопрос, каковы причины оседания, Л. Штайн анализирует неудачную попытку турецкой администрации в прошлом веке покончить с кочевым бытом бедуинов Ирака (стр. 275—276) и приходит к выводу: оседание происходит лишь при благоприятных объективных условиях, когда сами кочевники начинают чувствовать потребность в переменах. В настоящее время имеются серьезные предпосылки для отмирания номадизма. Устанавливаются все более тесные связи бедуинов с оазисами, в результате чего кочевой мир теряет свою относительно хозяйственно-культурную самостоятельность. Многие изменилось не в пользу бедуинов: сократился объем караванной торговли, приносившейномадам существенный доход; моторизированные подразделения полиции осуществляют действенный контроль над номадами; наконец, побывавшая в городах и на службе в армии молодежь желает большего, чем может дать образ жизни прадедов. Железные дороги, проведенные через территории кочевания бедуинов, необычайно приблизили лагерь номада к центрам современной цивилизации.

В течение последних двух десятилетий в ряде арабских стран идет большая планомерная работа по переводу бедуинов на оседлость. Резкая ломка старых традиций болезненна, поэтому преобразования осуществляются через переходные формы. Первые шаги к оседлости делают номада полукочевником. Эта форма, как указывает Л. Штайн, может существовать и десятилетия, и столетия. Полукочевники обычно строго держатся за сезонные хозяйственные циклы. Так, в Месопотамии полукочевые бедуины засевают поля в начале зимних дождей и уходят в район пастбищ, где они и прежде пасли свой скот. Пребывание на пастбищах совпадает с охотой. К началу сухого сезона (апрель-май) происходит обратное движение людей и животных к полям с созревающим урожаем, скот пасется поблизости от деревень на сохраненных для него пастбищах. Кроме верблюдов, овец и коз, у полукочевых бедуинов уже появились ослы, применяемые в пахотных работах, и крупный рогатый скот. Это говорит о переходе к полuosедлому образу жизни; быков на зимние пастбища не берут, и часть населения остается в деревне круглый год. Число полuosедлых поселений неуклонно растет (стр. 292 и далее).

Однако препятствия на пути процесса оседания велики и связаны не только с большими пространствами неосвоенных земель и численностью бедуинов, но и с властью старых привычек. Бедуины неохотно меняют тип жилища. Типичным признаком оседлых и полuosедлых деревень служат черные шерстяные палатки, натянутые рядом с домами: в них живут, когда благоприятствует погода. Л. Штайн не раз видел современный дом, используемый как загон для скота, в то время как хозяин с семьей жил в палатке (стр. 186, 187). Даже в случаях, когда экономическая выгода новшеств очевидна, кочевники не всегда спешат внести изменения в прежний ритм своих занятий. Очень интересен в связи с этим рассказ автора о переговорах с бедуинами баккара (Судан). С помощью Советского Союза суданское правительство построило в юго-восточной части Кордофана завод для переработки молока. Этот завод был задуман как средство использовать большие хозяйственные резервы кочевников. Но первое время завод не мог работать из-за недостаточных поставок молока. Номады не привыкли продавать молоко. Они охотнее дарили, чем продавали этот продукт. Кроме того, среди баккара держалось мнение, что молодяк сдохнет, если не будет получать достаточно молока. Еще в 1972 г., несмотря на развязанную работу, мощность завода использовалась только наполовину. Л. Штайн воспроизвел в книге записанный на магнитофонную пленку разговор директора завода с шейхами бедуинов. Эта беседа (стр. 284—292) дает яркое представление об отношении номадов к перемене. Трудности завода в Кордофане позволяют автору подчеркнуть, что работа по вовлечению кочевников в новый образ жизни требует много терпения и такта, хорошего знания обычаев и привычек бедуинов. Так, администрация завода обводила колодцы вокруг города с целью привлечь баккара, но колодцы оказались вне традиционных путей перекочевки.

Автор обращает внимание на консерватизм социальной организации, которая сохраняется в процессе оседания (стр. 295). Так, прежние вожди в деревне выступают в роли старосты; даже городские кварталы населены членами одной и той же родственной группы. Устойчиво и традиционное мировоззрение, которое мешает осуществлению многих преобразований. Л. Штайн, например, передает свой разговор с одним поселившимся в деревне бедуином. Этот человек не собиравшись претворять в жизнь призывы правительства придерживавшись планирования семьи. «Дети — вся радость в жизни и, кроме того, опора в старости, — сказал он этнографу. — Я теперь стал зарабатывать больше, чем в свою бытность батраком, и неужели не могу позволить себе семью побольше?... Возможно, со временем возьму и вторую жену» (стр. 186). Традиционные взгляды мешают успехам образования. Автор сам видел, как некоторые родители посылали детей к стаду вместо школы.

Правительства таких стран, как Алжир, Египет, Ирак оказывают разностороннюю помощь кочевникам. Строятся образцовые деревни, создаются образцовые поля. Организируются кооперативы для приобретения семян и сбыта продуктов. Бедуинам предоставляется современная медицинская помощь, расширяется сеть школ для их детей. Л. Штайн считает, что в Египте проблема перевода бедуинов на оседлость в основном решена (впрочем, там в последнее время номады составляли небольшую часть

населения в отличие от других арабских стран). Но в других государствах предстоит еще проделать колоссальную работу с затратой больших финансовых средств и привлечением тысяч специалистов. При всех трудностях, которые стоят на пути перехода кочевников к оседлому образу жизни, судьба бедуинов представляется Л. Штайну ясной. «Вымирают ли бедуины?» — спрашивает он в названии одной из глав и отвечает: «Не надо быть пророком, чтобы сказать, что бедуинство как социальное явление идет к концу» (стр. 312). Численность кочевников уменьшается за счет пополнения категории полукочевых населения. Классическое бедуинство, описанное в первой части книги, исчезает, но не физически; напротив, как свидетельствует статистика, численность бедуинов значительно быстрее растет после оседания, чем при кочевом образе жизни.

Автор объясняет, почему правительства развивающихся стран заинтересованы в оседании бедуинов. Наряду с такими факторами, как забота о росте национального самосознания, которому противостоит племенная идеология, Л. Штайн называет главную причину — экономическую. Экстенсивное хозяйство дает мало пользы для страны. В развивающихся странах быстро растет население, и задача отвоевания новых земель у нынешних степей и пустынь является чрезвычайно актуальной.

Заклучая книгу, Л. Штайн подчеркивает, что ведущую роль в этой борьбе за преобразование природы играет Советский Союз с его планами преобразования среднеазиатских пустынь (стр. 314, 315). На опыт СССР, в частности связанный с оседанием кочевников и орошением безводных земель, опираются специалисты Алжира, Египта и ряд других стран. Советская Средняя Азия дает лучший пример использования районов, где возможно только скотоводство. Здесь совершенно необязательно сохранять кочевое население. В среднеазиатских республиках имеются совхозы со специализированными бригадами, которые постоянно пасут стада, тогда как основная масса населения живет оседло. Такая организация хозяйства и быта позволяет животноводам пользоваться всеми социальными и культурными благами, которые принес народам социализм. Богатый положительный опыт в этом отношении накоплен и в МНР.

Книга Л. Штайна очень полезна для ученых, изучающих кочевые и полукочевые народы за пределами арабоязычного мира. Эта работа побуждает специалистов вновь сопоставить бедуинов с другими кочевниками, в частности с тюркоязычными племенами Средней Азии. Поразительная близость культур заставляет вернуться к вопросу о причинах схождения. Кое-что легко объясняется самой спецификой образа жизни: это и племенная структура, и знаки племенной собственности (тамги), и племенной клич (уран), и почтительное отношение к верблюдам, и нормы поведения в обществе, обусловленные обычным правом. Отдельные черты традиционной культуры могли стать общими в итоге распространения ислама среди тюркоязычных народов. Однако ряд культурных элементов, видимо, является наследием очень древнего общения кочевых и полукочевых племен, с незапамятных времен бродивших по пустыням от Центральной Азии до Северной Африки.

Л. Штайн не ставил перед собой цель сравнивать бедуинов с другими кочевыми народами. Но, пожалуй, несколько страниц, посвященных этнографическим параллелям, более выпукло показали бы место бедуинов в общей картине исторически сложившихся хозяйственно-культурных типов человечества. Возможно, было бы также целесообразным более подробно остановиться на опыте нашей страны по переводу кочевников на оседлость. Однако ясно, что эти пожелания выходят за рамки основной темы автора.

Книга Л. Штайна является новым свидетельством того, что популярная форма изложения научного материала завоевывает прочные позиции, и все больше ученых считают нужным обратиться к жанру беллетристических очерков, сделав, таким образом, итоги своих исследований доступными и ширококому кругу читателей. Написанная ученым-марксистом книга «Кочевники пустыни» с ее обилием сведений о современных процессах в мире кочевников-арабов заслуживает перевода на русский язык.

В. Н. Басилов

НАРОДЫ АМЕРИКИ

Willard Burgess Moore, *Molokan oral tradition. Legends and memorates of an ethnic sect*, Berkeley and Los Angeles, 1973, 82 p.

В свое время из дореволюционной России в США эмигрировало несколько групп сектантов-молокан (духовных христиан). Как сообщает автор рецензируемой книги, основная волна этой эмиграции приходится на 1904—1912 гг. Иммигранты расселились в ряде районов США, большинство в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. По данным 1970 г., в первом проживает около 15 000 молокан, в организационно-конфес-

сиональном отношении составляющих семь общин, во втором — около 2000, причем лос-анджелесские молокане относятся к толку «прыгунов», а сан-францисские — к толку «тиостянных». Конфессиональная замкнутость молоканских общин в какой-то мере обусловила и их этническую консервацию. Объединяемые вероисповедной общностью, молокане в иноязычной и инациональной среде стремятся сохранять образ жизни, исторически связанный с русской дореволюционной деревней. Устная традиция используется руководящей верхушкой общин для сохранения своего влияния на подрастающее поколение и предохранения самих общин от распада в условиях американского секулярного окружения.

Этнографических работ об американских молоканах опубликовано до сих пор очень мало¹, на русском языке их нет совсем. Тем больший интерес вызывает рецензируемое издание, в котором автор не только подытожил материалы прежних публикаций по названной проблеме, но и привел данные своих собственных полевых исследований, проводившихся им в течение четырех поездок к лос-анджелесским молоканам.

В книге подчеркиваются те трудности, с которыми приходится сталкиваться исследователю, работающему среди молокан; основная — нежелание информаторов давать открытые и полные сведения о внутренней жизни общин. Что касается собственно фольклорных данных, то особенно трудно собрать материал нерелигиозного характера. Этим автор объясняет скудость и фрагментарность представляемых им фольклорных произведений этого рода и заключение о их взаимосвязи с нормативами и постулатами общины (стр. 67). Некоммуникабельность молокан в отношении не только ученых, но и властей (они отказываются, в частности, давать сведения о себе при переписях населения) автор относит не за счет их религиозных убеждений, а за счет «традиционного сопротивления бюрократическим обследованиям и манипуляциям», которое на деле было реакцией на отсутствие свободы совести в царской России².

Хотя переплетение этнических и религиозных элементов в значительной степени задержало процесс «осовременивания» духовной и материальной культуры молокан США, пожилые молокане живут в постоянном страхе, что их дети скоро будут редко посещать церковь, не захотят присутствовать на семейных молениях, откажутся носить русские крестьянские рубахи, начнут посещать кино, ездить на пляж. В беседе с автором книги тридцатилетний помощник пресвитера сказал: «Мы больше не живем в деревне, в закрытом обществе, мы уже не группы больших семей — бедных и простых... Единственно общим для нас является церковь. Отнимите ее, и у нас ничего не останется».

Собрание произведений фольклора рассматривается в рецензируемой работе не как самоцель, а как средство исследования жизни и быта молокан, поскольку в «фольклорных сказаниях отражаются экзистенциальные и нормативные постулаты молоканского мировоззрения» и, помимо того, они «помогают общине поддерживать ее социальное и политическое равновесие» (стр. 68). В соответствии с этим несколько глав работы посвящено изложению исторических и вероисповедных основ молоканства в целом и «прыгунов» в частности. В этих главах преобладает материал, хорошо известный в литературе. Большой интерес представляют опубликованные автором собственные записи «повествований» (narratives) молокан-«прыгунов» района Лос-Анджелеса.

Всего приводится и анализируется 28 таких произведений. Половину из них составляют, по терминологии У. Мура, легенды, к другой половине относятся «воспоминания, воспоминания-знамения» (open-memories), семейные предания и личные наблюдения» (стр. 66). Сами молокане классифицируют произведения своей устной традиции следующим образом: 1) случаи; 2) события; 3) знамения; 4) уроки. К «случаям» относятся воспоминания о сверхъестественных событиях, лично наблюдавшихся рассказчиком или другими известными ему единоверцами; сохраняемые в коллективной памяти общины значительные по своему содержанию, важные (valid) рассказы такого типа. Еще более важны «случаи», сложные по своему содержанию, явно подвергшиеся переработке, которые именуются событиями. Рассказы о непонятных и даже загадочных, но представляющихся важными и поучительными, явлениях носят названия знамений. И, наконец, когда «знамение» уже понято, оно получает название «урока» (стр. 67). Перед нами, таким образом, произведения фольклора, по своей направленности выдержанные в религиозном духе, — автор неоднократно подчеркивает «сверхъестественное» содержание их сюжетов. В то же время он допускает существование у молокан секулярных по своему духу форм фольклора, не поддающихся фиксации исследователем из-за скрытности информаторов, избегающих нарушения соответствующих запретов.

По своей фабуле записанные сказания довольно однообразны. Из 28 приводимых записей 12 построены по стандартной схеме: «пророк» или другой выдающийся и уважаемый деятель общины, — обычно из тех, которые именуются старцами, — провидит

¹ Автор ссылается на следующие издания: P. V. Young, *The Pilgrims of Russian-Town*, Chicago, 1932; J. H. Berokoff [Джон Бирюков?], *Molokans in America*, Whittier, 1969; William H. Moore, *Prisoners in the Promised Land*, Arizona State University, 1972.

² Небезынтересно в связи с этим отметить, что условия работы этнографов и фольклористов среди советских молокан значительно более благоприятны, ибо у нас молокане не отличаются такой замкнутостью.

опасность, угрожающую всей общине или кому-нибудь из ее членов, он предупреждает людей и советует им предпринять соответствующие меры; в результате угроза предотвращается или, по меньшей мере, ее последствия смягчаются. Грозящее бедствие может являться естественным, например, землетрясение, или социальным, например, призыв молоканской молодежи в царскую армию (речь идет о прошлых временах, когда молокане проживали еще в России).

Представляет известный интерес то обстоятельство, что в значительной своей части молоканский фольклор сосредоточен на сюжетах, связанных со страданием людей и опасностями, им угрожающими. В этом отразились условия их реального бытия, — общественного и индивидуального, — те условия, которые порождают религиозные верования и обуславливают их живучесть.

Несмотря на семейное религиозное воспитание, которое молокане дают своим детям, современная американская культура не может не оказывать влияния на молокан, особенно на молодежь. По мере того как молокане в поисках работы разъезжались по стране, они вынуждены были все больше принимать тот образ жизни, который их окружал.

Автор называет молокан «этнической сектой», чьи «язык, система верований и религиозная практика резко отличается от немолоканского мира» (стр. 71).

В последние годы проблема формирования и разложения этноконфессиональных общностей привлекает все большее внимание ученых. При этом социологические исследования показывают, что сторонников религии с каждым годом становится все меньше, падает влияние служителей культа на народные массы и молокане не представляют здесь исключения.

Автор считает, что в зависимости от того, насколько молокане сумеют сохранить свои внутренние связи, зависит способность сопротивления структуры молоканских общин влиянию внешнего мира. «Этнические секты остаются неприкосновенными до тех пор, — пишет У. Мур, — пока существуют социальные связи между членами, имеющими общее прошлое и общее будущее... Фольклор молокан помогает сохранять эту индивидуальность» (стр. 78).

В книге имеется обширная библиография, в которой указаны многие труды советских и зарубежных авторов, посвященные исследованию молокан.

И. А. Малахова

НАРОДЫ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ

В. Р. Кабо. Тасманийцы и тасманийская проблема. М., 1975, 199 стр.

Хотя советские этнографы и проявляют закономерный интерес к обширному Австрало-Океанскому региону, до недавнего времени коренное население Тасмании фактически оставалось вне поля их зрения. Небольшая глава в книге «Народы Австралии и Океании» (в серии «Народы мира») ¹ да несколько статей, давно уже ставших библиографической редкостью, — вот и вся отечественная литература о тасманийцах.

А между тем тасманийцы представляют огромный интерес для историков первобытного общества, специалистов по истории культуры, религии, искусства, так как они находились на той ранней стадии развития, которая была характерна для человечества в эпоху позднего палеолита, до возникновения производящего хозяйства, и, следовательно, их экономика, материальная и духовная культура, общественные отношения и верования являются ценнейшими источниками для характеристики этих явлений столь отдаленной от нас эпохи.

Поэтому нельзя не приветствовать выход в свет книги В. Р. Кабо, заполняющей заметный пробел в нашей этнографической литературе. Книга называется «Тасманийцы и тасманийская проблема». Что же подразумевает автор под тасманийской проблемой? По его мнению, тасманийская проблема сводится к таким вопросам, как происхождение тасманийцев, определение их места на шкале общественного и культурного развития, выяснение последствий их длительной географической и культурной изоляции.

Решению этих вопросов и посвящена рецензируемая работа, которая представляет собой первый опыт комплексного подхода к тасманийской проблеме. Впервые в научной литературе предпринята попытка решить тасманийскую проблему во всем ее объеме, привлекая данные различных научных дисциплин, естественных и гуманитарных, взаимно дополняющих и корректирующих друг друга.

Комплексный метод был уже успешно применен автором при исследовании происхождения коренного населения Австралии ². И в новой работе главное внимание, на наш взгляд, автор уделяет вопросу происхождения тасманийцев, который он считает связанным с проблемой происхождения аборигенов Австралии.

¹ «Народы Австралии и Океании» («Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1956, стр. 272—281.

² В. Р. Кабо, Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии, М., 1969.

Введение определяет задачи исследования. В первых трех главах рассматривается происхождение тасманийцев в свете данных геологии, палеогеографии, антропологии и археологии. По мнению автора, люди появились в Тасмании примерно 11 тысяч лет назад из Австралии, когда остров еще был соединен с материком. В книге подробно рассматриваются точки зрения различных антропологов на происхождение тасманийцев. При этом подчеркивается вывод, к которому пришло большинство исследователей, что тасманийцы очень близки к австралийцам; значит они либо произошли вместе с ними от общего расового ствола, либо принадлежат вместе с австралийскими аборигенами к родственной группе рас, либо являются продуктом смешения различных расовых компонентов, среди которых преобладают черты австралоидного.

В. Р. Кабо считает, что предками тасманийцев, как и их соседей — аборигенов Австралии, были палеоавстралоиды, обитавшие на древнеазиатском материке в эпоху позднего плейстоцена. Своеобразный антропологический тип тасманийцев он объясняет не особым происхождением, а длительной географической и биологической изоляцией, допуская возможность образования тасманийской локальной расы в результате генетико-автоматических процессов внутри небольшой группы палеоавстралоидов, попавших в Тасманию еще в плейстоцене и надолго отрезанных и от Австралии и от всего мира.

На Австралийском континенте В. Р. Кабо находит истоки не только антропологического типа тасманийцев, но и их каменной индустрии, причем чем старше археологические культуры Тасмании и Австралии, тем больше между ними сходства. В то же время в Тасмании отсутствуют специализированные орудия более поздних археологических культур Австралии, которые возникли, вероятно, уже после отделения острова от материка. Автор считает, что морфологическое сходство археологических культур Австралии и Тасмании вполне закономерно и свидетельствует не только о стадильной близости этих культур, но и о единстве их происхождения.

Различия между ними возникли в результате отделения тасманийцев и их последующей изоляции. Это положение хорошо аргументировано и выглядит вполне убедительным.

Археологический раздел книги важен не только для решения загадки происхождения коренного населения Тасмании. В нем впервые на основе обобщения археологических материалов реконструируется история тасманийцев с момента заселения острова и до начала европейской колонизации. Большой заслугой автора является то, что, опираясь на археологические открытия последних лет, он опровергает широко распространенное мнение о застойном характере культуры тасманийцев, хотя ее развитие по ряду причин шло замедленными темпами.

Анализируя изобразительное искусство тасманийцев, В. Р. Кабо приходит к выводу, что решительно все в нем — и мотивы, и техника выполнения рисунков, и, вероятно, семантика — указывает на связи с Австралией, причем связи эти восходят к глубокой древности.

Для выяснения вопроса о происхождении тасманийцев привлекаются и данные лингвистики. Автор указывает на сходство между тасманийскими и австралийскими языками, которое прослеживается в их лексике, фонетике, морфологической структуре. Он считает это сходство еще одним доказательством своей точки зрения, что тасманийцы — ответвление древнего населения Австралии.

Проанализировав дошедшие до нас крайне отрывочные и противоречивые сведения о религиозных верованиях и обрядах тасманийцев, В. Р. Кабо приходит к выводу, что, вопреки сложившемуся мнению, они были довольно сложными. Он обнаружил наличие у тасманийцев веры в существа, одно из которых ассоциировалось ими с жизнью, добром и светом, а другое со смертью, злом и тьмой, представление о загробном существовании людей, обряды посвящения, элементы магии и тотемической табуации, сравнительно развитую мифологию, веру в культурных героев, весьма разнообразные и сложные погребальные обряды. Автор прослеживает многочисленные аналогии в верованиях, в мифах о создании Земли и первых людей, в обрядах и культовых предметах австралийских аборигенов и тасманийцев и считает это свидетельством в пользу существования древней австрало-тасманийской культурной общности.

Рассмотрев наиболее существенные элементы материальной культуры тасманийцев, В. Р. Кабо приходит к выводу, что она была очень близка к материальной культуре аборигенов Австралии. Сходство прослеживается в жилищах, одежде, деревянном оружии, в способах добывания огня, средствах навигации, технике плетения, в музыкальных инструментах. Опираясь на это сходство, автор склонен считать тасманийскую культуру как бы локальным вариантом австралийской культуры. Отсутствие у тасманийцев некоторых элементов последней (бумерангов, копьеметалок), относительная бедность тасманийской материальной культуры объясняются изоляцией и спецификой природных условий.

В. Р. Кабо не считает культуру тасманийцев чем-то единым и неизменным, а указывает, что существовали культурные различия между группами, населявшими различные районы острова.

Большой интерес представляет предпринятая автором попытка реконструировать хозяйственную деятельность и общественные отношения тасманийцев. Заслуживает внимания вывод В. Р. Кабо, основанный на сопоставлении сообщений различных наблюдателей и данных археологии, о существовании у тасманийцев в рамках единой охотничье-собирательской экономики двух хозяйственно-культурных типов — западного

и восточного. Об этом свидетельствуют различия в хозяйственной деятельности, плотности населения, типах жилищ, особенностях орудий труда. Жители западного побережья, специализировавшиеся на промысле тюленей и добыче моллюсков, жили относительно оседло, в то время как аборигены Восточной Тасмании постоянно кочевали, так как основой их жизни были охота на сухопутных животных и собирательство, наряду со сбором моллюсков на берегу.

Автор приходит к выводу, что все коренное население Тасмании группировалось в ряд иерархических общностей: две большие лингвистические группы, пять лингвистических общностей, 10 племен и не менее 70 локальных групп, состоявших из семей. Основной экономической ячейкой тасманийского общества В. Р. Кабо считает локальную группу, так как земля находилась в коллективной собственности локальной группы в полном ее составе. Надо подчеркнуть, что в данной работе автор отказался от характеристики локальной группы как объединения людей, непостоянного по размерам и составу³. Наоборот, теперь в качестве одного из признаков локальной группы он указывает на относительно стабильный состав ее, что, на наш взгляд, более соответствует истине.

Непостоянность величины и состава В. Р. Кабо считает присущим так называемой хозяйственной группе. Этим термином он обозначает несколько семей, совместно добывавших пищу. Хозяйственная группа в книге названа оптимальной хозяйственной ячейкой охотниче-собирательского общества, очень гибкой, меняющейся по составу и в размерах в зависимости от природных условий.

В. Р. Кабо полагает, что динамичность, пластичность первобытной общины, чутко реагировавшей на изменение условий жизни, являются условием необычайной устойчивости этого социального института, выражением максимальной приспособленности его к меняющимся условиям. Община в том виде, в каком она засвидетельствована этнографическими материалами, включая тасманийские, представляет собой, по мнению автора книги, основной производственный коллектив общества охотников и собирателей, что делает ее и ведущей социальной ячейкой. Этот вывод представляется нам одним из важнейших в книге. В характеристике первобытной доземледельческой общины как относительно стабильной социально-экономической ячейки, состоящей из подвижных хозяйственных групп, В. Р. Кабо оригинален, и сделанные им выводы выходят за пределы собственно тасманийского материала.

В результате анализа материальной культуры, хозяйства и социальной организации тасманийцев В. Р. Кабо приходит к выводу, что они находились на стадии развития, соответствовавшей позднему палеолиту. Так решается вопрос о месте тасманийцев на ступенях развития культуры и общества.

Ценность книги заключается в том, что в ней воссоздается обобщающая картина, возможно единственного, известного этнографам, позднепалеолитического общества. При этом автор не уклоняется от дискуссий со своими предшественниками. Так, он считает недоказанным мнение тех ученых, которые допускали наличие родовой организации у тасманийцев. В. Р. Кабо оставляет этот вопрос открытым. Он считает недостаточно обоснованным и вывод о существовании у тасманийцев группового брака.

В. Р. Кабо пришлось проделать большую работу (не всегда видную читателю), чтобы на основе фрагментарного, часто противоречивого, материала построить стройную убедительную картину тасманийского общества.

К сожалению, из-за скудости и фрагментарности источников автору при описании общественных институтов тасманийцев иногда приходится обращаться к австралийскому этнографическому материалу, а отсюда известная схематичность некоторых построений, касающихся соотношения хозяйственных, локальных групп и племен, племен и лингвистических общностей.

Вызывает некоторое сомнение правомерность употребления по отношению к тасманийцам (и тем более австралийским аборигенам) в целом термина «народ» (стр. 7, 11, 88, 153 и др.). Ведь и в Австралии, и в Тасмании существовал ряд племен, говоривших на различных языках и имевших свои специфические культурные особенности, причем сам автор считает их этническими, а не социальными общностями.

Все эти несущественные замечания ни в коем случае не могут умалять ценности рецензируемого исследования, которое суммировало все накопленные в настоящее время сведения о происхождении, культуре и социальном строе тасманийцев и может считаться, на наш взгляд, образцом комплексного подхода к этногенетическим проблемам, которые теперь уже не могут быть решены в рамках одной этнографии, а требуют привлечения данных различных наук, казалось бы далеких от исторических дисциплин.

Рецензируемая книга — новый шаг на пути познания первобытного общества. Она интересна всем, кто занимается во многом еще дискуссионными проблемами происхождения человеческого общества и культуры.

Т. В. Сеньюта

³ В. Р. Кабо, Первобытная община охотников и собирателей (по австралийским материалам), «Проблемы истории докапиталистических обществ», кн. 1, М., 1968, стр. 240—242.

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ М. Я. ГРИНБЛАТА (к 70-летию со дня рождения) *

- Вынікі этнаграфічнай экскурсіі ў Беларускім Палессі. «Наш край», 1926, № 8—9, стр. 82—83.
- Некаторыя матэрыялы да вывучэння пастушаства і жывёлагадоўлі Тураўшчыны. «Наш край», 1928, № 8—9, стр. 64—71.
- Этнаграфічнае вывучэнне каўтуна. «Записки отдела гуманитарных наук Института белорусской культуры», кн. IV «Труды кафедры этнографии», т. I, вып. II, Минск, 1928, стр. 127—153.
- Короткая праграма па вывучэнню быту і культуры лесарубаў. «Савецкая краіна», 1931, № 11 (без подписи), стр. 54—56.
- Этнаграфічнае даследванне БССР у другой пяцігодцы. «Савецкая краіна», 1932, № 11, стр. 82—87.
- Супроць халтуры, упрашчэнства і вульгарызатарства ў складанні падручнікаў. «Савецкая краіна», 1932, № 12 (в соавторстве с Н. М. Никольским и А. Н. Лявданским), стр. 82—120.
- Краязнаўчыя музеі і веснавая пасяўная кампанія. Минск, 1932 (в соавторстве с А. Н. Лявданским), 58 стр.
- Вывучэнне раёнаў малаго рыбалоўства. «Працы секцыі археалогіі Беларускай Акадэміі навук», т. III, Минск, 1933, стр. 224—227.
- Праект слоўніка Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, вып. VIII, Антрапалогія, Археалогія, Этнаграфія, Міфалогія, Минск, 1935 (в соавторстве с Н. М. Никольским и К. М. Поликарповичем), 108 стр.
- Дарэвалюцыйная і Савецкая Беларусь у народнай творчасці. Минск, 1938, 288 стр. (составитель, в соавторстве с Э. В. Голубком, Н. С. Махначом и А. К. Калечицем; автор вступительной статьи «Творчасць беларускага народа»).
- Оборона Родины в белорусском фольклоре. «Народное творчество», 1938, № 2, стр. 13—16.
- Песні беларускага народа, т. I. Склаў М. Я. Грынблат. Музычная рэдакцыя Е. В. Гіплуса і З. В. Эвальд. Минск, 1940, 392 стр.
- Народное творчество. В кн.: «Искусство Советской Белоруссии». М., 1940, стр. 121—146.
- Доля жаночая ў беларускім фальклору. В кн.: «Жанчына у беларускай народнай творчасці», Минск, 1940, стр. 5—69.
- О фольклористической работе в Белоруссии. «Советский фольклор», 1941, № 7, стр. 256—257.
- Славянскія народы аб немцах-захопніках (Гісторыка-фалькларыстычны нарыс). «Весті АН БССР. Серыя гістарычная», 1947, № 1, стр. 82—96.
- Фальклор Вялікай Айчыннай вайны і задачы яго збірання і вывучэння. «Матэрыялы сесіі АН БССР 1945 года. Па Аддзяленню грамадскіх навук». Мінск, 1948, стр. 38—44.
- Белорусская советская этнография за 30 лет. «Сов. этнография», 1948, № 2, стр. 219—224.
- Этнография и фольклористика в БССР за 30 лет. В кн. «Наука в БССР за 30 лет», Минск, 1949, стр. 219—224.
- Е. Ф. Карский как белорусский этнограф. «Известия АН БССР», 1951, № 4, стр. 55—64.
- Беларускае народнае мастацтва. Альбом, т. I. Мінск, 1951 (в соавторстве с И. А. Сербовым и Н. С. Махначом), 104 стр.
- О некоторых итогах этнографической экспедиции 1954 года. «Известия АН БССР», Мінск, 1955, № 1, стр. 123—126.
- Сялянскія промыслы і рамесствы ў Беларусі XIX — пачатку XX ст. (Гісторыка-этнаграфічны агляд). «Весті АН БССР. Серыя грамадскіх навук», 1957, № 2, стр. 47—62.

* М. Я. Грынблат — известный советский этнограф и фольклорист, старший научный сотрудник Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН Белорусской ССР. Около 45 лет своей жизни он посвятил исследованию материальной и духовной культуры белорусского народа. Полный список работ М. Я. Гринבלата включает более 300 названий. В библиографию включены только основные работы.

- Новая запись «Царя Максимилиана» (Материалы к истории белорусского народного театра). В кн. «Белорусское искусство». Минск, 1957, стр. 97—107.
- Риси громадського побуту білоруських селян другої половини XIX — поч. XX віку. «Народна творчість та етнографія», 1957, № 4, стр. 88—97.
- Народная творчасць. В кн. «Гісторыя БССР», т. II. Минск, 1958, стр. 611—626.
- Анамастыка як крыніца вывучэння гісторыі і этнаграфіі беларускага народа (па матэрыялах беларускіх прозвішчаў). В кн. «Матэрыялы да IV Міжнароднага з'езда славістаў». Мінск, 1958, стр. 3—23.
- Беларуская савецкая этнаграфія. В кн. «Навука у Беларускай ССР за 40 год». Мінск, 1958 (в соавторстве с А. И. Залесским), стр. 110—124.
- К вопросу об участии литовцев в этногенезе белорусов. В кн. «Вопросы этнической истории народов Прибалтики». М., 1959, стр. 523—543.
- Беларускі эпас. Пад рэд. П. Ф. Глебкі і І. В. Гутарава. Складальнікі: С. І. Васілёнак, М. Я. Грынблат, К. П. Кабашнікаў. Мінск, 1959, 318 стр.
- Рэлігійныя вераванні, абрады і святы дарэвалюцыйнага беларускага сялянства. В кн. «Пытанні рэлігіі і атэізму». Мінск, 1960 (в соавторстве с В. К. Бондарчиком), стр. 45—66.
- Беларуская анамастыка (Матэрыялы да бібліяграфіі). «Працы Інстытута мовазнаўства», вып. VII. Мінск, 1960, стр. 227—241.
- Аб планаванні работы па збіранню фальклору ў гады сямігодкі. В кн. «Інструктыўныя і метадычныя матэрыялы па збіранню і вывучэнню беларускага фальклору», Мінск, 1961, стр. 32—40.
- Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны (сборник). Складальнікі: І. В. Гутараў, М. Я. Грынблат, К. П. Кабашнікаў, І. К. Цішчанка. Мінск, 1961, 618 стр.
- Основные этапы происхождения и этнической истории белорусской народности (VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук). М., 1964, 8 стр. (этот же доклад издан на франц. яз.).
- Белорусы. В кн. «Народы Европейской части СССР», т. I. М., 1964 (в соавторстве с В. К. Бондарчиком, А. И. Залесским, В. М. Ивановым и Л. А. Молчановой), стр. 780—906.
- Тюркские элементы в белорусской антропо- и топонимии. «Материалы сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1964 года. Тезисы докладов», Баку, 1965, стр. 197.
- Эцюды па беларускай анамастыцы. «Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук», 1965, № 4, стр. 103—109.
- Преобразование общественного быта. В кн. «Строительство коммунизма и социальные изменения в крестьянстве Белоруссии». Минск, 1966, стр. 133—142.
- Музыка. Танцы. Спевы. В кн. «Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання абласных слоўнікаў беларускай мовы», вып. III. Мінск, 1966, стр. 65—73.
- В кн. «Беларуская народная вуснаэтычная творчасць. Гісторыка-тэарэтычнае даследаванне». Мінск, 1967, разделы: Фальклор Кіеўскай Русі як агульная глеба вуснай паэзіі ўсходнеславянскіх народаў (стр. 47—53); Гістарычныя умовы ўзнікнення і фарміравання вуснай паэтычнай творчасці беларускага народа (стр. 53—61); Каляндарна-абрадавая паэзія (в соавторстве с С. М. Миско, стр. 61—77); Сямейна-абрадавая паэзія (стр. 77—90); Замовы (стр. 90—97); Духоўныя вершы (стр. 97—104); Гераічны і гістарычны эпас (стр. 104—124); Прыказкі і прымаўкі (стр. 142—148); Народны тэатр (стр. 157—167); Сацыяльна-бытавая лірыка (стр. 167—185); Беларускі фальклор аднаўленчага перыяду (1921—1925 гг.) (стр. 284—293).
- У. І. Ленін у беларускай народнай творчасці. Мінск, 1967 (в соавторстве с И. В. Гутаровым, К. П. Кабашниковым и Н. С. Федосиком), 96 стр.
- К происхождению белорусской народности (По поводу теории субстрата). «Сов. этнография», 1968, № 5, стр. 79—92.
- Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории. Минск, 1968, 280 стр.
- Тапанімічныя сведчанні саслоўна-класавага падзелу насельніцтва Беларусі ў феадальную і капіталістычную эпохі. В кн. «Пытанні беларускай тапанімікі». Мінск, 1970, стр. 64—70.
- Радзінная паэзія. Укладанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і каментары. Мінск, 1971, 782 стр.
- Загадкі. Мінск, 1972 (в соавторстве с А. И. Гурским), 448 стр.
- В кн. «Гісторыя Беларускай ССР у пяці тамах», т. I, Мінск, 1972, разделы: Культура заходніх зямель Русі (в соавторстве с В. Р. Тарасенком, стр. 130—142); Утварэнне беларускай народнасці (в соавторстве В. Н. Перцевым и З. Ю. Копыским, стр. 172—176); Народная творчасць XIV—1-й палавіны XVII ст. (стр. 419—422); Быт і народная творчасць (стр. 540—548).
- Беларуская этнаграфія і фалькларыстыка. Бібліяграфічны паказальнік (1945—1970). Мінск, 1972, 387 стр.
- Этнаграфія і праблема этнагенеза беларусаў. В кн. «Этногенез белорусов». Мінск, 1973, стр. 172—174.

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Е. Марков (Москва). Советский образ жизни и проблемы этнографии . . .	3
С. И. Брук (Москва). Этнодемографическая ситуация в послевоенном мире (Возрастная и половая структура населения, миграционные процессы, урбанизация)	15
Б. М. Эккель (Москва). Определение индекса мозаичности национального состава республик, краев и областей СССР	33
Ю. В. Иванова (Москва). Влияние социально-экономических условий и этнических традиций на одежду сельских жителей (по материалам исследования греческого населения Донецкой области Украинской ССР)	43
И. И. Крупник (Москва). Становление крупнотабунного оленеводства у тундровых ненцев	57
Э. В. Померанцева (Москва). Специфика устной прозы в свете изучения современных этнических процессов	70
Б. Н. Путилов (Ленинград). Проблемы изучения песенно-музыкального фольклора Берега Маклая	77

Дискуссии и обсуждения

А. А. Формозов (Москва). О работах А. Д. Столяра по палеолитическому искусству и критике их Р. Я. Журовым	91
С. А. Арутюнов (Москва). Многоплановость проблемы генезиса искусства	95
Ю. В. Кнорозов (Ленинград). К вопросу о генезисе палеолитических изображений	99

Сообщения

А. Л. Никитин (Москва). Население Юго-Востока Кольского полуострова в позднем неолите	103
Г. А. Меновщиков (Ленинград). О названиях и функциях лодок типа умиак, ан'йак, к'айак у эскимосов и алеутов	112
Э. В. Шавкунов, В. И. Болдин (Владивосток). Орудия обработки зерна и способы его хранения у чжурчженей	118
Е. Д. Турсунов (Алма-Ата). Этнографические основы происхождения некоторых мотивов тюрко-монгольских сказок	125
В. Е. Гусев (Ленинград). Фольклорно-этнографические материалы в «Сербских летописях (1825—1830)» (К 150-летию Матицы Сербской и ее «Летописа»)	132

Поиски, факты, гипотезы

И. С. Лисевич (Москва). Древние мифы глазами человека космической эры	139
---	-----

Научная жизнь

Я. С. Смирнова, А. Е. Тер-Саркисянц (Москва). Всесоюзный симпозиум «Демографические проблемы семьи»	151
А. А. Зубов, Н. В. Шлыгина (Москва). Совместные исследования советских и финских этнографов и антропологов (1967—1975 гг.)	153
Н. М. Калашникова (Москва). Выставка японского трафарета	155
Коротко об экспедициях	158

Критика и библиография

Общая этнография

М. С. Бутинова (Ленинград). П. И. Пучков. Современная география религий	162
---	-----

Народы СССР

Л. М. Дробижева (Москва). Современность глазами этнографа	164
С. М. Абрамзон (Ленинград). К. Ш. Шаниязов. К этнической истории узбекского народа (историко-этнографическое исследование на материалах кипчакского компонента)	167
Б. Х. Кармышева, Н. П. Лобачева (Москва). Х. А. Аргынбаев. Семья и брак у казахов (историко-этнографический обзор)	172

Народы Зарубежной Азии

- Е. В. Иванова (Ленинград) *Lucien M. Hanks. Rice and man. Agricultural ecology in Southeast Asia* 176

Народы Африки

- В. Н. Басилов (Москва) *Lothar Stein. Wandervolk der Wüste* 180

Народы Америки

- И. А. Малахова (Москва) *Willard Burgess Moore. Molokan oral tradition. Legends and memorates of an ethnic sect* 183

Народы Австралии и Океании

- Т. В. Сеньюта (Ленинград). *В. Р. Кабо. Тасманийцы и тасманийская проблема* 185

- Список основных работ М. Я. Гринблата (к 70-летию со дня рождения) 188

На первой странице обложки: Охотники-эвены на привале. Фото Б. Коробейникова, АПН

SOMMAIRE

- G. Ye. Markov (Moscou). Le mode de vie soviétique et les problèmes de l'ethnographie 3
- S. I. Brouk (Moscou). Situation ethnodémographique dans le monde d'après-guerre. (structure de la population par âge et par sexe, processus migratoires, urbanisation) 15
- B. M. Ekkel (Moscou). Fixation de l'index dit «en mosaïque» de la composition ethnique des populations des républiques, territoires et régions de l'U.R.S.S. 33
- Yu. V. Ivanova (Moscou). Influence des conditions socio-économiques et des traditions ethniques sur le vêtement des populations rurales (d'après les matériaux des populations grécques de la région de Donetsk, R. S. S. d'Ukraine) 43*
- I. I. Kroupnik (Moscou). Formation de l'élevage de renne à grands troupeaux chez les Nentsi de toundra 57
- E. V. Pomierantseva (Moscou). Traits spécifiques de la prose orale à la lumière des processus ethniques modernes 70
- B. N. Poutilov (Léningrad). Problèmes de l'étude du folklore de chanson et musical de la Côte Maklaï 77

Discussions et délibérations

- A. A. Formozov (Moscou). Sur les travaux de A. D. Stoliar concernant l'art paléolithique et sur la critique de ceux-ci par R. Ya. Jourov 91
- S. A. Aroutiunov (Moscou). Problème du genèse de l'art: diversité d'approches possibles 95
- Yu. V. Knorozov (Léningrad). Contribution au problème du genèse des figurations paléolithiques 99

Communications

- A. L. Nikitine (Moscou). La population du Sud-Est de la presqu'île de Kola au paléolithique supérieur 103
- G. A. Mienovchtchikov (Léningrad). Sur les appellations et les fonctions des canots des types dits oumiak', an'yak, k'ayak' chez les Esquimaux 112
- E. V. Chavkounov, V. I. Boldine (Vladivostok). Outils de traitement du blé et les modes de conservation de celui-ci chez les Chjourchen 118
- Ye. D. Toursounov (Alma-Ata). Fondations ethnographiques de l'origine de quelques motifs des contes turco-mongols 125
- V. Ye. Goussiev (Léningrad). Matériaux ethnographo-folkloriques aux «Annales de Serbie (1825—1830)». Pour le 150ème anniversaire de la «Matitsa Srbska» et de la «Lietopis» de celle-ci 132

Recherches, faits, hypothèses

- I. S. Lissievitch (Moscou). Anciens mythes vus des yeux d'un homme de l'ère cosmique 139

Ya. S. Smirnova, A. Ye. Tèr-Sarkissiants (Moscou). «Problèmes démographiques de la famille» — un Symposium National	151
A. A. Zoubov, N. V. Chlyguina (Moscou). Recherches communes des ethnographes et anthropologues soviétiques et finnois (1967—1975)	153
N. M. Kalachnikova (Moscou). Une exposition des patrons japonais	155
Missions en bref	158

Критики и библиография

Ethnographie générale

M. S. Boutinova (Léningrad). P. I. Poutchkov. Géographie contemporaine des religions	162
--	-----

Peuples de l'U.R.S.S.

L. M. Drobijéva (Moscou). L'actualité vue par un ethnographe	164
S. M. Abramzon (Léningrad). K. Ch. Chaniyazov. Contribution à l'histoire du peuple ouzbek (étude historico-ethnographique sur base du matériel du composant kypchak)	167
B. Kh. Karmychéva, N. P. Lobatchiova (Moscou). Kh. A. Arghynbaïev. Famille et mariage chez les Kazakh (un essai historico-ethnographique)	172

Peuples de l'Asie hors l'U.R.S.S.

Ye. V. Ivanova (Léningrad). Lucien M. Hanks. Rice and man. Agricultural ecology in Southeast Asia	176
---	-----

Peuples de l'Afrique

V. N. Bassilov (Moscou). Lothar Stein. Wandervolk der Wüste	180
---	-----

Peuples de l'Amérique

I. A. Malakhova (Moscou). Willard Burgess Moore. Molokan oral tradition. Legends and memorates of an ethnic sect	184
--	-----

Peuples de l'Australie et de l'Océanie

T. V. Sieniuta (Léningrad). V. R. Kabo. Les Tasmaniens et le problème tasmanien	185
---	-----

Liste des oeuvres principales de M. Ya. Grinblat (pour le 70e anniversaire)	188
---	-----

Sur la couverture: les chasseurs Evènes en bivouac (cliché APN)

ОПЕЧАТКА К № 1, 1976 г.

стр.	строка	напечатано	следует читать
32	5 снизу	уменьшится до 11—20%	уменьшится до 11—12%

Технический редактор Л. И. Глинка

Сдано в набор 12/I-1976 г.	T-00665	Подписано к печати 22/III-1976 г.	Тираж 2750
Заказ 4013	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Усл. печ. л. 16,8	Бум. л. 6
			Уч.-изд. л. 18,7.

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10